

Прудон Пьер-Жозеф. О нем

Биография, критика, исследования

- [Медиатека](#)
 - [Портреты Пьера-Жозефа Прудона](#)
 - [Видео о Прудоне](#)
- [Туган-Барановский Михаил. Пьер-Жозеф Прудон. Его жизнь и общественная деятельность](#)
 - [ГЛАВА I. Детство Прудона. — Занятия в колледже. — Работа в типографии. — Дружба с Фалло. — Первый литературный труд и получение стипендии Сюара](#)
 - [ГЛАВА II. Жизнь Прудона в Париже. — Появление первого мемуара о собственности. — Столкновение с Безансонской академией наук. — Суд над Прудоном. — Служба у Готье. — Новые знакомства](#)
 - [ГЛАВА III. Литературная деятельность Прудона до февральской революции. — «Что такое собственность?» — «Экономические противоречия, или Философия нищеты»](#)
 - [ГЛАВА IV. Февральская революция и участие, которое принимал в ней Прудон. — Деятельность его в Национальном собрании. — Борьба с радикалами. — Присуждение Прудона к тюремному заключению за ос](#)
 - [ГЛАВА V. Народный банк Прудона. — Другие аналогичные попытки реформы денежного обращения во Франции и Англии](#)
 - [ГЛАВА VI. Жизнь Прудона в тюрьме. — Его женитьба. — Отношение к жене и детям. — Литературные работы. — Теория анархизма. — Проекты разных](#)

хозяйственных предприятий

- ГЛАВА VII. Вторичное осуждение Прудона и бегство его в Бельгию. —
Последние литературные произведения. — Возвращение в Париж. — Смерть
Прудона
- Источники

- Шубин Александр. Прудон и Маркс. Футурологический социализм
- Герцен Александр. Былое и думы. Ч.5, Глава ХLI. П. Ж. Прудон. - Издание «La Voix du
Peuple». - Переписка. - Значение Прудона. - Прибавление
- Герцен Александр. Некролог Прудона
- Маркс Карл. О Прудоне (Письмо И.Б. Швейцеру от 24 января 1865 г.)
- Энгельс Фридрих. Прудон
- Толстой Лев. О значении народного образования

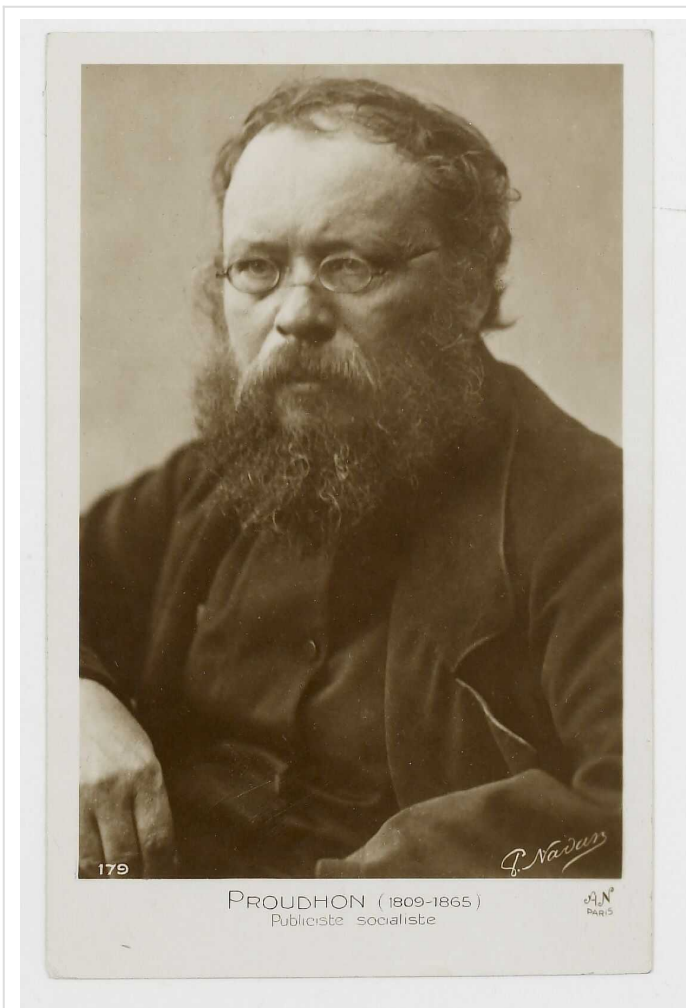
Медиатека

Фотографии и видео

Портреты Пьера-Жозефа Прудона



1865, источник: [Викитека](#), название: Прудон и его дети, художник - [Гюстав Курбе](#) (1819-1877), техника: масло на холсте, размеры: высота: 186,5 см, ширина: 236 см, глубина: 13 см



1864, источник: [Цифровой архив города Безансон](#)
фотограф - Nadar (1820-1910), размеры: 22 x 16,5 см.



1864, источник: [Цифровой архив города Безансон](#)
фотограф - Nadar (1820-1910), размер: 22 x 16,5 см.



1860-е, источник: [Национальная портретная галерея Лондона](#), фотограф - [Charles Reutlinger](#) (1816-1881), размеры: 9 x 5,6 см, локация: фотостудия, Париж, Франция



1865, источник: [Викитека](#), художник - [Гюстав Курбе](#) (1819-1877), техника: масло на холсте

Медиатека

Видео о Прудоне

<https://www.youtube.com/embed/4E2kBnQE-r8>

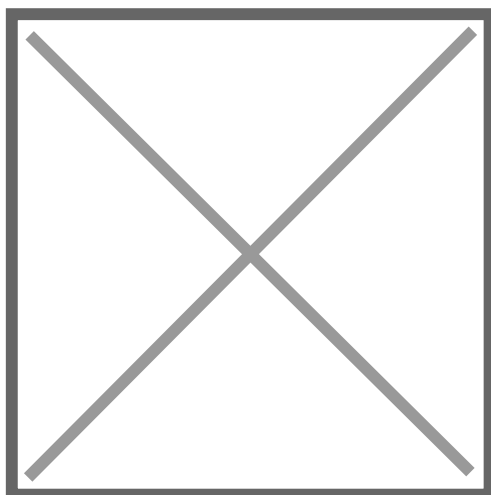
Петр Рябов: «"Отец анархии" Пьер Жозеф Прудон: личность, жизнь, борьба, идеи». Седьмая лекция курса "История анархических учений и движений", прочитана 30.05.2015г. в Культурно-просветительском центре "Архэ".

Туган-Барановский Михаил. Пьер-Жозеф Прудон. Его жизнь и общественная деятельность

1891, источник: [Викитека](#), Биографический очерк М. Туган-Барановского

ГЛАВА I. Детство

Прудона. — Занятия в колледже. — Работа в типографии. — Дружба с Фалло. — Первый литературный труд и получение стипендии Сюара



Пьер Жозеф Прудон родился 15 января 1809 года в предместье города Безансона, родины В. Гюго. Его отец был крестьянином и служил рабочим на пивоваренном заводе. Когда в 1814

году во время осады Безансона пивоваренный завод был разрушен, Прудон-отец переменял свое занятие — купил дом и устроил на собственный счет бочарное заведение. Но ему вообще не везло в хозяйственных предприятиях: бочарное заведение шло плохо, и семья жила впроголодь, на краю нищеты. Небольшой участок земли, которым он владел, был продан в уплату долга, жить стало еще труднее. Будущему противнику собственности и процента пришлось рано познакомиться с неприятными последствиями кредита в современной его форме. По этому поводу он делает замечание в одном из своих сочинений, что, если бы во Франции существовала правильная организация земельного кредита, из него мог бы выйти мирный деревенский собственник. С последним, разумеется, согласиться довольно трудно, так как Пьер Жозеф обладал слишком сильной и независимой натурой, чтобы удовлетвориться обыденным существованием.

Его отец, по отзывам лиц, его знавших, был человек малообразованный, не выдающийся ничем особенным, но честный и прямой. Он происходил из младшей линии рода Прудонов. Члены старшей линии стояли выше по своему общественному положению и принадлежали к среднему кругу. Один из них был известным профессором и юрисконсульт в Дижоне. Члены младшей линии были бедны и жили ручным трудом; старшие Прудоны являлись консервативным элементом и, обладая достаточными имущественными средствами, пользовались всеми благами жизни. Между обеими линиями существовал некоторый традиционный антагонизм. Несмотря на неравенство общественного положения, родственники встречались довольно часто, и тут между ними происходили разные стычки, вызывавшиеся различием их взглядов и убеждений. Будущему писателю пришлось не раз присутствовать при таких стычках, и он рассказывал впоследствии, как страдало при этом его детское самолюбие и как тяжело ему было переносить пренебрежительное отношение богатых родственников.

Мать Пьера Жозефа, Катерина Прудон, была женщина с настойчивым и упорным характером; она заправляла всем в доме и пользовалась большим уважением всей семьи. Пьер Жозеф унаследовал ее характер и был к ней очень привязан. В зрелом возрасте, несмотря на всю разницу в их развитии, он оставался таким же любящим и нежным сыном, каким был в детстве. Свою старшую дочь он назвал в память матери Катериной. Вообще, Прудон гордился своими родителями, любил рассказывать разные эпизоды из их жизни, и когда в 1848 году ему случилось оппонировать в палате одному легитимисту, хваставшемуся знатностью своего рода — он воскликнул: «У меня 14 предков мужиков — назовите мне хоть одно семейство, имеющее столько благородных предков!»

До 12 лет Пьер Жозеф вел обычную жизнь деревенского мальчика, пас коров, проводил целые дни в поле. Свою пастушескую жизнь он описывает такими поэтическими красками:

«Сколько удовольствия доставляло мне валяться в густой траве, которую я хотел бы есть, как мои коровы; бегать босиком по тропинкам, лазить по деревьям, ловить лягушек и раков! Сколько раз мне случалось теплым июньским утром скидывать одежду и купаться в росе! Я едва отличал себя от окружающей природы. Я — это было все, что я мог взять рукой, все, что могло мне на что-нибудь пригодиться; не я — все то, что мне было неприятно. Я наполнял свои карманы ежевикой, зеленым горошком, зернами мака, терном, шиповником; я наедался разной дрянью, от которой заболел бы всякий благовоспитанный ребенок и

которая только увеличивала к вечеру мой аппетит. Сколько раз мне приходилось мокнуть под проливным дождем! Сушить свою одежду на солнце или на ветре! Я любил своих коров, но не всех одинаково; я предпочитал ту или другую курицу, то или другое дерево, тот или другой утес. Мне сказали, что ящерица — враг человека; я этому искренне верил. Я воевал со змеями, жабами и гусеницами. Что они мне сделали? Ничего. Но я их ненавижу».

Такая привольная деревенская жизнь не прошла для Прудона бесследно. По роду своих занятий он должен был жить в городе; но детские воспоминания неотразимо привлекали его в деревню, на берега Оньюна, туда, где родилась его мать и где она умерла. Ему пришлось так много вынести в своей жизни, возбудить против себя столько ненависти и злобы, что он не мог не чувствовать временами усталости и упадка сил; в такие минуты он говорил, что может быть счастлив только в своей родной деревушке и что там он должен закончить свою жизнь.

Но Прудону недолго пришлось жить в деревне. Нужно было зарабатывать хлеб, и он поступает в услужение в гостиницу. Переход от полной свободы к скучной и неинтересной работе в городе был для него очень тяжел. Он и раньше отличался нелюдимостью — теперь же сделался еще более замкнутым и сосредоточенным в себе.

При помощи и протекции Рено, бывшего владельца того самого пивоваренного завода, где служил отец Прудона, родителям удалось поместить его в коллеж. Пьеру Жозефу приходилось учиться при самых неблагоприятных условиях. Книг у него не было, так как не на что было их купить; его наказывали, по его собственным словам, более ста раз за неимение учебников. Переводил он без лексикона и значение незнакомых слов узнавал, приходя в коллеж перед началом уроков. В свободное от учения время он исполнял разные хозяйственные поручения отца. Несмотря на все это, мальчик учился прекрасно и шел одним из первых. С товарищами он не сходилась и держался особняком.

Уже в это время Прудон начинал размышлять о несправедливости судьбы, которая заставляет его покупать ценой громадных усилий то, что другим дается даром. Он сознавал себя умнее, способнее и энергичнее своих сверстников, между которыми было много богатых людей. Бедность, говорил юноша, не есть порок, но она хуже порока. Он решил разбогатеть, выбиться из той колеи, в которую поставила его судьба. Но как разбогатеть? Отец его трудился и трудится всю жизнь. Однако же он не богат. Следовательно, одна работа не дает богатства; нужно знание, в знании заключена великая сила, и только с ее помощью можно сделаться богатым и могущественным, можно добиться успеха в жизни. И Прудон со странным увлечением читал и перечитывал все, что попадалось ему под руку.

Не нужно забывать, что он развивался совершенно самостоятельно, без всякой помощи и руководства с чьей бы то ни было стороны. Прудон был в полном смысле слова самоучкой. С 12 лет он усердно посещал городскую библиотеку и спрашивал всегда так много книг и книг такого разнообразного содержания, что под конец решительно заинтересовал собою ученого библиотекаря и академика Вейса. Последний однажды спросил угрюмого и застенчивого мальчика, избегавшего всяких разговоров с чужими людьми, зачем нужно ему столько книг. Прудон поднял голову, посмотрел, нахмурившись, на Вейса и коротко ему ответил: «Какое вам до этого дело?»

Первые книги, которые он мог назвать своими собственными, были сочинения по большей части религиозно-нравственного содержания, полученные им в награду за успехи в коллеже. Случилось так, что в тот самый день, когда в колледже происходила торжественная раздача наград, семья Прудона со страхом ожидала решения одного процесса, неудача которого могла окончательно ее разорить. Пьер Жозеф вернулся домой, увенчанный лаврами, и застал мать в слезах: процесс был проигран. Легко представить себе впечатление, которое должны были производить такие события на душу самолюбивого, восприимчивого мальчика.

Детская любознательность предоставленного самому себе ребенка прежде всего обратилась на вопросы религиозного характера. Ему случилось получить в награду книгу Фенелона «О доказательстве бытия Божия». Он искренне и наивно верил в Бога, но доказательства Декарта, приводимые Фенелоном, его не удовлетворяли. Его мучили религиозные сомнения, и он пытался сам разрешить их, но скоро убедился, что задача ему не по силам; тогда он с жадностью набросился на теологическую литературу и стал читать одно за другим богословские сочинения. Тринадцатилетнему мальчику трудно было разобраться в противоречивых мнениях, с которыми ему приходилось сталкиваться, и всякая новая книга возбуждала в нем всё новые и новые сомнения. Он исповедовал последовательно все ереси, осужденные церковью в первые века христианства, в конце концов остановился на религии, знакомой ему с детства, и сделался на некоторое время верующим католиком.

Когда Прудону исполнилось 19 лет, он оставил колледж, не закончив курса, по недостатку материальных средств, и поступил рабочим в типографию Готье в Безансоне. С этого времени начинается его самостоятельное трудовое существование. В его жизни было много перемен, ему случалось пользоваться большим политическим влиянием, и были моменты, когда он мог мечтать сделаться президентом Французской республики, но он всегда оставался бедным и трудящимся человеком. Его мечты разбогатеть не осуществились. Литература дала ему славу, но не могла доставить верного и обеспеченного заработка, и ему пришлось впоследствии не раз сожалеть о брошенном типографском станке. С особенной любовью он сохранял до конца жизни свою рабочую книжку, куда вносились отзывы его хозяев. Отзывы были самые хорошие.

Так как типография Готье издавала по большей части книги теологического характера, молодому рабочему представился удобный случай увеличить свои, и без того довольно обширные, теологические познания. Заинтересовавшись текстом латинского перевода Библии, он принялся за изучение греческого и еврейского и в скором времени мог на обоих языках читать довольно свободно.

Примерно в это время он познакомился с замечательным человеком — Густавом Фалло, которому преждевременная смерть помешала достигнуть известности. Судьба Фалло во многих отношениях напоминает судьбу самого Прудона. Оба были бедны, должны были биться из-за куска хлеба, оба соединяли горячую любовь к знанию с умением и привычкой трудиться. Фалло был первым, кто получил в Безансонской академии стипендию имени Сюара. Эта стипендия должна была выдаваться молодым людям, проявившим выдающиеся научные или литературные дарования, но не обладающим достаточными средствами к

жизни. Фалло редактировал некоторые издания Готье на латинском языке. Он заинтересовался молодым наборщиком, которому случалось поправлять ошибки в латинском тексте, ускользавшие от его собственного внимания. Мало-помалу они сблизились и подружились. Фалло был первым другом Прудона, и тот до конца своей жизни не мог его забыть. Они решили жить вместе, делить пополам академическую стипендию и общими силами выбиться на дорогу. Сохранилось одно довольно интересное письмо, где Фалло предсказывает блестящую будущность молодому безвестному наборщику. Он пишет: «Вы будете, Прудон, вопреки Вашей воле, неизбежно, писателем и профессором; Вы будете одним из светил нашего века и Ваше имя будет такой же славой XIX столетия, как имена Гассенди, Декарта, Мальбранша и Бэкона — слава XVII, а имена Дидро, Монтескье, Гельвеция, Локка, Юма и Гольбаха — слава XVIII столетия. Делайте, что хотите; работайте в типографии, давайте уроки, удалитесь в самую глухую и заброшенную деревню, все равно: Вы не избежите своей участи».

Но Фалло не пришлось дожить до того времени, когда друг его действительно сделался писателем и начал приобретать известность. Он умер в 29 лет, через несколько лет после получения стипендии Сюара.

В качестве наборщика Прудон в 1831 году отправился странствовать по Франции, работая в разных провинциальных городах. Он побывал на юге, в Марселе и Тулоне. В Тулоне у него произошло столкновение с местным мэром, которое довольно хорошо обрисовывает молодого Прудона. Он не мог найти себе работы; в кармане у него было только около рубля. Но молодой наборщик не терял присутствия духа и решил обратиться с требованием работы к мэру.

Мэру он предъявил свою рабочую книжку, где содержались полицейское удостоверение его личности и аттестаты хозяев. Так как кража и нищенство запрещены законом, заявил Прудон мэру, то он требует от правительства работы. Разумеется, никакой работы он не получил; мэр пригрозил выслать его из города, и он принужден был удалиться с пустыми руками, не имея возможности постоять за то, что он считал своим правом, но дав себе слово никогда не забывать этого случая.

Вернувшись в Безансон, Прудон вместе с одним товарищем устроил свою собственную небольшую типографию. Он продолжал много читать, по-прежнему без особенного выбора и без всякой системы. Кроме теологии и философии, он интересовался в это время языкознанием. Круг знакомых Прудона значительно расширился, и он приобрел нескольких новых друзей, из которых наиболее замечательны Бергман и Аккерман. Первый был известным филологом, сделавшимся впоследствии профессором в Страсбурге. Прудон постоянно относился к нему с большим уважением и дружбой. Переписка между ними продолжалась всю жизнь. Аккерман тоже был филологом, хотя и не таким известным. Он пописывал стихи, не имевшие в публике особого успеха, и мечтал реформировать французскую поэзию и прозу. Эти два человека, и в особенности Бергман, оказали большое влияние на умственное развитие Прудона. В жизни последнего дружба вообще играла очень большую роль. Можно сказать, что для него дружба была тем, чем является любовь для большинства людей. Любви к женщине Прудон почти не знал. Во всей его громадной переписке можно найти только одно письмо, где он говорит о своей любовной истории. Его

первая любовь была и последней. Он любил простую девушку, работницу в Безансоне. Обстоятельства их разлучили, — кажется, он не особенно горевал об этом. В письме к ней он говорит, что участь хороших и честных людей — страдание, что он будет бороться против зла и несправедливости в человеческом обществе, а она должна молиться о его успехе, о том, чтобы у него хватило силы и мужества для борьбы. Все письмо дышит решимостью и энергией, но в нем не видно любви, не видно искреннего и глубокого чувства.

Но если Прудон мало любил женщин, он мог быть верным и преданным другом и товарищем. Друзья составляли для него семью, с ними он делился всеми своими радостями и горестями, сообщал им все свои заветные мысли, жил с ними общей жизнью. Для того, чтобы повидаться с Бергманом, который был в отсутствии около года, он не побоялся пройти пешком все расстояние от Парижа до Безансона, искалечить себе ноги и утомить себя до последней степени, — и все это ради того, чтобы его друг не уехал, не простившись с ним. После того, как Бергман женился и стал реже переписываться с Прудоном, последний пишет ему письмо, полное тревоги за охлаждение их дружбы; письмо начиналось словами: «У меня двенадцать друзей, которых я не забываю ни при каких обстоятельствах, которые составляют существенный элемент в моей жизни и с которыми я совещаюсь относительно всего, что предпринимаю. Ты из них первый, но теперь ты стал мужем и отцом семейства. Не изменился ли ты ко мне? Отвечай мне, докажи мне, что я не прав. Мне это необходимо».

В письме к одному из этих двенадцати, доктору Маге, Прудон поместил следующий красноречивый дифирамб дружбе: «Что такое жизнь без дружбы? Наука искушает ум и губит чувство; власть опьяняет человека и тешит его тщеславие; религия без добрых дел — одно лицемерие. Богатый мне ненавистен своим эгоизмом; я презираю беспечность и ветреность влюбленного; сластолюбивый эпикуреец внушает мне отвращение. Но как только божественная дружба осеняет мою душу, все приобретает новый блеск и сияние. Дружба облагораживает наслаждение, любовь, власть, богатство, науку и религию; все становится возвышенней и чище благодаря дружбе. Я смею гордиться: я всегда имел друзей. Никогда, ни в какую минуту жизни, я не чувствовал пустоты в своем сердце, не испытывал недостатка в дружбе».

И действительно, друзья Прудона умели его ценить и относились к нему так же тепло и искренне, как он относился к ним. Со многими он остался дружен до конца жизни, несмотря на различие их общественного положения и политических убеждений. Как человеку бедному, часто даже крайне нуждающемуся, ему много раз приходилось пользоваться материальной поддержкой друзей, — и это не портило их отношений, не вносило диссонанса в их взаимное доверие и уважение. Хотя общественное положение Прудона в начале 30-х годов было далеко не блестящее и он не имел никакого образовательного ценза, он пользовался таким уважением со стороны людей, его знавших, что ему предложили быть редактором местной газеты. Но Прудон не решился взяться за это дело; он не чувствовал себя способным быть публицистом и говорить с одинаковой легкостью обо всем в мире. Кроме того, он желал придать газете республиканский характер, что совсем не соответствовало видам издателя.

В 1837 году Прудон написал свое первое сочинение «Опыт всеобщей грамматики». Это была небольшая брошюра, составляющая нечто вроде приложения к научному сочинению аббата

Бернсье «Основные элементы языков». Молодой автор не проходил правильного и систематического курса языкознания и потому в своем «Опыте» сделал несколько довольно странных заключений, от которых впоследствии он сам отказался. Между прочим, он говорит, что на основании изучения языков можно утверждать единство человеческого рода и происхождение всех племен от еврейского народа. Ему кажется, что при помощи языкознания можно доказать не только существование Бога, но и все основные догматы католической религии. Прудон был совсем не знаком с санскритом, и уже по одному этому его попытки объяснить происхождение языков не могли быть удачными, что не помешало ему, однако, обнаружить в написанном впервые сочинении все особенности своего дарования — местами блестящий стиль, не вполне ясное и систематическое изложение, остроумные, но рискованные заключения, отрывочную и неполную эрудицию. Прудон представил свою брошюру в Безансонскую академию наук для соискания премии Вольнея. Академия не присудила ему премии, но обратила внимание на его труд как на оригинальный и доказывающий большую силу мышления в авторе. При этом академия выразила сожаление, что автор слишком часто уклоняется от опытного и сравнительного научного метода. Недостаток научного метода навсегда остался слабой стороной сочинений Прудона.

В 1838 году его компаньон по типографии застрелился, а так как типография существовала главным образом на капиталы последнего, то Прудон вынужден был ликвидировать свои дела и искать другого заработка. Ликвидация была очень убыточна и тянулась в течение нескольких лет. В это критическое для себя время Прудон послал в Безансонскую академию петицию о присуждении ему стипендии имени Сюара. Он описывал в ней свою жизнь, полную труда и лишений, свою дружбу с Фалло, свои религиозные сомнения, закончившиеся убеждением в истинности догматов католицизма, и в конце выражал твердую решимость работать в области науки и философии на пользу рабочего класса, из которого он сам вышел.

Безансонская академия была поставлена в очень затруднительное положение этой петицией. Нельзя было не признать в молодом типографе выдающихся дарований и способностей; его петиция была мастерским произведением, написанным сильным и энергичным слогом, полным воодушевления и веры в будущее. Но, с другой стороны, академию смущали некоторые чересчур резкие выражения Прудона. Ученые мужи не могли не опасаться своего будущего питомца, который так смешно и открыто называет себя представителем рабочего класса и говорит от его имени. Академия разделилась на две партии, но в конце концов, после продолжительных дебатов, сторонники Прудона победили, и он мог на некоторое время считать себя обеспеченным в имущественном отношении. Обеспечение, впрочем, было небольшое: стипендия состояла из 400 рублей, выдаваемых ежегодно в течение трех лет.

Прудону эти 400 рублей казались целым богатством. Помимо того, что стипендия давала ему возможность поехать в Париж и заниматься там на свободе, для него важна была нравственная сторона дела. Ему казалось, что он одержал первую победу, за которой скоро должны последовать другие. Он пишет восторженное письмо Аккерману: «Меня все поздравляют с тем, что я теперь могу сделать карьеру и достигнуть почета и блестящего положения в свете, сравняться, а может быть, и превзойти Жоффруа, Пулье и других. Никто не говорит мне: Прудон, ты должен быть предан делу бедных, освобождению угнетенных,

просвещению народа. Твои братья смотрят на тебя. Им нечем тебя вознаградить, но их благодарность дороже золотых монет. Страдай и умри, если понадобится, но говори людям истину и стой за сироту».

Почувствовав под собой твердую почву, Прудон с жаром и увлечением принялся за научные и философские занятия.

Уже через несколько месяцев после получения стипендии Сюара у него была готова новая работа — «О праздновании Воскресенья». Это его первый труд, посвященный тем же вопросам, разрешение которых составило впоследствии задачу его жизни. Вообще, в этой небольшой, но любопытной и хорошо написанной брошюре можно встретить все позднейшие теории Прудона.

ГЛАВА II. Жизнь Прудона в Париже. — Появление первого мемуара о собственности. — Столкновение с Безансонской академией наук. — Суд над Прудоном. — Служба у Готье. — Новые знакомства

Примерно в это время Прудон переехал в Париж. Столица, шумная уличная жизнь, легкомыслие парижского рабочего и его бесшабашное веселье — все это произвело тяжелое впечатление на душу сурового, застенчивого провинциала. Он чувствовал себя не по себе в Париже, его тянуло в Безансон, к друзьям и знакомым.

Подъем духа, вызванный в нем получением стипендии Сюара, сменился неуверенностью в будущем, недовольством условиями жизни и унынием. Знакомых у него в Париже не было, он пробовал сойтись с профессорами, лекции которых ему довелось слушать, но застенчивость и непривычка к светской жизни ставили его в неловкое положение в обществе, и мало-помалу он стал его чуждаться. В своих письмах он жалуется на мрачное расположение духа, на меланхолию, которая в нем все более и более развивается.

Парижане ему не нравятся: это народ пустой, неспособный к решению великих задач современности. Быть может, думает Прудон, его земляки из Франс-Конте призваны спасти человечество и преобразовать весь политический и социальный строй Франции. Только они сохранили свежесть и силу духа, только они способны соединять стремление к высокому идеалу с трезвым реализмом, с любовью к действительной, повседневной жизни.

Тяжелое нравственное состояние Прудона еще более усиливалось из-за материальных затруднений. Он не имел никаких доходов, кроме четырехсот рублей из академии, но и из этих денег большую часть отдавал своей семье. Ему приходилось существовать на полтора рубля в год, голодать, отказывать себе во всем необходимом, в то время как вокруг него веселились и жили в роскоши и довольстве. Несколько раз во время его одиноких прогулок по берегу Сены ему приходила в голову мысль покончить со всем и броситься в реку. Одиночество и нищета его угнетали. Он жалел, что оставил свое прежнее ремесло и сделался литератором. В типографии, за своим станком, он был гораздо счастливее. Он пишет Бергману, что его состояние так ужасно, что если бы он внезапно разбогател, то кошмар теперешней нищеты преследовал бы его в течение нескольких лет.

В таком состоянии духа Прудон пишет свою знаменитую книгу о собственности. Он писал ее неровно; временами ему казалось, что труды его напрасны и что ему не удастся преодолеть вражду сытых буржуа и апатию читающей публики. В другие моменты энергия его воскресала, и он верил, что своей книгой спасет Францию.

В Безансоне Прудон искал еще на ощупь свою настоящую дорогу, бросался из стороны в сторону, изучал теологию, языки и метафизику и мечтал быть философом и богословом. Симпатии и впечатления всей его трудовой жизни влекли его в другую сторону, к изучению социальных явлений. Но развитие пошло совершенно случайно; случайно ему пришлось ознакомиться в типографии со многими богословскими сочинениями, он заинтересовался языкознанием. Все это имело мало отношения к той задаче, которую он ставил целью своей жизни, — все это не могло объяснить ему причины бедности на земле и дать орудие для борьбы с нищетой и пороком. В Париже ему случилось прочесть несколько сочинений французских экономистов — Росси, Сэя и других; он заинтересовался незнакомой ему областью знания и в скором времени почувствовал, что его настоящее призвание заключается в исследовании социальных явлений. Интересно следить за его перепиской в то время, когда он писал свой мемуар о собственности, создавший ему известность и более всех последующих сочинений способствовавший тому недоразумению, за которое так много пришлось пострадать ему самому. После знаменитой фразы Прудона «собственность есть кража» читающая публика и правительство стали видеть в нем революционера, опасного врага существующего социального строя. Между тем это была глубокая ошибка. Прудон любил сильные выражения, и в его переписке изобилуют подобные фразы: «Проклятие собственности!», «Я убью в отчаянной схватке собственность и несправедливость» и так далее. Но все это были только страшные слова. В действительности он вовсе не желал какого-либо радикального переворота и отлично мирился с режимом Луи Филиппа. Резкость его стиля достаточно объясняется условиями его жизни, — мы видели, при каких безотрадных обстоятельствах приходилось Прудону писать свой первый мемуар о собственности.

Первое время после напечатания своего мемуара «Что такое собственность?» Прудон был упоен гордостью и надеждой на успех. Он пишет Бергману, что вряд ли какое-либо открытие имело такое значение для человечества, какое будет иметь его книга. Пусть только ее прочтут — и современный общественный строй погиб навсегда.

Читая подобные заявления, нельзя не улыбнуться наивности молодого автора. Самоуверенность и непоколебимое убеждение в высоком значении своих мыслей составляли всегда его отличительную черту. Впоследствии, однако, жизнь порядком его поизмяла, и когда ему пришлось убедиться, что не так-то легко сразу изменить убеждения человечества, — он стал более осторожен в своих выражениях и перестал предаваться неумеренным надеждам. Но Прудон всегда оставался оптимистом, несмотря на свой сумрачный нрав, раздражительность и суровость, и никогда не терял надежды преодолеть все препятствия и добиться успеха.

В данном случае автору пришлось испытать жестокое разочарование. Почти ни одна газета не поместила отзывов о новой книге; читатели тоже отнеслись к ней довольно холодно, и издатель рисковал потерпеть убыток. Прудон видел в этом заговор молчания со стороны прессы, интриги своих врагов в обществе и печати; в дружеской переписке он наполняет целые страницы жалобами на тупоумие современного читателя, который не имеет своего мнения и ходит на помочах у газетных писак.

Мемуар Прудона произвел больше всего впечатления на Безансонскую академию наук. Легко себе представить, как были удивлены и оскорблены ученые мужи этой книгой, автор которой объявляет академию солидарной с предпринятым им походом против частной собственности. Дерзкого стипендиата вызвали к академическому суду и объявили ему от лица всей академии публичное порицание. Кроме того, имелось в виду лишить его стипендии.

Прудон был несколько встревожен академическими громами и еще более — перспективой лишиться своего главного дохода. Но он не захотел без боя уступить свою позицию и послал в академию длинное защитительное письмо, в котором почтительные выражения искусно перемешиваются с угрозами. Он доказывал, что его доктрины не заключают в себе ничего революционного и что академия повредит самой себе в общественном мнении, возбудивши гонения против свободы научного исследования.

Правительство Луи Филиппа тоже было несколько встревожено мемуаром Прудона и намеревалось преследовать автора в судебном порядке. Грозные тучи, собравшиеся над головой молодого писателя, рассеялись только благодаря вмешательству известного экономиста и члена Парижской академии — Бланки. Бланки представил в Парижскую академию наук довольно сочувственный доклад о вновь появившейся книге; он не соглашался со многими положениями автора и осуждал его резкий стиль, но признавал в новом исследовании о собственности крупные научные достоинства. Безансонская академия не решилась преследовать своего стипендиата за то самое сочинение, которое одобрил Бланки, и Прудон благополучно вывернулся из беды.

Он не забыл услуги, оказанной ему Бланки, и с того времени охотно пользовался всяким случаем, чтобы выразить последнему свое глубокое уважение и благодарность. Можно даже сказать, что благодарность Прудона переходила должные границы, ибо она заставляла его печатно петь хвалебные гимны Бланки, хотя последний мало чем отличался от других экономистов буржуазного направления, с которыми Прудон вел ожесточенную полемику.

После того, как кончился срок получения стипендии Сюара, Прудон поступил секретарем к одному богатому члену суда, занятому составлением трактата по юриспруденции. Это был неглупый, но совершенно бездарный и необразованный человек, напыщенный и самолюбивый. Секретарь должен был помогать ему при составлении трактата, исполнять всякую черновую работу, которая самому автору покажется неинтересной или обременительной. Новый патрон Прудона был важной особой и относился довольно пренебрежительно к бедному молодому человеку, не имевшему ни состояния, ни положения в свете. Но секретарь умел за себя отомстить и потешался над своим патроном, подсказывал ему такие мысли, от которых этот либеральный буржуа пришел бы в ужас, если бы только был способен понять их значение. В сущности, трактат по юриспруденции писал Прудон своими личными силами, а номинальный автор только соглашался со своим секретарем и приходил в восторг от его изобретательности. При этом Прудон имел свои тайные цели, которые заключались в следующем: он хотел, чтобы написанная им книга вышла за чужой подписью в свет, и когда она будет одобрена буржуазной печатью, в чем, ввиду влиятельного положения ее номинального автора, не могло быть сомнения, тогда коварный секретарь рассчитывал открыть свои карты, развить в особом сочинении свои мысли, сделать выводы из всего того, что было им подсказано патрону, и вдоволь посмеяться над критиками и над автором. До того времени он рассчитывал водить своего патрона за нос и не подавать никакого вида, что трактат по юриспруденции составляется им одним.

Но, как видно, патрон Прудона не был на самом деле так простоват, как считал последний, и они в скором времени разошлись, не окончив труда. Этот эпизод любопытен в том отношении, что он показывает нам некоторые довольно характерные черты Прудона. Он не отличался искренностью и прямоотой в отношениях с людьми. Он был человеком убежденным и, без всякого сомнения, глубоко верил в справедливость всех своих основных положений в области науки и философии. Но в своей личной жизни он был склонен к компромиссам, к таким сделкам, которые иногда не вполне мирились с его принципами.

В это время Прудон много занимается философией, чтобы пополнить свою философскую эрудицию, на недостаточность которой указал ему Бергман. Он читает Канта и очень им увлекается; с французской философией он был более или менее знаком, прослушав в Сорбонне курс лекций по предметам, наиболее его интересовавшим. По своему обыкновению, он предается самым радужным надеждам относительно переворота, который произведут в умах современников его будущие труды. Свои социальные исследования Прудон думает основать на метафизике, под которой, кстати сказать, он понимает не то мнимое знание, которое окрестил этим именем Кант; для Прудона метафизика есть наиболее общая абстрактная система законов, управляющих мирозданием. Он мечтает достигнуть славы Лейбница и Канта, несмотря на все неблагоприятные условия своей жизни, несмотря на то, что жизненный путь этих мыслителей сравнительно с его

собственным был усеян розами.

Зная, что в правительственных сферах смотрят на него очень косо, Прудон послал министру внутренних дел Дюшателю два своих первых мемуара о собственности. Второй мемуар был им написан в форме открытого письма к Бланки. По его глубокому убеждению, мысли, которые он развивает в своих произведениях, не заключают в себе ничего такого, что могло бы не понравиться консервативному министру. Он надеется, что министр это поймет и избавит его от тех неприятностей, которыми сопровождалось печатание его первого мемуара.

Вскоре после этого он напечатал открытое письмо к Консидерану, известному ученику и последователю Фурье. Сообщая об этом своим друзьям, Прудон говорит среди прочего, что он в непродолжительном времени перейдет со всем своим добром на сторону правительства. Как бы по некоторой иронии судьбы, через несколько дней после этой фразы правительство возбудило против автора письма к Консидерану судебное преследование.

Прудон оставил в письме к Аккерману очень юмористическое описание этого процесса. Ему приходилось иметь дело со своими старыми врагами — академиками, так как процесс был возбужден в Безансоне под тайным влиянием местной Академии наук. Прокурор произнес громовую речь, обвиняя подсудимого в возбуждении путем печати ненависти к правительству и имущему классу, неуважении к религии и так далее, он требовал, чтобы подсудимый был присужден к уплате значительного денежного штрафа и пятилетнему тюремному заключению. Положение подсудимого было довольно затруднительным: он не мог отрицать тех выражений своей брошюры, на которых было построено обвинение. Нужно было как-нибудь вывернуться. Вот как он сам описывает этот процесс:

«Я защищал себя сам; моя речь длилась два часа. Представьте себе удивление всех этих любопытных, священников, женщин, аристократов и т. д., когда вместо республиканца в красном жилете, с козлиной бородой и замогильным голосом, они увидели маленького блондина со светлым цветом лица, с простой и добродушной физиономией и спокойными манерами, утверждающего, что он обвиняется только по недоразумению со стороны судей, которых он тем не менее одобряет за их усердие; доказывающего, что его идеи нисколько не расходятся с общепринятыми и не только не враждебны правительству, а напротив того, должны быть ему только приятны... Представьте себе, говорю я, человека, обвиняемого в заговоре против существующего строя, который преподносит в виде защитительной речи такой неудобоваримый трактат по политической экономии, что все признались в неспособности что-либо из него понять. Председатель суда заявил: „Этот человек вращается в сфере идей, недоступных для толпы. Мы не можем обвинять на ветер, а кто может поручиться в его виновности?“ ... Но это не все: обвиненный в том, что я возбуждаю ненависть и презрение к философам, журналистам, чиновникам, депутатам и прочим, я воспользовался этим случаем, чтобы выяснить с научной точки зрения значение этих общественных классов. С самым серьезным видом я сыпал сарказмами, острил, подпускал шпильки и делал очень прозрачные намеки на некоторых особ, сидевших в зале. Это произвело поразительный эффект. Присяжные переглядывались и кусали губы от смеха; судьи смотрели вниз, чтобы сохранить свое достоинство, а публика заливалась хохотом. Я был оправдан при всеобщих аплодисментах, и сами судьи поздравляли меня и пожимали

мне руки».

Прудон был очень доволен своей победой. В ней он видел доказательство своей практической ловкости, умения говорить людям в глаза самые горькие истины, не оскорбляя их и не вызывая с их стороны преследований. После этого эпизода Прудон еще более укрепился в мысли, что он может отлично поладить с Июльским правительством.

Однако, заботясь о примирении с властями, он не забывал в то же время искать популярности среди общества и народа. Его очень беспокоит та мысль, что он должен был раскрыть свои карты: должен был показать, что его нападения на собственность не имеют своей целью радикальное и немедленное преобразование этого социального института и что по существу его доктрины не враждебны правительству. Это может уронить его в общественном мнении, может оттолкнуть от него многих глупцов, готовых немедленно кричать о подкупе. Ему бы хотелось вести двойную игру: быть в ладу с правительством и казаться в то же время его противником.

Мы уже говорили, что прямота и искренность не были достоинствами Прудона. В данном случае его поведение может быть прямо названо лицемерным; он обманывает своих читателей ради того, чтобы не потерять популярности. Он не прибегает к сознательной лжи — это было бы уж слишком нехорошо; но он не прочь ввести читателя в заблуждение резкостью тона, темными намеками, недосказанными фразами. Он сам следующим образом определял характер своей деятельности: «Непоколебимость принципов, постоянные сделки с людьми и обстоятельствами». С таким девизом можно примириться, если сделки совершаются ради успеха самого общественного дела, если этого требуют высшие интересы. Но Прудон частенько вступал в сделки со своей совестью под влиянием чисто личных мотивов, например, под влиянием тщеславия, боязни за свою личную безопасность и так далее.

Правда, попытки Прудона одурачить людей, с которыми он общался, редко имели успех, и обыкновенно он сам оставался одураченным. В сущности, он совсем не был практичным человеком и потому до конца жизни не мог мало-мальски сносно устроить свои дела. На первом плане для него всегда стояла идея, и он горячо любил истину, хотя и не совсем бескорыстной любовью. Все это время он жил в Париже, изредка заглядывая на свою родину, во Франш-Конте. Положение его среди парижского общества мало изменилось со времени его приезда в столицу. Он был так же изолирован, так же мало сочувствия встречал и поддержки со стороны столичной прессы и со стороны вожаков общественного мнения. С социалистами и республиканцами Прудон был в открытой вражде; с защитниками июльской монархии он не мог иметь ничего общего ни по своему характеру, ни по своим убеждениям. Он мог высказывать пожелания сблизиться с правительством, но при первом столкновении с людьми правительственной партии ему становилось ясно, какая глубокая пропасть отделяет его от сытых и довольных буржуа, составлявших опору трона Луи Филиппа. У него оставались друзья, но друзья эти были далеко от Парижа, разбросанные по всей Франции. Некоторые из них хорошо устроились: Бергман женился на любимой девушке, был счастлив и пользовался общим уважением в Страсбурге. Другим не повезло: Аккерман не мог ужиться во Франции и переселился в Берлин. Связь между всеми ими поддерживалась только благодаря Прудону. Он сообщает им сведения друг о друге и часто

журиет их за недостаток дружбы, за то, что новые привязанности мало-помалу вытесняют старые.

Денежные средства Прудона были, по обыкновению, не блестящими. Он зарабатывал немного литературой и продолжал получать небольшие и неверные доходы от своей типографии. Но вообще его материальное положение улучшилось, и ему уже не приходилось испытывать той подавляющей нищеты, которая вскоре после его приезда в Париж доводила его до мысли о самоубийстве.

1842 год прошел для него довольно мирно. После оправдания на суде он менее, чем когда-либо, был склонен к враждебному отношению к правительству. В это время ему было 33 года; он выражал в письмах желание успокоиться и отдохнуть от полемики. Он ищет места при безансонской мэрии; ему хочется вернуться в родной город и всецело отдаться научным занятиям. Ему рисуются мирные картины будущего, спокойное, чуждое всяких увлечений и порывов изучение законов развития человеческих обществ, исследования тех основных принципов, на которых зиждется наша жизнь. Пора ему проститься со своим существованием богемы и занять некоторое положение в свете. Он знает, что в префектуре у него много недоброжелателей. Но правительство должно наконец понять, что в нем лучше иметь своего друга, чем врага. Быть может, ему суждено одновременно быть самым крайним реформатором эпохи — и пользоваться расположением и поддержкой власти.

Как и следовало ожидать, правительство не относилось к Прудону настолько же благосклонно, насколько был благосклонен к правительству последний. Ему отказали в месте, как человеку опасному и не внушающему префектуре доверия. Судьба не позволила Прудону осуществить его скромные идеалы и толкала его на борьбу и лишения.

Под первым впечатлением своей неудачи он пишет Бергману письмо, полное негодования, которое заканчивает следующими словами: «Отвергнутый префектурой и мэром, подозрительный суду, ненавистный духовенству, страшный для буржуазии, без профессии, без состояния и без кредита — вот чего я достиг в 34 года».

Около этого времени он закончил ликвидацию своей типографии, при этом на нем остался долг в 2000 р. Хозяйственные хлопоты не мешали ему работать, и он закончил давно начатое сочинение «Создание порядка в человеческом обществе»; эта книга должна была дать, по мысли автора, философские обоснования всем тем положениям, которые им развивались в мемуарах о собственности. Посвящая ее Бергману, Прудон высказывает сожаление, что его развитие шло неправильно и что он получил исключительно теологически-философское образование. Признание для автора довольно характерное.

В 1843 году в Страсбурге состоялся научный конгресс. Прудон не мог лично принимать в нем участие, но тем не менее живо интересовался его работами. Несмотря на то, что он уже давно перестал заниматься филологией, он не потерял к ней интереса и просил Бергмана сообщить ему подробно, к каким результатам пришел конгресс относительно вопроса, почему в греческом языке имена существительные множественного числа среднего рода согласуются с глаголом в единственном числе. Довольно любопытно, что из всех поставленных конгрессом вопросов Прудона более всего интересовал вопрос специально

филологический.

Потеряв типографию, Прудон лишился постоянного, хотя и довольно сурового, источника доходов. Но ему очень кстати подвернулось другое занятие. Его старый друг А. Готье предложил ему заведовать делами своей фирмы, которая занималась транспортировкой леса и каменного угля. Готье был с детства знаком с Прудоном и учился с ним в одном колледже; судьба их разъединила. Но когда его старый друг достиг известности, Готье завязал с ним приятельскую переписку и предложил ему место у себя.

Новое занятие Прудона было очень хлопотливым и оставляло ему мало свободного времени. Целыми днями ему приходилось иметь дело с кочегарами, матросами, комиссионерами и т. п. Он был главным приказчиком и советником своих хозяев. Вначале Прудон был доволен возможностью «увеличить запас своих наблюдений и закончить на опыте курс политической экономии, начатый с Сэя и Смита». С чувством большого удовольствия он описывает свое времяпровождение Аккерману и прибавляет: «Будучи как рабочий раздавлен конкуренцией, я теперь, в свою очередь, содействую тому, чтобы давить других; я имею возможность применить на практике все мои организационные планы и пользуюсь ими, чтобы делать опыты над злонамеренными конкурентами *in anima vili*. Между делом я пишу брошюры по административным вопросам, петиции к министру, запросы префекту, снабжаю разными бумагами министерскую канцелярию, — словом, если бы правительство знало, какого энергичного помощника оно имеет во мне, оно дало бы мне пенсию вместо того, чтобы учреждать за мною полицейский надзор».

В качестве защитника интересов своих хозяев ему часто приходилось выступать в суде, и при этом он проявлял такую ловкость и умение, что некоторые друзья Прудона серьезно советовали ему заняться юриспруденцией. Действительно, по складу своего ума, несколько формального и сухого, он мог бы быть хорошим юристом.

В течение четырех лет, с 1843 по 1847 год, Прудон продолжал заведовать делами фирмы Готье. Под конец его стали утомлять хлопоты по снаряжению судов; кроме того, он не был доволен теми хозяйственными приемами, к которым прибегал его патрон, и они разошлись, несмотря на то, что Готье очень дорожил услугами своего старого друга. Прудон был очень рад освободиться от зависимости и давал в письме к Бергману обещание никогда не служить у знакомых, а тем более у друзей; он хочет, хотя бы на время, быть своим собственным хозяином.

В течение этих четырех лет ему приходилось довольно часто бывать в Париже и иногда жить там по нескольку месяцев. Он познакомился со многими видными представителями экономической науки во Франции; ближе других сошелся с Ж. Гарнье. Вообще, круг его знакомых значительно расширился. К этому времени Прудон уже сделался известным человеком, с мнением которого всем приходилось считаться; о нем знали и говорили не только во Франции, но и за границей.

В сороковых годах во Франции шла оживленная умственная работа, которая несколько напоминала литературное движение прошлого столетия накануне Великой революции. В Париж из всей Европы стекался цвет радикальной и демократической интеллигенции. На

поверхности все было мирно и спокойно, и правительство Луи Филиппа казалось прочнее, чем когда-либо; но в обществе и народе все пребывало в движении, все волновалось и кипело. Создавались всевозможные планы преобразования социального строя, по большей части совершенно утопичные, но проникнутые горячей любовью к человечеству и самым искренним стремлением к добру и свету. Это было время, когда пожилые люди, старики с горячностью юношей рассуждали о судьбах народов и верили в близкое обновление всего человечества. Казалось, могучий порыв идеализма охватил всю старую Европу и близится громадный социальный переворот. Центром этого движения был Париж. Прудон в скором времени ознакомился с кружком добровольных и недобровольных изгнанников, собравшихся в Париже, и с некоторыми из них подружился и сошелся довольно близко.

В числе этих изгнанников находился в Париже и Карл Маркс, впоследствии приобретший громадную известность, а в то время молодой писатель. Вдвоем с Прудоном они проводили долгие ночи в спорах, и, без всякого сомнения, эти споры немало содействовали выработке их собственных взглядов и убеждений, хотя нельзя сказать, чтобы один из них подчинился влиянию другого. Маркс был моложе Прудона, но он обладал громадным преимуществом основательного и систематического научного образования, отсутствие которого было несчастьем последнего. Оба эти человека имели слишком мало общего в своих взглядах, слишком расходились по своей натуре, и между ними не могли установиться дружеские отношения. Впоследствии, после резкой критики К. Марксом «Экономических противоречий» Прудона, всякие сношения между ними были порваны.

В числе новых друзей Прудона мы встречаем молодого немецкого писателя К. Грюна, который оставил очень интересное описание своего знакомства с автором знаменитого трактата о собственности.

«Я его представлял себе, — пишет К. Грюн, — человеком лет сорока, с черными глазами, с недоверчивым видом, с лицом, омраченным заботами и страданием, с тем неизъяснимым выражением добродушия, которое можно было прочесть на лице Ж. Ж. Руссо и Л. Берне. Как я мог представить себе другим этого одинокого, смелого и беспощадного мыслителя и рабочего, этого пролетария, который создает в интересах пролетариата целую науку?

Когда я вошел в комнату Прудона, я увидел довольно крупного мужчину, нервного, не старше тридцати лет, одетого в шерстяную куртку, с деревянными башмаками на ногах. Студенческая комната с одной кроватью; немного книг на полках, на столе номера „National“ и экономических журналов. Не прошло пяти минут, как у нас завязался самый душевный разговор, и я убедился, насколько я был далек от истины, когда предполагал встретить в Прудоне недоверчивое отношение к людям. Открытое лицо, прекрасный лоб, карие глаза, нижняя часть лица несколько массивная и выражающая твердую натуру горных обитателей Юры; дикция энергическая, с несколько деревенским акцентом; язык сжатый и точный, с почти математической правильностью выражений; характер спокойный и уверенный, не лишенный веселости; одним словом, человек, который всегда и везде может за себя постоять».

Грюн и К. Маркс познакомили Прудона с философией Гегеля. Не зная немецкого языка, Прудон не мог прочесть произведений знаменитого философа, учение которого облетело в

то время всю Европу; тем не менее, из устных разговоров с друзьями он настолько заинтересовался этой философией, что сделал попытку в своем самом капитальном сочинении применить диалектический метод Гегеля к построению системы экономических противоречий.

В одном пункте К. Грюн не мог согласиться со своим новым другом, который привел его в восхищение своим решительным характером и независимостью мыслей. Защитник равенства всех людей оказался решительным противником равноправности женщин. К. Грюн теряется в догадках, каким образом такой последовательный человек может быть настолько непоследователен в этом отношении. Впрочем, это обстоятельство не уменьшило уважения к Прудону, которое Грюн почувствовал с первой минуты своего знакомства с ним; он деятельно пропагандировал в Германии сочинения последнего и перевел некоторые из них на немецкий язык.

В то же время Прудон познакомился с Даримоном, который может быть назван его единственным учеником, достигшим некоторой известности; впоследствии они совместно редактировали «*La voix du Peuple*». Даримон был провинциалом и в 1847 году приехал в Париж для изучения социальных и экономических вопросов; ему случилось обедать с Прудоном в одном ресторане, и он воспользовался случаем, чтобы познакомиться с автором, сочинения которого составляли для него символ веры. Их отношения никогда не были особенно близки, но учитель ценил в своем ученике и сотруднике по газете умение ясно и хорошо передавать его мысли, смягчая все то резкое и имеющее слишком мягкий характер, что составляло и силу и слабость его собственной писательской манеры.

В 1846 году Прудон потерял отца; его мать удалилась в свою родную деревню и умерла там через год. Как и раньше, она получала содержание от сына, который выказывал по отношению к ней постоянную заботливость, исполненную нежности и любви. Ее смерть глубоко его поразила, и он пишет своему другу: «Вот я совсем один, порядком-таки разочарованный, без привязанности, без пристанища. Но сколько бы я себе не повторял, что с тех пор, как я покинул Лион, я не имею больше ни семьи, ни дома, ни положения, я все-таки не могу поверить такому полному одиночеству, не могу примириться с мыслью, что никому нет до меня дела, что у меня нет больше моей старухи-матери».

В это время он написал самое крупное свое произведение «Экономические противоречия, или Философия нищеты». Все его предшествовавшие труды казались ему подготовительными к этому сочинению, значение которого он, по обыкновению, преувеличивал в громадных размерах, — но, наученный горьким опытом, не рассчитывал на немедленный и быстрый успех. Интересно то, что, как можно заключить из его переписки, он и сам не знал тогда, в чем должно состоять примирение противоречий, которые он находит во всех основных экономических категориях. До февральской революции он был только критиком и потому, несмотря на свои выдающиеся научные и литературные дарования, был вне парижской интеллектуальной жизни и пользовался сравнительно незначительным влиянием.

ГЛАВА III. Литературная деятельность Прудона до февральской революции. — «Что такое собственность?» — «Экономические противоречия, или Философия нищеты»

Мы описали жизнь Прудона в первый период его литературной деятельности, когда он еще не выступал социальным реформатором и стоял в стороне от политики; к этому периоду относятся его наиболее интересные в научном отношении произведения — «Мемуары о собственности» и «Экономические противоречия». Все основные воззрения этого парадоксального и не всегда последовательного писателя сложились окончательно ко времени февральской революции; но до 1848 года он ограничивался критикой современного экономического порядка и не пытался приступить к более трудному делу — к положительному решению социального вопроса.

Мы уже говорили несколько раз, что Прудон не получил правильного научного образования. Для неспециалиста он был довольно хорошо знаком с теологией и философией, но его экономическая эрудиция была не особенно обширна и ограничивалась почти исключительно сочинениями французских экономистов. Ему не хватало знакомства, хотя бы элементарного, с точными науками. Хотя он иногда и говорит в своих сочинениях о методе Кювье, о Лапласе и других естествоиспытателях, но по всему видно, что сведения о них дошли до него

совершенно случайно.

Постоянная забота о насущном хлебе мешала ему пополнять хорошо сознаваемые им самим недостатки образования. Ему приходилось работать наскоро, знакомиться с литературой предмета по мере того, как он писал и издавал свои сочинения в не совсем обработанном виде. Ничего нет удивительного, что, работая при таких условиях, он часто противоречил сам себе и много раз изменял свои печатаю высказанные мнения. Так, например, в своей книге «О создании порядка в человеческом обществе» он доказывает, что металлические деньги есть необходимая основа всякого сложного хозяйственного строя, в котором существует разделение труда. Между тем впоследствии главной задачей проектированных им экономических реформ было уничтожение металлических денег как орудий товарного обращения. При изложении политических и экономических воззрений Прудона мы будем часто встречаться с противоречиями и непоследовательностью. Этот недостаток его сочинений зависел до известной степени от самой прихотливой и оригинальной натуры Прудона.

Его философские воззрения тоже подвергались различным изменениям в связи с условиями его личной и общественной жизни. Одно время он сильно увлекался Гегелевой философией, с которой познакомился из разговоров с друзьями. Интересно, что, хотя сам Гегель был консерватором и противником насильственных переворотов, многие радикальные реформаторы 40-х годов были гегельянцами и основывали на его учении свою резкую и сильную критику современного строя. В 1846 году, ко времени своего знакомства с Марксом, Прудон не выработал еще никакого плана общественной реформы, и гегелевский диалектический метод пришелся ему как нельзя более кстати. Впоследствии, когда он стал более примирительно относиться к существующему строю, он без всякого колебания отказался от своих прежних философских взглядов и сам стал подтрунивать над гегелевской диалектикой.

Из этого, однако, не следует, что его основные убеждения были шатки и непостоянны; его мирозерцание покоилось не на доводах рассудка, а на чувстве, на всем опыте его жизни, на тех наполовину бессознательных впечатлениях, которые он получал в детстве, в родной семье, на полях своего отца, на скамьях коллежа. Суровая борьба с нищетой, которую ему приходилось вести, закалила его характер и завершила его умственное развитие. Он мог противоречить себе в частностях и в вопросах, не имевших для него важного значения, но всегда стремился к одной и той же цели и всегда оставался горячим защитником интересов трудовой массы, из которой сам вышел.

Как все даровитые самоучки, Прудон был полон уверенности в своих силах. Ему казалось, что он открыл для общественных наук новый метод исследования, при помощи которого можно с математической точностью вывести законы социального строя, подобно тому, как Ньютон установил законы всемирного тяготения. Уже из этого одного видно, как мало понимал Прудон особенности социальных явлений со всей их бесконечной сложностью и изменчивостью, которыми они так резко отличаются от явлений физического мира. Сочинения Прудона не представляют собою систематических исследований современного общественного строя; в них рассеяно много верных и остроумных мыслей, довольно часто встречается удачная критика существующего, но все вместе является несколько бессвязным

целым, в котором мало последовательности и логического порядка. Его аргументация отличается одним основным недостатком: он не знает, что требует доказательства, часто принимает как само собой очевидное то, что еще должно быть доказано. Изложение Прудона неясно и темно. Читатель легко замечает, что сам автор еще не вполне овладел своей мыслью, что он ее скорее чувствует, чем понимает. Кто ищет в книге прежде всего знания, того сочинения Прудона не удовлетворят; такому читателю придется потратить немало труда, чтобы разобраться в причудливом фейерверке слов, остроумных замечаний и парадоксов, которые характеризуют писательскую манеру Прудона. Зато в литературном отношении многие его произведения не уступают лучшим образцам французской прозы; они написаны сильным, энергичным языком, возвышающимся иногда до самого могучего лиризма. Читатель невольно поддается очарованию, соглашается с автором, не столько убежденный его доводами, сколько увлеченный искренностью его негодования против всякого рода зла и несправедливости в человеческих отношениях.

Основанием всей научной и публицистической деятельности Прудона являются две этические идеи — идеи равенства и свободы. Нам нечего говорить о том, каким образом они получили для него такое громадное, преобладающее значение. Вся французская история XIX столетия объясняется борьбой народа во имя свободы и равенства со старым общественным строем, с остатками феодализма и абсолютной монархии. Для прогрессивных элементов французского общества новые идеалы сделались предметом почти религиозного культа. Прудон так же естественно усвоил свое миросозерцание, как ребенок усваивает свой родной язык, без мучительной работы мысли, без колебаний и сомнений. Он никогда не спрашивал себя, действительно ли свобода и равенство — высшие блага в жизни, к которым человечество должно стремиться; его задача заключалась только в том, чтобы найти лучший способ для осуществления этих идеалов, и с этой целью он подвергает критическому анализу основания экономической организации современного общества.

Во главе социальных институтов, образующих тот общественный строй, которым европейские нации так гордятся, стоит институт частной собственности. Все хорошее и дурное в наших учреждениях имеет самое тесное отношение к организации права собственности; поэтому критика социального строя должна быть прежде всего направлена на исследование этого института, существующего с незапамятных времен у всех культурных народов.

Приведем вкратце содержание первого мемуара Прудона о собственности. Он разбирает обычные обоснования этого права. Со времен Цицерона многие юристы следующим образом доказывают необходимость частной собственности. Для того, чтобы земледelec мог работать и добывать себе пищу, он должен занять известный участок земли. Первоначально земля, как и все прочие предметы, не принадлежала никому, и поэтому всякий мог захватывать себе столько земли, сколько ему было нужно для обработки. Но когда вся земля была поделена, положение вещей резко изменилось. Завладевать было нечем, потому что никто не имеет права пользоваться той вещью, которая уже принадлежит другому. Таким путем образовались имущие и неимущие классы, собственники и пролетарии.

Но владение, говорит Прудон, может давать человеку право лишь на то, что ему действительно необходимо для существования и с чем он лично может справиться. Поэтому

нельзя оправдать захват одним лицом громадных земельных пространств.

Экономисты со времен Локка приводят обыкновенно другого рода доводы в защиту частной собственности. Они говорят, что собственность основывается на праве работника бесконтрольно распоряжаться продуктами своего труда. Человек обрабатывает землю, прилагает к ней свой труд и тем самым приобретает на нее право собственности. Но разве продуктом его труда является земля, а не хлеб, сено и другие земные плоды? Почему же право собственности простирается не только на продукты, но и на орудия производства? Почему труд, который раньше мог создавать собственность, теперь лишен этой волшебной силы? Почему фермер в настоящее время не приобретает собственности на землю, которую он десятки лет обрабатывает и улучшает?

Что же такое, в конце концов, частная собственность? Это — право получать доходы, не принося пользы обществу. Доходы эти имеют следующее происхождение: рабочий создает больше новых ценностей, чем получает их в виде заработной платы; излишек поступает в пользу капиталиста и составляет его ренту. Отсюда известный тезис Прудона: "La propriété c'est le vol [«Собственность — это воровство» (фр.)].

Но если собственность разрушает равенство, ведет к порабощению слабого сильным, к эксплуатации труда, то коммунизм привел бы к другому неравенству, еще более губительному. В таком обществе, о каком мечтают социалисты, слабые угнетали бы сильных, ленивые и неспособные жили бы за счет трудящихся и способных. Коммунизм есть система самого худшего рабства, так как общность владения требует организации труда, лишает членов общества свободы действия и превращает их всех в чиновников.

Итак, к чему следует стремиться, к какому общественному строю? Нужно стремиться к свободе и равенству...

Таково содержание первого мемуара Прудона о собственности. Эта небольшая книжка в 200 страниц, написанная за несколько месяцев молодым, подавленным нуждой человеком, сделала известным всему миру парадоксальное положение: «собственность есть кража». Все, что Прудон написал впоследствии, не получило такого широкого распространения, как эти несколько слов. Какое значение придавал им сам автор, можно видеть из того, что, по его мнению, эта короткая фраза была самым крупным событием в правление Луи Филиппа.

Собственность есть кража — это было впервые высказано задолго до Прудона известным жирондистом Бриссо. Резкая форма, смелое отождествление двух таких понятий, которые в обыденной жизни всеми признаются противоположными и взаимоисключающими, — заслуга всего этого принадлежит не Прудону, а его предшественнику. Между тем вся оригинальность открытия Прудона заключается исключительно в форме; по содержанию оно давно уже было сделано английскими социалистами — Томсоном, Греем и другими. Если перевести на обыкновенный язык парадоксы Прудона, то мы получим следующее положение: собственность дает человеку возможность присваивать себе продукты чужого труда. Та же мысль была впоследствии развита Родбертусом и Марксом и сделалась краеугольным камнем всей системы научного социализма нашего времени. Но Прудон удовольствовался красивой фразой и не думал делать из нее никаких дальнейших выводов.

В этом сказалась его отличительная черта писателя и ученого: он любил красивые обороты мысли не столько ради их содержания, сколько ради их внешней красоты, и наслаждался последней, как истинный художник.

Когда читаешь лирические излияния Прудона, его обращения к Божеству и небесам, его проклятия человечеству, невольно напрашивается сравнение знаменитого публициста с его земляком, великим поэтом и мастером слова — Виктором Гюго. Оба эти писателя питают пристрастие к парадоксам, к блестящим и неожиданным сравнениям, к антитезам, усиливающим в громадной степени эффект речи. Оба они являются типичными представителями французской мысли. Но Виктор Гюго был художником, и потому погоня за внешними эффектами мало ему вредила и придавала только излишнюю цветистость его стилю; Прудон же был ученым и хотел быть исследователем в самой трудной области человеческого знания, в области социальных отношений. Любовь к парадоксам часто направляла его по ложному пути и мешала ему всесторонне исследовать явления с беспристрастием истинного жреца науки.

Если сравнивать Прудона с Виктором Гюго, то нужно отметить одну характерную черту, делающую их различными по натуре. Прудон был совершенно лишен фантазии, той волшебной творческой силы, которая может уносить человека далеко за пределы действительности и открывать перед ним новые неожиданные горизонты. По описаниям, французский крестьянин средней полосы представляется нам человеком, что называется, «себе на уме», трезвым и положительным, совсем не склонным к мечтательности и идеализму. Из такой среды вышел Прудон и, несмотря на изменившиеся условия его жизни, всегда оставался типичным крестьянином, как в своих частных отношениях, у семейного очага, так и в своей общественной деятельности. Он не был способен к самостоятельному творчеству в социальной области, и этим до известной степени объясняется его антипатия ко всякого рода социалистическим утопиям. Как публицист, Прудон умел объемно и ярко представить все то смешное и неосуществимое, что характеризовало мечтанья Фурье, Кабе и других реформаторов того времени. Он считал насилием над человеческой природой стремление этих реформаторов навязать человечеству новый социальный порядок, в котором все отдельные факторы искусственно соединены в одну громадную машину. Но ему самому не хватало поэтической способности и воображения Фурье, увлекавшего своими фантастическими картинами таких людей, как Консидеран, Лоренц Штейн, Джон Стюарт Милль и другие.

Мемуары Прудона о собственности представляют из себя блестящие публицистические опыты, способные разбудить дремлющую мысль и подтолкнуть ее к самостоятельной работе, но они не имеют большого научного значения. Вместо того, чтобы тщательно изучить развитие частной собственности во времени и пространстве, исследовать все разнообразные формы, которые этот социальный институт принимал у различных народов, и выяснить, наконец, характер собственности по действующему законодательству, он довольствуется опровержением доводов, приводимых в курсах гражданского права и политической экономии в защиту частной собственности. Доказавши неосновательность этой защиты, он готов торжествовать победу над собственностью и считает свою задачу законченной, между тем как в действительности он к ней и не приступал. Подобные работы относятся скорее к области права в его догматической части, чем к политической экономии,

изучающей законы народного хозяйства, как они проявляются в действительности.

Мы говорили, что стремление к свободе и равенству лежало в основании всей деятельности Прудона. Но всегда ли эти идеалы находятся во взаимной гармонии; всегда ли они согласуются друг с другом? Не существует ли между ними коренного, непримиримого антагонизма, который заставляет нас жертвовать одним идеалом ради торжества другого? Во имя равенства он громил собственность и желал ее уничтожить — если бы знал, чем ее заменить; во имя свободы он вел горячую борьбу с социалистами и готов был предпочесть современный строй со всеми его несправедливостями перспективе коммунистического государства, где все граждане — рабы одного великого целого. Ни действительность, ни социальные утопии его не удовлетворяли. Уже в первом своем экономическом сочинении он бросил перчатку обеим партиям и не покидал занятого им положения до конца своей жизни. Вся его последующая литературная деятельность представляет из себя безуспешную попытку примирить идеалы свободы и равенства; но врожденный недостаток фантазии помешал ему создать свою собственную систему и положить основание новому направлению в экономической науке.

В своем философском сочинении «О создании порядка в человеческом обществе» Прудон стремится доказать необходимость равенства как основного принципа человеческого общежития. Все явления природы находятся во взаимодействии друг с другом и могут быть рассматриваемы как члены одного ряда. Задача науки, по мнению Прудона, заключается в том, чтобы устанавливать серии, группы, к которым относятся исследуемые явления. Каждый отдельный член серии так же необходим в своем роде, как и всякий другой. Для образования белого цвета необходимо смешение всех цветов спектра. В животном организме каждый отдельный орган составляет необходимую часть целого и нельзя сказать, чтобы животное более нуждалось в одном органе, чем в другом, например в пищеварительной системе более, чем в нервной или мускульной. Точно так же в человеческом обществе все отдельные профессии равно необходимы для общего преуспеяния; люди различных специальностей различаются не по размерам своих природных способностей, а только по направлению последних, по их внешней форме. В каждой, самой скромной социальной функции отражается великое целое, и потому равенство всех членов общества составляет естественный постулат всякого правильно организованного общежития.

Задача политической экономии заключается в построении серии экономических категорий. Прудон сделал попытку построить эту серию в «Экономических противоречиях». К этому времени автор их познакомился с философией Гегеля, до многих положений которого он самостоятельно додумался раньше. Под влиянием системы Гегеля Прудон пришел к убеждению, что члены серии с роковой необходимостью вытекают одни из других, что каждый из них заключает в себе внутреннее противоречие, которое примиряется следующим членом серии. Истинная социальная наука состоит не в исследовании того, что есть и что будет, а в изучении самого процесса развития. Экономисты довольствуются настоящим, социалисты мечтают о будущем, но и те и другие не в состоянии увидеть то звено, которое органически связывает будущее с настоящим. Чтобы понять настоящее, нужно исследовать естественные противоречия, лежащие в основе всех экономических категорий.

Понятие ценности есть краеугольный камень всего здания экономической науки. Со времени Адама Смита экономисты различали два рода ценности — ценность потребительную и меновую. В каком отношении друг к другу находятся эти две различные формы ценности? Увеличение предложения товаров увеличивает общую сумму их полезности, но понижает их рыночную цену; уменьшение предложения повышает цену, хотя сумма их полезности становится меньше. Следовательно, между меновой и потребительной ценностью существует внутреннее противоречие. Чем меньше имеется в природе нужных для нас предметов, тем они дороже. Поэтому скудный урожай часто более выгоден для земледельца, чем урожай хороший; богатство производителя оказывается равносильным бедности потребителей. А так как ценность есть основание всей экономической системы, то можно сказать, что весь современный хозяйственный строй страдает коренным, неизбежным противоречием.

Каким же образом примиряется в действительной жизни противоречие между потребительной и меновой ценностью? Это примирение совершается посредством соответствия цены товаров с трудом, затраченным на их производство. Но при современных хозяйственных условиях цены подпадают влиянию спроса и предложения и могут значительно уклоняться от такого соответствия. От колебания цен страдают производители; одни из них разоряются, другие обогащаются за счет остальных. Только тогда производители будут вознаграждаться по заслугам, когда цена товаров будет строго соответствовать их трудовой стоимости. Но синтез экономических противоречий дается нелегко, и общество должно много вынести и перестрадать для того, чтобы достигнуть экономической справедливости.

Экономическая эволюция начинается с разделения труда. Разделение труда дает человечеству возможность осуществить идею равенства, так как только при дифференцировании профессий каждый может беспрепятственно отдаться своим симпатиям и заниматься тем, к чему он наиболее способен. Специализация труда увеличивает в громадной степени его производительность и открывает человечеству широкую дорогу к накоплению богатства и знания. Но, с другой стороны, разделение труда порабощает рабочего, делает его слепым орудием в руках капиталиста, увеличивает нищету и невежество низших классов народа и представляет все блага цивилизации небольшой кучке избранных. Новое противоречие, которое разрешается вторым членом экономической серии — машинами.

Бессознательное развитие общества во всех отношениях подобно сознательной деятельности нашего ума. Подобно тому, как мы выставляем одну за другой различные гипотезы для того, чтобы решить трудную задачу, точно так же мировая мысль последовательно воспроизводит различные социальные институты, которые более или менее полно разрешают противоречия общественного строя.

Изобретением машин промышленный гений человека протестует против раздробления и специализации труда. Действительно, что такое машина? Это соединение в одном целом тех инструментов, которыми раньше работало несколько рабочих. В этом смысле введение машин по своим результатам прямо противоположно действиям разделения труда. Машина должна уменьшить человеческий труд, понизить цены на продукты и делать их более

доступными низшим классам населения, давать толчок к новым техническим изобретениям и доставлять человеку торжество над грубыми силами природы. Поэтому машина есть символ свободы и человеческого гения.

Но тем самым, что машина сокращает труд, она уменьшает спрос на рабочие руки и выбрасывает рабочих без куска хлеба из фабрики на мостовую. Введение машинного производства понижает заработную плату, вызывает промышленные кризисы, избавляет капиталиста от всякой зависимости от рабочего и делает последнего одушевленным придатком машины. Положение рабочего становится еще тяжелее, чем оно было в предшествующую эпоху, при господстве разделения труда.

Свободная конкуренция представляет собою третью стадию промышленного развития. Сотрудничество производителей выгодно для всего населения, которое, благодаря ему, получает все нужные товары дешевле и лучшего качества. Свобода так же необходима для деятельности человека, как воздух для его дыхания; только свободный человек может достигнуть великих результатов и в материальной, и в духовной области. Но, несмотря на все благоприятные последствия промышленной свободы, она так же мало, как и все раньше перечисленные социальные факторы, может удовлетворить справедливые требования рабочего класса и приводит к монополии, к порабощению слабого сильным. Монополия есть естественный и необходимый результат свободы, награда за победу в промышленной борьбе, лучший стимул человеческой энергии, и тем не менее монополия разрушает равенство, а потому враждебна всякому прогрессу; она развивает самые дурные инстинкты в человеке и ведет к нищете и рабству.

Подобным образом Прудон разбирает последовательно все экономические категории, налоги, торговый баланс, кредит и, наконец, собственность и коммунизм. Во всем он находит противоречия, все кажется ему неудовлетворительным и заслуживающим в одинаковой мере порицания и похвалы. Последнюю главу он посвящает критике и опровержению учения Мальтуса о неизбежности нищеты как естественного последствия тенденции человечества размножаться скорее, чем растут его средства пропитания. Мальтус утверждает, что наша пища, одежда и прочие необходимые для нас предметы могут увеличиваться только в арифметической прогрессии, между тем как при отсутствии препятствий размножение человечества идет в прогрессии геометрической. Прудон обращается с цифрами так же произвольно, как и Мальтус, и полагает, что результаты человеческого труда равны квадрату числа работников. Так, например, четыре работника в 16 раз больше произведут, чем один, потому что соединение рабочих позволяет применить к производству всевозможные усовершенствования, ввести разделение труда, машины и так далее. Следовательно, производительные силы человечества растут не медленнее, а быстрее его самого.

Но каким же образом примирить указанные экономические противоречия, воспользоваться всем, что есть хорошего в современных учреждениях и избежать тех несчастий, которые они влекут за собой? На этот вопрос Прудон не дает ответа в своей книге, несмотря на то, что эпиграфом к ней он выставил гордое изречение «*Destruom ed aedificato*» («Разрушу и воздвигну»), и читатель остается в полном недоумении, в чем же Прудон видит решение социального вопроса.

«Экономические противоречия» — самое ценное в научном отношении сочинение Прудона. Несмотря на то, что он совершенно произвольно распределяет свои экономические эпохи, которые не соответствуют исторической последовательности, не подчинены какому-либо логическому порядку и с таким же успехом могли бы быть размещены от конца к началу, его книга содержит в себе такую удачную критику капиталистического строя, что большинство последующих писателей, относившихся враждебно к капитализму, пользовались его аргументами и развивали его мысли. Влияние «Экономических противоречий» Прудона заметно в сочинениях Родбертуса и Маркса, несмотря на то, что последний, вскоре после выхода в свет этой книги, написал на нее очень резкую и не совсем справедливую критику в отдельной брошюре, озаглавленной «Нищета философии» — парафраз заглавия Прудона «Философия нищеты». Он упрекал автора «Философии нищеты» в том, что тот не понял и не сумел воспользоваться диалектическим методом Гегеля. Этот упрек в известной степени справедлив. Насколько мало Прудон понимал и ценил философию Гегеля, можно видеть уже из одного того, что впоследствии он так легко от нее отказался. Тем не менее отсутствие строго выдержанного метода в «Экономических противоречиях» не лишает достоинства отдельные меткие и оригинальные мысли, которые в изобилии рассеяны в этом сочинении.

ГЛАВА IV. Февральская революция и участие, которое принимал в ней Прудон. — Деятельность его в Национальном собрании. — Борьба с радикалами. — Присуждение Прудона к тюремному заключению за ОС

Июльская монархия была сделкой между принципами абсолютизма и народовластия. Луи Филипп в течение своего восемнадцатилетнего правления должен был одновременно опасаться двух крайних партий: партии сторонников законной монархии «милостью Божией» графа Шамбора и партии республиканцев, не удовлетворенных теми ограниченными правами, которые были предоставлены народу конституцией 1830 года. Эта конституция была основана на компромиссе и уже по одному этому носила в себе зародыши разрушения.

Не имея возможности опереться ни на аристократию, ни на народ, правительство Луи Филиппа попробовало основать свою власть на поддержке третьего сословия, буржуазии, которой был антипатичен абсолютизм Бурбонов, но которая в то же время опасалась возвращения режима 1793 года с его волнениями, террором и всеобщим экономическим замешательством. Луи Филипп гарантировал буржуазии мир и порядок, необходимые для экономического процветания страны, гарантировал собственность и в то же время предоставил стране известную долю политической свободы; существовало, хотя и ограниченное высоким имущественным цензом, избирательное право, и законодательная власть была разделена между королем и палатой народных представителей. Девизом всей внутренней политики Луи Филиппа была знаменитая фраза его первого министра: «Обогащайтесь!» И Франция обогащалась, хотя, вместе с тем, возрастала бедность низших классов и развивался пролетариат.

Революция 24 февраля 1848 года, за несколько дней уничтожившая июльскую монархию, была произведена парижскими рабочими. Движение началось требованием реформы и роспуска палаты представителей, не выражавшей истинного настроения страны и служившей опорой правительству. Во главе движения стояла буржуазная оппозиция, требовавшая реформ, но сохранившая преданность орлеанской династии и опасавшаяся революции.

Республиканцы, располагавшие значительными силами среди парижского рабочего населения, были не организованы и не ожидали такой быстрой развязки царствования Луи Филиппа. Переворот совершился внезапно. Очевидно, июльская монархия не имела корней в народе и достаточно было небольшого толчка, чтобы здание, казавшееся таким прочным, развалилось.

Мы говорили выше о том умственном движении, которое происходило во Франции в 40-х годах. Под влиянием обострившегося антагонизма буржуазии и рабочего класса выдвинулись на первый план новые общественные задачи. Рабочий вопрос, угрожающий опасностью всей тысячелетней европейской культуре, поглотил все другие вопросы. Появилось новое учение — социализм — которое со времени июльской революции и открытого торжества буржуазии стало приобретать все больше и больше значения.

Правительство Луи Филиппа относилось довольно терпимо к социализму в его различных оттенках, так как не видело прямой опасности для себя от пропаганды идей братства, любви и мирного прогресса, которые были девизом большинства социалистических изданий. Между тем, в действительности развитие социализма в значительной степени содействовало февральской революции и падению трона Луи Филиппа. Рабочая масса не отличалась таким терпением и осторожностью, как некоторые ее вожди, и не побоялась прибегнуть к силе, когда почувствовала возможность успеха.

Прудон занимал особенное положение в социалистической партии. По всем своим основным взглядам он коренным образом расходился с социалистами и скорее примыкал к их противникам, экономистам буржуазной школы. Вместе с тем, в своем последнем сочинении «Экономические противоречия» Прудон подверг социализм и коммунизм такой резкой критике, что не могло, казалось бы, возникнуть никакого Сомнения, к какой партии следует

его причислить. В письмах своих он называет мечтания Фурье, Кабе и других «проклятой ложью». Между тем, общественное мнение ставило Прудона в ряды социалистов. Мы говорили выше о причинах этого недоразумения. Сам он до февральской революции считал себя более близким к экономистам школы Смита и Сея, чем к какой-либо социалистической школе; между первыми у него были приятели, например, Бланки и Жозеф Гарнье, между тем как к последним он относился за малыми исключениями с большой неприятностью и даже враждой.

Политические убеждения Прудона сложились довольно рано. Будучи молодым человеком двадцати пяти лет, он относился к общественным вопросам так же, как относился к ним и после февральской революции. Он называет себя республиканцем, но противником республиканского деспотизма Робеспьера и его подражателей. Он надеется, что республика явится естественным следствием социальной эволюции Франции, но не считает возможным достигнуть чего-либо путем насилия и революции. Время революций прошло, по его мнению, навсегда.

В сущности, Прудон довольно безразлично относился к вопросу о форме правления, считая, что народное благополучие в гораздо большей степени зависит от экономической организации общества, чем от того, имеет ли оно одного или многих повелителей. Поэтому Прудон легко склонялся к мысли вступить в контакт с правительством и много раз добивался его поддержки, не видя в этом ничего противного своим принципам и убеждениям; ему всегда казалось, что враждебное отношение власти к его деятельности основано на одном недоразумении, так как он был врагом насильственных переворотов и, следовательно, сторонником господствующего режима. В этом отношении он походил на многих социалистов той эпохи, которые, например, Окэн, Фурье и другие, не теряли надежды приобщить правительство к своим планам и с его помощью приступить к коренной реформе экономического строя...

В одном из своих позднейших сочинений Прудон говорит о себе, что вряд ли кому другому удавалось так сильно взволновать совесть своих современников. Это до известной степени справедливо. Он именно волновал совесть, возбуждал сомнения и вопросы, но не давал на них ответа. До февральской революции у него не было знамени, вокруг которого он мог бы сгруппировать своих сторонников. Поэтому, несмотря на свою популярность среди низших классов народа, он не имел своей партии и не мог пользоваться тем общественным влиянием, какого достигали люди менее даровитые и энергичные.

В таком положении застала Прудона февральская революция. Он ее не предвидел и не желал. Он пишет своим друзьям, что нужно примириться с совершившимся фактом, но что Франция могла бы успешно развиваться и при прежнем правительстве и достигнуть таких же результатов с меньшими жертвами. Тем не менее и его увлекла революционная горячка, и он тоже принимал некоторое участие в борьбе народа...

Временное правительство, организованное восставшим и победоносным народом, состояло из трех партий: умеренных республиканцев, предлагавших отложить провозглашение новой формы правления до созывания Национального собрания, крайних республиканцев, стремившихся воскресить традиции якобинства и 1793 года, и небольшой группы

социалистов, представленной только двумя лицами — Луи Бланом и рабочим Альбером. При таком составе новое правительство не могло проявить энергии и последовательности в своих действиях. Большая часть его членов враждебно относилась к социализму; но так как новый порядок был создан парижскими рабочими, то и пришлось прибегнуть к каким-либо мерам, способным до известной степени отвечать интересам рабочего класса. Под влиянием Луи Блана правительство торжественно признало право на труд естественным правом каждого человека и учредило комиссию, помещавшуюся в Люксембургском дворце, для исследования рабочего вопроса. Комиссия эта, под личным председательством Луи Блана, образовала из себя нечто вроде рабочего парламента. Вместе с тем, декретом временного правительства были организованы национальные мастерские, которые дали занятие массе парижских рабочих, оставшихся без заработка вследствие наступившего общего экономического застоя.

Прудон не мог сочувственно относиться к временному правительству, составленному из тех самых людей, с которыми он воевал всю свою жизнь. По его мнению, кучка журналистов и писателей, сменившая министерство Луи Филиппа, в несколько недель наделала столько промахов и ошибок, что поправлять их придется годами. Он был противником революции, но уж если революция произошла, то нужно было суметь ею воспользоваться и сделать все возможное для блага народа; вместо этого временное правительство забавлялось красивыми фразами, не думая об их последствиях. По мнению Прудона, признание права на труд не могло гарантировать народу заработок, если не будет изменена вся экономическая организация общества; и занятия Люксембургской комиссии вели только к тому, что возбуждали в рабочих различные надежды, которые правительство не в силах будет осуществить. Сам Прудон еще не окончил к этому времени своей последней брошюры, в которой намеревался доказать возможность преобразования общественного строя, удовлетворяющего интересам всех классов общества. Он поспешно работал над своей книгой и через месяц после падения Луи Филиппа выпустил ее в свет под многообещающим заглавием: «Решение социального вопроса».

Прудон уже несколько лет мечтал принять более активное участие в общественной жизни страны и перенести пропаганду своих идей из ученых кругов в большую публику, в среду рабочих и мелкой буржуазии.

Еще при Луи Филиппе он задумал издавать свой журнал, но издание не могло состояться вследствие недоброжелательного отношения к нему власти. После февральской революции обстоятельства изменились. Прудон почувствовал свою силу и не мог и не хотел оставаться скромным зрителем совершающихся событий.

В своей новой брошюре он торжественно возвестил миру, что ему удалось найти решение задачи, которая волновала всю Францию и привела ее к революции. Он открыл средство обеспечить труд, гарантировать ему достаточное вознаграждение, не нарушая интересов собственников и имущего класса. Средство это заключается в организации дарового, беспроцентного кредита. Временное правительство не сумело понять значение переворота, совершившегося 24 февраля, и вместо примирения буржуазии и народа возбудило между ними вражду и ненависть. Для преобразования современного экономического строя достаточно устроить меновой банк, при помощи которого все производители Франции могли

бы без посредства денег обменивать свои продукты. Билеты этого банка заменят в обращении деньги и гибельная власть золота закончится навсегда.

Таково было придуманное Прудонем универсальное лекарство от всех социальных бедствий. Неудивительно, что временное правительство не обратило внимания на его проект и даже не подвергло его обсуждению в Люксембургской комиссии. Оно было занято другими, более важными делами, главным образом подготовкой выборов в Национальное собрание, которые состоялись 12 февраля. От этих выборов зависело все дальнейшее направление революции. Нужно было узнать, как относилась к совершившемуся перевороту вся страна, провинциальные города и крестьянство, которое везде, а во Франции более, чем где-либо, отличается по своему характеру от городского населения. Радикальная партия требовала отсрочки выборов — для того, чтобы получить время развить избирательную кампанию и приготовить к выборам деревню. Многие радикалы желали даже диктатуры.

Прудону всегда были антипатичны насилие и деспотизм, пусть даже во имя народного блага, и он начал энергичную борьбу с временным правительством, основав для этой цели газету «Le representant du peuple». В горячо написанных статьях он убеждал народ не верить республиканцам и социалистам, стремящимся к власти для того, чтобы пользоваться ею так же, как и все предшествующие правительства Франции. Прудон объявлял себя сторонником революции, но это не мешает ему считать врагами народного блага почти все революционные партии и бороться, по своему обыкновению, сразу со всеми, не давая пощады ни правым, ни левым. Вместе с тем, он продолжал на страницах «Le representant du peuple» отстаивать свои планы реорганизации кредита и противопоставлял их национальным мастерским и другим экономическим мероприятиям временного правительства. В это время популярность его была невелика, и он был забаллотирован громадным большинством голосов на общих выборах в Национальное собрание.

Первое заседание Национального собрания, принявшего в свои руки верховное управление страной, состоялось 4 мая 1848 года. Временное правительство должно было сложить свои полномочия и передать дело революции вновь выбранным представителям народа. Большинство депутатов не разделяло взглядов бывшего правительства и не сочувствовало тем идеям, во имя которых был произведен переворот 24 февраля. Национальное собрание было решительно враждебно социализму и только по необходимости и по неимению никакого другого выхода мирилось с республикой. До выработки конституции для ведения текущих дел была организована исполнительная комиссия, в состав которой вошли все члены временного правительства, кроме Луи Блана и Альбера.

Парижские рабочие, недовольные исходом выборов, 15 мая попытались силой захватить власть в свои руки, проникли в здание, где заседали народные представители, овладели трибуной и потребовали организации министерства труда. Манифестация эта имела своим единственным последствием то, что реакция сделалась еще сильнее и Национальное собрание сознало необходимость тем или иным способом разделаться с парижским пролетариатом, грозившим существующей власти постоянной опасностью. Чтобы покончить с социалистами, нужно было распустить национальные мастерские, которые напоминали народу о торжественных обязательствах, принятых на себя временным правительством, и могли во всякое время сделаться центром революционной армии. Исполнительная комиссия

не побоялась прибегнуть к этой решительной мере, чем и вызвала 23 июня кровавое восстание доведенных до отчаяния рабочих. Весь Париж покрылся баррикадами, защитники которых поклялись «жить честным трудом или умереть, сражаясь» и в течение нескольких дней с отчаянным мужеством сопротивлялись правительственным войскам. Одно время можно было опасаться победы инсургентов, но перевес материальной силы оказался на стороне правительства, и восстание было подавлено...

В начале июня состоялись дополнительные выборы в Национальное собрание и Прудон был выбран 77.000 голосов депутатом города Парижа. В избирательном манифесте он подробно развивал свои излюбленные планы организации дарового кредита и требовал сокращения и децентрализации государственной власти. Манифест был написан довольно сухо и туманно, не указывал никакой определенной программы действий и не мог расположить избирателей в пользу кандидата. Успех последнего объясняется, по всей вероятности, тем, что парижане хотели протестовать своим выбором против реакционной политики нового правительства, открыто ставшего на сторону буржуазии и относившегося враждебно ко всяким экономическим реформам.

В Национальном собрании Прудон не пользовался почти никаким влиянием; он не примкнул ни к какой политической партии и принимал мало участия в парламентской борьбе. Во время июньского восстания он стоял на стороне правительства, хотя и не одобрял его решительных мер и крутой расправы с инсургентами. Между тем обстоятельства складывались так, что он мог рассчитывать на видную общественную роль. После июньского разгрома социалистическая партия потеряла почти всех своих вождей, которые частью бежали из Франции, частью были осуждены и лишены свободы. Социалистические идеи пользовались среди рабочих таким же сочувствием, как и раньше, но некому было поднять знамени социализма и приступить вновь к организации разбитой и рассеянной партии. Прудон остался верен себе и не поддавался искушению занять место Луи Блана, но силою вещей ему пришлось все более и более отождествлять свое дело с делом социализма. До февральской революции он не мог выставить никакого определенного плана общественной реформы; теперь у него было свое собственное решение социального вопроса — даровой кредит. Вражда к деньгам и проценту на капитал сближала его с крайними реформаторами эпохи, и мало-помалу он стал считать себя сторонником социализма.

11 июня Прудон внес в Национальное собрание предложение коренной реформы действующей системы налогов. Все платящие в какой бы то ни было форме капитальную ренту должники, арендаторы, наемщики и так далее должны ежегодно вносить государству шестую часть своего платежа, а одну шестую удерживать в свою собственную пользу. Все другие доходы должны быть обложены временным подоходным налогом. Вместе с тем, Прудон требовал организации кредита, согласно выработанному им плану.

Это предложение было передано для обсуждения финансовой комиссии и отвергнуто ею. 31 июня Прудон произнес в палате горячую речь в защиту предложенной им экономической реформы, громил имущие классы и буржуазию за равнодушие к народу, проклинал собственность и весь современный общественный строй, основанный на невежестве и рабстве. Национальное собрание было до крайней степени возмущено его речью; оратора беспрестанно прерывали, не давали ему говорить; раздавались возгласы: «Вы — второй

Марат», «Вы — сообщник инсургентов», «В Шарантон его!» и т. д. Большинством в 691 голос против двух был вотирован переход к очередным делам, заключавший в себе порицание оратора.

С этого времени Прудон сделался настоящей знаменитостью, а его имя стало предметом ужаса и отвращения для всех сторонников реакции. Он получал массу оскорбительных и угрожающих писем, его осмеивали в газетах и иллюстрированных изданиях, писали на него пасквилы и даже сочиняли для его вящего посрамления целые театральные пьесы. В одной клерикальной книжке серьезно высказывалось опасение, не одержим ли он бесом. Ни один смертный, по мнению составителя книжки, не погрешил столько против человечества, как Прудон. В Национальное собрание в изобилии поступали петиции об исключении из числа народных представителей такого недостойного члена.

Весь этот шум, без всякого сомнения, немало содействовал увеличению его значения как общественного деятеля. Хотя он не мог рассчитывать на какой-либо успех в палате, зато в народной массе имя его делалось все более и более популярным. Его новая газета «Le peuple», сменившая приостановленный правительством "Le représentant du peuple", расходилась в 70.000 экземплярах; газета могла бы давать ему большие доходы, но он довольствовался скромной платой 50 р. в месяц за свои редакторские труды. Это было единственным временем в его жизни, когда он пользовался обеспеченным материальным положением и мог бы достигнуть богатства. В качестве депутата он получал 8 р. в день, но, как и другие народные представители крайней левой, тратил большую часть своего депутатского жалования на благотворительность и, несмотря на лживые рассказы политических врагов о его мотовстве и расточительности, жил все это время так же скромно, как и прежде.

Прудон выступал за объединение оппозиции под знаменем социальных реформ, но, по своему обыкновению, вносил так много страстности в полемику с отдельными личностями, что гораздо более вредил делу объединения, чем оказывал ему содействие. В начале октября в Национальном собрании у него произошло столкновение с одним молодым депутатом крайней левой, Феликсом Пиа, — столкновение, дошедшее до рукопашной. Через несколько дней после этого между ними состоялась дуэль, окончившаяся благополучно для обоих.

Этот эпизод не мог улучшить отношений между Прудоном и крайней левой. Когда парижские рабочие пожелали устроить банкет в честь оппозиции, крайняя левая наотрез отказалась участвовать в этом банкете, если на нем будет присутствовать Прудон. Тем не менее банкет состоялся, и Прудон произнес среди всеобщих аплодисментов длинную речь; он давал торжественное обещание всегда оставаться верным заветам революции 24 февраля, провозгласившей освобождение труда и требовавшей не только политического, но и экономического равенства всех граждан; он увещевал рабочих не терять уверенности в близком торжестве их дела, несмотря на все происки реакции и неспособность якобинцев понять значение революции.

Между тем гроза надвигалась совсем не с той стороны, откуда ее ждали защитники февральской революции. В числе народных представителей в Национальном собрании

заседал Луи Наполеон, племянник великого императора, в котором французский народ видел олицетворение воинской славы и несчастья родины. Луи Наполеон много раз публично заявлял о своей преданности республике и старался сблизиться с вождями республиканской партии. Он пожелал повидаться с Прудоном и при свидании завязал с ним оживленный разговор по текущим политическим вопросам, о запрещении нескольких республиканских газет и тому подобном. Будущий император французов говорил, как убежденный республиканец, и оба собеседника расстались вполне довольные друг другом.

4 ноября Национальное собрание приняло выработанный особой комиссией проект новой конституции. Во главе правления должен стоять президент республики, избираемый голосованием всего народа и облеченный верховной исполнительной властью. Прудон на парламентской трибуне и в печати энергично боролся против президентской власти и доказывал всю опасность этого нового учреждения для народной свободы. Он предвидел близкое наступление монархии и в день голосования совсем воздержался от восторга, объявив публично, что, по его мнению, французский народ не нуждается ни в каких конституциях, весь смысл и значение которых заключается в ограничении воли народа. Франция существовала без конституции со времени февральской революции и может так же существовать и в будущем. Нечего и говорить, что народные представители не были убеждены доводами Прудона.

Из всех кандидатов в президенты республики генерал Кавеньяк, усмиривший июньское восстание и пользовавшийся большой популярностью среди умеренных партий, имел, по общему мнению, более всего шансов быть избранным. Крайняя левая выставила своим кандидатом Ледрю-Роллена, более умеренные республиканцы — Ламартина. Но все они остались в незначительном меньшинстве, и народ большинством в пять с половиной миллионов голосов избрал президентом республики Наполеона Бонапарта.

Избирательная кампания окончательно поссорила радикалов с Прудоном. Он деятельно агитировал против Ледрю-Роллена и не противился кандидатуре Кавеньяка, открытого врага социализма. По всей вероятности, поведение Прудона в значительной степени обуславливалось его старинной враждой к радикальной партии, а, может быть, также и личным раздражением — вследствие того, что республиканцы не выставили его самого кандидатом в президенты республики; по крайней мере, сторонники Ледрю-Роллена давали такое объяснение его несколько двусмысленному образу действий.

Успех Наполеона зависел, между прочим, и от того, что многие социалисты голосовали за него с исключительной целью оставить в меньшинстве генерала Кавеньяка. Тем не менее первым правительственным актом нового президента республики было составление умеренного и буржуазного министерства с Одиллоном Барро во главе. В правление Луи Филиппа Барро принадлежал к либеральной оппозиции, и, когда наступила революция, король прибегнул к его помощи для примирения монархии с восставшим народом; как известно, в то время эта примирительная миссия не имела успеха и не помешала падению монархии. Теперь Барро опять получил преобладающее значение и сделался советником главы государства. Это было открытым вызовом, перчаткой, брошенной Наполеоном социализму и революции. Прудон поднял перчатку и начал в своей газете ожесточенную полемику с президентом, которого он обвинял в заговоре против республики.

После нескольких резких статей в «Le peuple» Прудон был предан суду по обвинению в оскорблении президента и в возбуждении ненависти между общественными классами. Ему приходилось во второй раз выступать на суде по подобному обвинению; как и в первый раз, он защищался искусно и энергично, но правительство Луи Бонапарта отличалось более суровыми нравами, чем министры Луи Филиппа, и обвиняемого приговорили к трехлетнему тюремному заключению и денежному штрафу в 3000 р.

ГЛАВА V. Народный банк Прудона. — Другие аналогичные попытки реформы денежного обращения во Франции и Англии

Несмотря на отчаянную политическую борьбу, которую Прудон вел в Национальном собрании и в печати, он не забывал своего излюбленного проекта устройства Народного банка, убедившись в том, что ему нечего рассчитывать на помощь и содействие правительства, он попытался осуществить свою мысль своими собственными силами и открыл в «Le peuple» подписку для этой цели. Вследствие обширной популярности Прудона среди рабочих, акции нового учреждения расходились довольно хорошо и многие рабочие и промышленные ассоциации формальным образом выражали готовность принимать в нем участие. Акции были пущены по 1 р. 50 к. для того, чтобы сделать их доступными по цене для самых бедных рабочих. Число акционеров достигало 12 тысяч. Не только в Париже, но и в провинции идея Народного банка находила много сторонников. В Лионе, Безансоне, Бельфоре и Дижоне были организованы для этой цели специальные комитеты. Подобные же комитеты должны были в скором времени быть образованы в Нанси, Марселе и Бордо.

Вообще, общественное мнение относилось к Народному банку очень сочувственно. Парижская пресса разделилась по отношению к Народному банку на две партии: в то время, как одни ожесточенно нападали на это учреждение, другие горячо его защищали; но обе стороны признавали устройство такого банка крупным событием общественной жизни Франции. Глава фурьеристов, Виктор Консидеран, был на стороне Прудона и объявил, что он будет принимать билеты Народного банка в уплату при подписке на его газету «Démocratie Pacifique». Для Прудона эти несколько месяцев, прошедшие от основания Народного банка до его окончательного крушения, были, по его собственному признанию, счастливейшим временем его жизни. Его слава и политическое значение достигли своего апогея. Он

надеялся осуществить на опыте свои мечты о социальной реформе и доставить торжество своим излюбленным принципам.

Приглашая читателей своей газеты к подписке для учреждения Народного банка, он делает следующее заявление: «Я начинаю такое предприятие, равного которому не было и не будет в мире. Я хочу изменить основание общества, перевернуть ось цивилизации, сделать так, чтобы мир, который по воле Божества движется с запада на восток, начал двигаться по воле человека с востока на запад. Я хочу преобразовать отношения капитала к труду».

Подобные заявления могут показаться неискренними и рассчитанными на эффект, но в действительности Прудон вовсе не лгал и не хвастался, выражая надежду перевернуть сразу весь мир: всему этому он искренне верил и до конца жизни был наивно убежден, что только правительство Луи Наполеона помешало ему перейти от слов к делу и облагодетельствовать человечество.

Организация кредита и устройство Народного банка — в этом заключалось, по мысли Прудона, решение социального вопроса. Мы описали выше критический период деятельности Прудона; в 1848—1849 годах он выступил в качестве социального реформатора, и нам следует теперь разобрать план его социальной реформы.

Как мы уже упоминали, проект устройства Народного банка был развиваем Прудоном в отдельных брошюрах и на страницах его газеты. Его газетные статьи были изданы Даримоном отдельной книгой, под заглавием: «Итоги социального вопроса. Меновой банк». Эта книга содержит в себе подробное описание проектируемого кредитного учреждения.

Чтобы выяснить значение коренной реформы товарного обращения, Прудон поднимает старый вопрос, что такое в настоящее время собственность. В прежнее время собственность давала человеку возможность независимо от всего остального мира пользоваться плодами принадлежащего ему имущества и делала его действительным господином вещи. Так было во времена Римской империи и в средние века, когда в Европе господствовал феодализм и преобладающим был натуральный характер народного хозяйства. Каждый собственник был маленьким центром в своей области и не нуждался ни в продаже своих продуктов, ни в покупке продуктов чужого труда. Но после великих промышленных переворотов последнего времени народное хозяйство культурных европейских наций приняло меновой характер. Собственник сам по себе, без помощи своих сограждан, не может в настоящее время просуществовать несколько недель. Он должен покупать и продавать, если не желает погибнуть с голоду. Современное право собственности есть чисто номинальная привилегия, значение которой зависит от общего состояния народного хозяйства, от характера циркуляции товаров. В настоящее время собственник есть человек, обладающий процентными бумагами, акциями, деньгами, положенными в банк, товарами, которые лежат в его магазинах, домами и зданиями, которые он отдает внаем и в аренду. Если циркуляция товаров и денег совершается беспрепятственно, право собственности доставляет доходы; если же народное хозяйство расстраивается и денежное и товарное обращение на время приостанавливаются, тогда привилегия собственности теряет свое значение, и собственник становится не богаче пролетария. Итак, собственность, которую считают основанием всех современных учреждений, есть только привилегия в процессе обращения хозяйственных

предметов, подобно пошлине, взимаемой за провоз по каналу.

Реформируя механизм товарного обращения, мы вместе с тем реформируем и право собственности со всеми его вредными последствиями для народного блага. Но какая сила реформирует в настоящее время обращение товаров и деспотически управляет их движением? Эта сила — деньги. Реформа современного экономического строя должна заключаться в уничтожении денег. С этой целью должен быть устроен меновой банк, имеющий следующую организацию. Производители всякого рода должны образовать промышленное общество, цель которого заключается в том, чтобы дать возможность его членам обменивать друг с другом производимые ими продукты без посредства денег. Вместо денег орудием обращения должны служить банковые билеты, которые обеспечиваются всем достоянием банка, а главным образом, тем, что все члены банка обязуются принимать эти билеты вместо денег. Банк не берет на себя обязательства разменивать билеты на звонкую монету. Банковые билеты не могут быть выпущены в излишнем количестве, потому что они выпускаются только под залог надежных торговых векселей. При дисконтировании векселей, как и при всех прочих подобных операциях, банк не взимает никакого процента с должников, кроме небольшой платы (для начала 1 %) за комиссию и для покрытия расходов банка. Если такой банк будет организован и в нем примет участие весь французский народ, то, по вычислениям Прудона, низшие классы населения сэкономят несколько миллиардов франков вследствие уничтожения денег и процента на капитал. Сверх того, производители найдут верный сбыт для своих продуктов, и промышленные кризисы прекратятся.

Прудон попытался осуществить этот проект с небольшими изменениями, заменив также название «меновой банк» на «народный»; но политические обстоятельства заставили его закрыть Народный банк раньше, чем новое учреждение приступило к операциям.

31 января 1849 года статуты нового учреждения были предъявлены нотариусу, а 11 февраля Народный банк был объявлен открытым. 12 апреля Прудон обратился ко всем акционерам банка с заявлением, что он не может больше руководить банком и принужден его закрыть. Причины такого внезапного решения заключались, по объяснению Прудона, в следующем: во-первых, он лично не мог принимать близкого участия в деле, потому что был осужден на тюремное заключение; во-вторых, общее политическое положение Франции настолько ухудшилось с того времени, как Луи Наполеон Бонапарт стал президентом республики, что теперь нечего и думать о социальных реформах — нужно бороться с реакцией и отложить до лучшего времени преобразование кредитного механизма в современном хозяйственном строе.

Ликвидация Народного банка сопровождалась многими неприятностями для Прудона. Враждебные газеты обвиняли его в том, что он надул своих доверчивых акционеров и сознательно привел дело к банкротству. Нечего и говорить, что эти обвинения были совершенно неосновательны и объясняются политической враждой. Со своими помощниками по устройству Народного банка Прудон тоже поссорился и обвинял их в предумышленной враждебности тому делу, которому они служили. Тогда его бывшие сотоварищи поместили в «*Démocratie Pacifique*» открытое письмо, в котором оправдывали свой собственный образ действий и выставляли в довольно некрасивом свете поведение

Прудона. Так закончилась его попытка реформировать капиталистическое общество, не ограничивая свободы производства и не нарушая права собственности.

В теоретическом отношении проект Народного банка Прудона очень интересен, так как касался самых основных вопросов организации народного хозяйства и денежного обращения. В этом отношении задача, которую должен был решить Народный банк, может быть сформулирована следующим образом: гарантировать производителям постоянный и верный сбыт товаров при предположении полной свободы производства. Достаточно ясно поставить вопрос, чтобы увидеть, что эта задача совершенно неосуществима. Каким образом найти сбыт таким товарам, которые почему-либо не нравятся покупателям или произведены в излишнем количестве против спроса? Чем может помочь во всех этих случаях какая бы то ни была реформа в области товарного обращения? Если требуется только миллион сапог, а их произведено два миллиона, то, если бы даже количество денег у населения удвоилось или утроилось, все равно никто не стал бы покупать ненужную ему пару сапог, которых он надеть не может. Не нужно забывать, что недостаточно продать товар покупателю; — нужно продать его по той цене, которая покрыла бы издержки производства. Если производители не могут приспособиться к новым условиям производства, например, если кустари или ремесленники принуждены конкурировать с фабриками, которые благодаря машинам и разного рода техническим усовершенствованиям могут производить такого же или лучшего качества товары по пониженной цене, то разве облегчение условий сбыта может помочь таким производителям, страдающим от непосильной конкуренции? Кризисы и все прочие вредные для народного хозяйства явления капиталистического строя вытекают не из недостатка орудий обращения, а составляют естественные и необходимые последствия промышленной свободы, при которой каждый производитель полагается на свой собственный расчет, не принимая в соображение других производителей. Для того, чтобы все товары находили себе сбыт, нужно одно из двух: или чтобы товары делались на заказ, то есть чтобы мы вернулись к ремесленному производству, к мелкой промышленности, — одним словом, к тому общественному строю, который господствовал в средние века; или же необходима организация производства, то есть стеснение свободы производителей, подчинение их всех какому-либо регулирующему общественному механизму. Прудон одинаково несочувственно относится и к тому и к другому выходу из этой дилеммы; но его попытка реформировать производство посредством реформы денежного обращения доказывает только, что он не понимал истинного значения денег в современном строе и в огромной степени преувеличивал роль этого фактора.

Первоначальный проект менового банка Прудона в одном отношении отличался от Народного банка в его окончательной форме. Меновой банк должен был выдавать своим акционерам банковые билеты только тогда, когда операция продажи товаров уже совершилась; банк дисконтировал векселя, то есть такие документы, которые неопровержимо доказывали, что на товар существует спрос. Это предохраняло банк от выдачи ссуд под товары, не находящие себе по каким-либо причинам сбыта. Но если банк ограничит свою деятельность дисконтированием векселей, то какую пользу он может принести тем производителям, которые не могут найти покупателя для своих продуктов? Благонадежные векселя охотно принимаются всяким банкиром, и меновой банк не оказал бы большой услуги народному хозяйству, если бы он в своих операциях придерживался тех

же принципов, какими руководствуются современные кредитные учреждения. Прудон это заметил и несколько изменил статуты Народного банка. Банк должен был выдавать ссуды также под залог непроданных товаров. Задача банка была расширена, но вместе с тем она сделалась невыполнимой. Если бы Народный банк открыл свои операции, то мы, без сомнения, наблюдали бы такие же явления, которые привели к крушению другие меновые банки, организованные на сходных началах: в банке скопились бы в изобилии никому не нужные товары и он не мог бы с ними разделаться, в то время как ходовые товары свободно находили бы себе сбыт. Пришлось бы рано или поздно ликвидировать дело, потому что акционеры банка никогда не согласились бы добровольно изображать из себя козла отпущения и покупать то, на что нет спроса.

Билеты Народного банка ни в каком случае не могли бы вытеснить из обращения металлических денег, потому что они сами по себе были лишены всякой внутренней ценности, и не существовало никакой гарантии того, что количество их не будет превышать потребности рынка в орудиях обращения. Облегчение условий кредита должно было в громадной степени увеличить спрос на кредит, который мог быть оказан только посредством выпуска банковских билетов. Число банковских билетов должно было расти до тех пор, пока переполнение рынка новыми бумажными деньгами не вызвало бы понижение их курса и общего промышленного крушения. Таковы были бы последствия устройства Народного банка в том случае, если бы публика относилась с доверием к новому учреждению и оно получило бы широкое развитие.

Можно думать, что идеи даровитого авантюриста и прожектера Джона Лоу оказали значительное влияние на выработку воззрений Прудона. У Лоу он заимствовал свои ошибочные представления о всемогущем действии кредита. Хотя Прудон и не одобряет практической деятельности Лоу, — выпуска в громадном количестве государственных бумажных денег, не обеспеченных в достаточной степени металлическим фондом; образования дутых акционерных компаний, биржевой спекуляции и прочего, — тем не менее к его теоретическим воззрениям он относится с большим уважением. Он говорит в «Экономических противоречиях», что до сих пор еще никто не понял идеи Лоу, не исключая и их творца, и что следует попытаться осуществить их на деле.

Но какое бы значение мы не придавали Народному банку Прудона, в любом случае проектируемая им кредитная реформа не могла бы существенным образом повлиять на отношения предпринимателя к рабочему, то есть на тот самый пункт, в котором заключается вся сущность рабочего вопроса. Уничтожение ссудного процента было бы очень выгодно для предпринимателей, которые бы увеличили свою прибыль за счет доходов рантье, но мы не видим, почему от этого должно было улучшиться положение рабочих. Отдельные рабочие не могли бы получить ссуды из Народного банка, ибо задачей последнего была реформа производительного кредита и он не мог заниматься мелкими и ничем не обеспеченными ссудами для потребительных целей. Рабочие ассоциации могли рассчитывать на кредит в Народном банке, но в настоящее время нельзя ожидать большого успеха от производительных ассоциаций, так как им приходится существовать при самых неблагоприятных условиях, конкурировать с капиталистическими предприятиями и подвергаться разрушающему влиянию чуждого им по своим принципам общественного строя. Поэтому успех Народного банка вовсе не был бы равносителен коренной реформе всей

существующей экономической организации. Все осталось бы по-старому, пострадали бы только праздные рантье. Попытка Прудона перевернуть ось цивилизации была не менее утопична, чем фаланстеры Фурье, где страсти содействуют общему преуспеваю, или идеальное государство Огюста Конта, в котором верховная власть разделена между учеными и банкирами.

Народный банк Прудона был далеко не единственной попыткой сокрушить власть золота и организовать безденежный обмен товаров. В 30-х годах Роберт Оуэн устроил в Лондоне банк, ссужавший производителей под залог товаров не деньгами, но особыми рабочими марками, которые должны были выражать количество труда, потраченного на производство данного товара. Особые оценщики определяли, скольким рабочим часам соответствует данный товар. Сначала банк имел успех, рабочие марки охотно принимались вместо денег, и даже некоторые лондонские театры открыли для них свои кассы. Но через два года банк был закрыт, потому что клиенты его не были довольны теми товарами, которые банк предлагал им в продажу. Курс рабочих денег все падал и поэтому банк перестал их выпускать и ликвидировал свои дела.

За несколько лет до февральской революции в Марселе был закрыт меновой банк Мацеля, который существовал в течение 16 лет и был во многих отношениях похож на Народный банк Прудона. Последнего обвиняли в плагиате, в том, что он заимствовал свои идеи банковской реформы у Мацеля, не называя своего предшественника и приписывая себе одному честь нового изобретения. Прудон утверждал, что он не был раньше знаком с банком Мацеля и впервые узнал о нем только тогда, когда статуты его собственного банка уже были обнародованы; сверх того, по его мнению, между обоими учреждениями существует такое глубокое различие, что не может быть речи о плагиате. Действительно, банк Мацеля не стремился довести до минимума высоту дисконтного процента и брал за свои ссуды такие же проценты, как и все прочие кредитные учреждения. Но несмотря на то, что в этом отношении Народный банк Прудона отличался от банка Мацеля, во всех остальных отношениях они имеют много общего; впрочем, из этого, разумеется, нельзя заключать о плагиате.

С банком Мацеля повторилась та же история, что и с банком Роберта Оуэна: сначала дело шло хорошо, но потом возникли затруднения в сбыте приобретенных банком товаров, и предприятие лопнуло. Удивительнее всего то, что этот банк мог просуществовать такой продолжительный срок.

Наконец, в 1849 году Боннар основал в Марселе меновой банк, который тем отличался от банка Оуэна и Мацеля, что выдавал ссуды только под залог таких товаров, спрос на которые не мог быть подвержен сомнению. Боннар значительно сузил задачи менового банка и превратил его в своего рода комиссионную контору, которая не специализировалась на какой-либо отрасли товаров, а перепродавала всевозможные продукты; так, например, ремесленник, который не имел наличных денег для покупки нужных для его ремесла материалов, мог обратиться в банк Боннара и последний выдавал ему эти материалы взамен обязательства со стороны ремесленника доставить банку продукты его собственного производства. Но банк соглашался на эту операцию только тогда, когда был уверен, что на приобретаемые им товары существует хороший спрос.

При этом отношении к делу банк мог бы преуспевать, если бы соблюдал в своих операциях должную осмотрительность и осторожность. Никаких социальных преобразований Боннар не замышлял; его банк преследовал более скромные цели и в начале достигал их очень успешно. Банк был основан с капиталом в 2,5 тыс. р. и оборот его в первый же год достигал 250.000 р. Чистая прибыль (банк взимал обычный процент за свои комиссионные операции) равнялась 4325 р. — 173 % со всей суммы вложенного капитала. В 1852 году чистая прибыль уже достигала 38.000 р. Очевидно, банк мог существовать блестяще, но для этого требовалась величайшая осторожность при приеме товаров. Мало-помалу банком стали приниматься такие товары, на которые не было верного спроса, и банк, после судебного процесса, возбужденного одним недовольным клиентом, закончил свое существование в 1859 году.

Из этого примера мы видим, при каких условиях Народный банк Прудона мог бы рассчитывать на успех. Успех был бы возможен только в том случае, если бы Прудон, вместо коренной реформы всего капиталистического строя, задумал устроить комиссионную контору на широких началах. Такая контора была бы очень полезна и могла бы оказать производителям значительную помощь при сбыте продуктов; но нечего и говорить, что нельзя искать в комиссионных конторах решения социального вопроса.

ГЛАВА VI. Жизнь Прудона в тюрьме. — Его женитьба. — Отношение к жене и детям. — Литературные работы. — Теория анархизма. — Проекты разных хозяйственных предприятий

Не желая сидеть три года в тюрьме и не иметь никакой возможности принимать участие в политической жизни страны, Прудон решился бежать в Бельгию. Но ему было трудно прижиться вдали от Парижа; он привык к своей лихорадочной деятельности, которая доставляла ему громкую известность во всем мире, и его влекло вернуться во Францию и возобновить борьбу с Наполеоном. Он действительно через неделю возвратился под чужим именем в Париж, поселился там у своего приятеля и в течение нескольких месяцев удачно скрывался от полиции. Все это время Прудон усиленно работал — почти в каждом номере газеты «Le peuple» появлялись его статьи. По вечерам он выходил из своего убежища, которое не решался покидать днем из боязни быть узнанным, и гулял в отдаленных частях города. Мало-помалу публицист-гастролер сделался менее осторожным, начал показываться днем в модных местностях и даже прогуливаться по бульварам. Полиция его узнала, и 6

июля 1849 года он был арестован и заключен в тюрьму Сен-Пелажи.

Это было решительным поворотом в жизни Прудона. Его политическая роль закончилась навсегда, и вся его последующая жизнь представляет для историка меньше интереса, чем несколько месяцев его деятельности в качестве народного представителя и публициста в 1848 и 1849 годах. Внешние обстоятельства сложились для него очень неблагоприятно. Первое время тюремного заключения он мог свободно писать в своей газете, но, естественно, он не мог продолжать свою прежнюю борьбу с правительством; впоследствии свобода его была значительно ограничена, и он должен был почти совершенно отказаться от роли политического писателя. Когда срок заключения его кончился и он получил возможность делать все, что ему угодно, общественное положение Франции настолько изменилось, что ему нечего было и думать восстановить свое упавшее влияние. Тревожное и неустойчивое время февральской революции сменилось правлением Луи Наполеона, умевшего сурово подавлять всякую оппозицию и поддерживать в стране наружный порядок и спокойствие. Прудон на собственном опыте испытал, что бонапартовский режим был мало благоприятен для свободной мысли и независимой деятельности.

В тюрьме Прудон женился на простой работнице, с которой он был знаком уже несколько лет и которая заслужила его симпатию и благодарность своей бескорыстной преданностью. С его стороны не было и тени влюбленности; он давно решил жениться на простой и честной девушке, способной с успехом заниматься хозяйством и быть матерью его детей. В более молодые годы, когда можно было ожидать с его стороны более нежного отношения к женщинам, он был способен к любви так же мало, как и в сорок лет. В 1843 году Прудон пишет Аккерману следующее письмо: «Ностье приготовил для меня хорошенькую крестьянку из Нейли на Марне. Он предполагает, что по части женщин все, что нужно для философа — это крестьянка. Конечно, я не имею претензии на этот титул, но посмотрю на выбор, и, если мне суждено жениться, я с философским спокойствием покорюсь моей участи. Но меня беспокоит то, что вы, мой друг, влюблены и боготворите свою жену, как какой-нибудь *jeune-premier*. Подумайте, что вы будете в состоянии ей дать через 10 лет, через 3 месяца, через 6 недель?.. Неужели вы думаете, что честность, прямота, любовь к труду и благородство могут заставить ее позабыть разные мелкие недостатки, которых мы, мужчины, и не замечаем друг в друге?»

Для Прудона женщины были низшим существом, созданным для пользы и удовольствия мужчины. Не будучи от природы страстным и никогда не любив, он глубоко презирал всю поэзию любви и считал любовные увлечения недостойными сильного и умного мужчины. Сент-Бёв рассказывает, что еще в ранней молодости он умел укрощать свои чувственные побуждения при помощи следующего романтического средства: он вылезал ночью на крышу своего дома и смотрел на темное небо, усеянное звездами. Зрелище величавой и бесконечной природы охлаждало его пыл и к нему снова возвращалось самообладание. В зрелом возрасте он не нуждался в созерцании звездного неба для того, чтобы устоять против женского очарования, и вел жизнь почти аскетическую.

Его брак может быть назван до известной степени счастливым, так как он нашел в своей жене то, что искал — хозяйку и мать. Что была за личность его жена — сказать довольно трудно; по-видимому, она была малообразованна и не принимала никакого участия в

интеллектуальной жизни своего мужа. Для последнего она мало значила сама по себе; он умел быть хорошим другом, любящим сыном и нежным отцом, но к своей жене относился чрезвычайно холодно и даже жестоко. Когда она заболела и можно было опасаться ее смерти, Прудон боялся только того, что его дом останется без хозяйки, а дети без матери. Он пишет своему приятелю письмо, полное тревоги за будущее, и ни одним словом не выражает сожаления о жене. Очевидно, жена не была ему близким человеком и потеря ее не столько огорчала, сколько беспокоила его.

Совсем иначе Прудон относился к детям. Он их любил с такой искренностью, которую трудно было заподозрить в этом суровом и раздражительном человеке. По его собственному признанию, дети заполняли пустоту в его существовании. Он любит в письмах рассказывать разные эпизоды из их жизни, описывает их наружность, привычки и, видимо, сам живет их жизнью. У него было четыре дочери, из которых две умерли в раннем возрасте. Старшая, Катерина, названная так в честь его матери, родилась в то время, когда он был в тюрьме. В 1854 году, во время его собственной болезни, умерла его маленькая дочь, которой не было еще году; чтобы не расстраивать больного отца, от него это скрывали в течение недели. Когда же Прудон узнал, что его дочери нет в живых, то был глубоко потрясен этим известием и писал друзьям, что он буквально задыхается от горя.

В своих взглядах на задачи воспитания и на обязанности отца Прудон оставался вполне последовательным и верным самому себе. Он не заботился об образовании своих дочерей; они должны привыкнуть к труду, помогать матери — для того, чтобы быть истинными работницами, когда вырастут. Другой участи знаменитый публицист не желал для своих детей. В одном письме он так описывает свою старшую дочь Катерину, которая была его гордостью: «Катя исполняет все поручения, ходит в лавку и носит письма на почту. Дома она ухаживает за сестрой, накрывает на стол, собирает и моет посуду, катает белье и натирает пол. У нее много талантов! Правда, она едва умеет читать и писать и совсем незнакома с арифметикой; но это ничего — я из нее не собираюсь делать синего чулка».

Внешние условия жизни в тюрьме не были особенно тяжелы для Прудона. Он привык ко всяким лишениям, и тюремная камера казалась ему более удобным помещением, чем его прежняя квартира. Напротив здания тюрьмы жила его жена с дочерью; они могли во всякое время дня свободно видеться друг с другом из окна. Первое время заключения он пользовался значительной свободой и мог под честное слово на целый день уходить из тюрьмы. Тем не менее невозможность вести прежнюю жизнь и принимать участие в политической борьбе угнетала Прудона и приводила его иногда в мрачное расположение духа; в такие минуты он проклинал свою полемику, которая дала возможность правительству так ловко от него отделаться.

Он продолжал с прежним интересом следить за политическими событиями, которые давали блестящее доказательство справедливости опасений Прудона. Наполеон очевидно замышлял нарушить присягу конституции французов. Но нужно заметить, не к чести Прудона, что в тюрьме он не относился к Наполеону с такой же решительной враждой, с которой он относился к нему на свободе. Тюремное заключение в значительной степени охладило его пыл, его революционная горячка прошла окончательно, и мы лишь видим Прудона таким, каким он был до 1848 года. Он называет себя человеком полемики, а не

баррикад, и выражает уверенность, что может достигнуть своих целей, обедая каждый день с префектом полиции. По своему неисправимому оптимизму он иногда мечтает сделать Наполеона своим орудием и с его помощью организовать Народный банк. Сообщая об этом своим друзьям, Прудон заранее торжествует победу; он собирается послать правительству все статуты нового учреждения с пояснительной запиской от себя лично и надеется достигнуть того, что президент республики сделается главным акционером Народного банка. Нечего и говорить, что его надежды оказались основанными на иллюзиях.

Вскоре его газета «Le peuple» была закрыта, но его друзьям удалось через несколько месяцев основать новый орган «La voix du Peuple» с прежней редакцией и с прежним составом сотрудников. В первом же номере было помещено открытое письмо Прудона, в котором он заявляет, что время борьбы прошло и настало время рассуждений; он призывает республиканские партии к примирению и предостерегает редакцию от политики лести и предвзятой вражды к правительству.

Прудон имел право из своего заключения писать в газетах, и он деятельно пользовался этим правом. Он принимает живое участие в редакционных хлопотах «La voix du Peuple», дает руководящие мысли сотрудникам, указывает на недостатки вчерашнего номера и вообще выносит все дело на своих собственных плечах. Ему часто приходилось отечески журить Даримона и Эдмонда, молодых людей, заведовавших редакцией газеты; так например, 24 февраля 1850 года он пишет им из Сент-Пелажи: «Друзья мои, вы дети или автоматы? Когда я даю вам несколько мыслей, вы выбрасываете их на страницы газеты, как кулек крапивы. Я вам говорю, что власть ведет неверную политику, и вы начинаете одни во всей прессе кричать: „Измена!“ Этим вы накликаете на себя без всякой пользы и без всякой цели нескончаемые процессы. Вы говорите, что следуете моим внушениям; органная труба следовала бы им столь же искусно. Вы должны быть несколько понятливей и загладить свое безрассудство».

Почти в каждом номере «La voix du Peuple» появлялись подписанные и неподписанные статьи Прудона. Несмотря на умеренный тон этих статей, правительство было недовольно ими и несколько раз возбуждало против опасного публициста судебное преследование, но суд не признавал его виновным. В конце концов, при помощи угроз и дисциплинарных наказаний, правительство добилось того, что Прудон почти совсем перестал работать в газетах. Весь этот эпизод довольно любопытен, так как он рельефно характеризует Прудона как общественного деятеля.

В наказание за одну статью в «La voix du Peuple», Прудона лишили права свидания со всеми, кроме жены, и запретили ему выходить из тюрьмы. Через несколько дней после этого он написал префекту полиции униженное просительное письмо, из которого мы приведем некоторые выдержки. Он пишет: «Господин префект, благосклонное внимание, которое Вы мне оказывали столько раз, дает мне смелость обратиться к Вам с этим письмом, которое Вы можете рассматривать как чисто личное... Я Вас умоляю, господин префект, разрешить мне вновь свидания с мыслителями и ради этого я решаюсь, сколько это ни стоит моему самолюбию, дать торжественное обещание не помещать ни в каком периодическом издании ничего, касающегося политики и правительственных действий. Согласно Вашему желанию, я решительно заканчиваю свою роль публициста. Отныне мое единственное желание —

заниматься научными вопросами с самой общей точки зрения, исключая всякие соображения буржуазии или пролетариата. Я надеюсь, что это обещание сделает излишними всякие меры относительно моего поведения... Я критиковал при всеобщих аплодисментах социалистические утопии. Если доверять показаниям биржи, то я больше содействовал восстановлению порядка и спокойствия, чем вся полиция и жандармы».

Те послабления сурового тюремного режима, о которых просил Прудон, были ему оказаны, но он нарушил свои обещания и продолжал помещать в своей газете политические статьи. Его препроводили в цитадель в Дуллене и вновь запретили ему свидания. Он опять упал духом, писал отчаянные письма префекту полиции и министру внутренних дел, описывал им душевные страдания, которые испытывал в одиночестве, и просил о пощаде. Его просьбу уважили, но с угрозой усилить дисциплинарные взыскания, если он будет продолжать нарушать свои обещания. Прудон покорился и не только не решился сам полемизировать с правительством, но и прилагал все старания, чтобы общее направление «*La voix du Peuple*» имело более примирительный характер. Раньше он называл себя социалистом, теперь же советует своим сотрудникам по газете тщательно оттенить то различие, которое существует между социализмом и их собственным направлением. Он советует бросить на время политику, от которой все устали, и прежде всего народ, и обратить особенное внимание на то, чтобы их газета не выдвигалась вперед, не брала на себя ни в чем инициативы, так как «инициатива есть мученичество, а истина — такой кинжал, который убивает прежде всего того, кто его пускает в дело». Сам он во избежание дальнейших столкновений с полицией, решил передавать в ее руки всю свою корреспонденцию с внешним миром.

В обыденной жизни, среди своей семьи, Прудон кажется гораздо симпатичнее, чем на трибуне в Национальном собрании или среди революционной борьбы; трудно поверить, что один и тот же человек может так бодро выносить житейские неудачи и быть таким слабым и боязливым как общественный деятель. Он презирал Наполеона — и тем не менее писал униженные письма его министрам, советовал редакторам своей газеты ладить с правительством. Впоследствии он поддерживал деятельные сношения с принцем Наполеоном, льстил ему и говорил о славе имени Бонапарта в то время, как в частной переписке не находил слов, чтобы выражать свое негодование против узурпатора и его приверженцев. Такая двойственность Прудона вполне объясняет враждебное отношение к нему всех партий. Радикалы его положительно ненавидели и считали подкупленным правительством. Умеренные ему не доверяли и подозревали в нем тайные революционные замыслы. Он мог быть дружен только с людьми, стоявшими в стороне от текущей политической борьбы.

За время своего заключения он лишился всякого политического влияния. Его газета, расходившаяся раньше в 70 тысячах экземпляров, теперь едва могла собрать 15 тысяч читателей и не окупала расходов, хотя на ее страницах от октября 1849 до марта 1850 года Прудон вел чрезвычайно интересную и поучительную полемику с Бастиа, известным экономистом крайнего буржуазного направления, о социальном значении процента на капитал. Прудон сам предложил Бастиа публичный спор на эту тему, обязавшись помещать в своей газете все возражения противника. Спор был веден обоими экономистами довольно искусно, но победа осталась скорее на стороне Бастиа, хотя никто из споривших не признал

себя побежденным. Прудон горячился, уклонялся в сторону, не возражал прямо на доводы противника и наполнял целые страницы излияниями об испорченности человеческого рода, излияниями очень красноречивыми, но не к делу. Бастиа возражал более спокойно и логично, и потому его доводы производили на беспристрастного читателя более сильное впечатление, чем расплывчатая аргументация Прудона.

Заключение не мешало Прудону усиленно работать, и он за эти три года написал, помимо множества газетных статей, две крупные вещи — «Признания революционера» и «Идея революции XIX столетия». Эти сочинения особенно интересны тем, что в них наиболее точно развита теория анархизма как идеального общественного строя, к которому человечество должно стремиться.

Нечего и говорить, что анархия Прудона превосходит по неосуществимости все социалистические мечтания, которые он опровергает столько раз. Трудно сказать, в какой мере он сам верил тому, что говорил; пристрастие к парадоксам, по всей вероятности, осталось не без влияния на выработку его анархических теорий. Если бы он выставлял анархию только как идеал, которого человечество достигнет в неопределенно отдаленном будущем, тогда было бы легче поверить его искренности; но он переносил свое требование анархии на почву практической политики, боролся во имя анархии с Луи Бланом, которого упрекал в пристрастии к государственному вмешательству, отрицал в Национальном собрании необходимость республиканской конституции, проповедовал анархию в своих газетах, — вообще поступал так, как будто упразднение государств есть дело близкого будущего. При этом, чтобы не раздражать правительства, он постоянно настаивал на том, что коренная реформа государственного строя должна быть достигнута мирным путем. Правительство Луи Наполеона с полным основанием не опасалось этой мирной проповеди анархии, полагая, что она не может иметь никакого влияния на общество и народ, и не препятствовало Прудону свободно развивать в газетных статьях и отдельных брошюрах свои неосуществимые идеалы.

Несмотря на громадное политическое влияние, которым Прудон пользовался в 1848 году, его материальное положение не только не улучшилось, но скорее ухудшилось после всех испытанных им превратностей судьбы. Он потерял на издании газет все свои небольшие сбережения, достигавшие нескольких тысяч рублей, и по выходе из тюрьмы ему предстояла трудная задача приискать себе какое-либо, хотя бы скромное, занятие для содержания себя и своей семьи. Он пишет Эдмонду незадолго до окончания срока тюремного заключения: «Я имею в виду после стольких химер приняться за свою старую службу наборщиком или приказчиком, так как литературой теперь нельзя существовать во Франции. Я задумал пересоздать экономическую науку и философию; сверх того, я занят всемирной историей. Со всем этим я справлюсь, ибо я привык работать в бедности среди всевозможных материальных неудобств. Первые свои труды я написал за типографским станком, набирая сам свои сочинения. „Экономические противоречия“ я написал за прилавком приказчика в Лионе. Последние мои произведения написаны мною в заключении. Свою жизнь я надеюсь окончить так же, как и начал. Я много трудился и в конце концов могу гордиться тем, что был одним из самых свободных людей на свете».

Такие письма имеют в себе что-то чрезвычайно трогательное: человек, который был одним из вождей своего народа, имя которого было известно всей Европе и который мог одно время надеяться стать во главе правления своей страны, думает, без всякой досады на неблагодарное человечество и без раздражения на судьбу, искать места приказчика, как самый обыкновенный мелкий буржуа! Если бы не было документальных доказательств, трудно было бы поверить тому, в какой бедности прожил Прудон свою жизнь. В Брюсселе, где он после своего вторичного осуждения жил несколько лет со всей семьей, состоявшей к тому времени из шести человек, он платил за квартиру 10 рублей в месяц — и находил ее очень удобной. Естественно было бы ожидать, что он тяготился своей бедностью — но нет, Прудон никогда не жалуется на недостаточность своих материальных средств, отлично мирится со своим образом жизни, и только когда жить становится совсем нечем, тогда он приходит в мрачное расположение духа и начинает мечтать о разных грандиозных предприятиях, которые должны доставить торжество его принципам и обогатить его самого.

В 1852 году Прудон носился с мыслью предпринять совместно с другими литераторами и учеными Франции издание «Всеобщей биографии», содержащей в 50-60 томах жизнеописания всех героев человечества. Это издание, по его мысли, должно было иметь такое же значение для нашего времени, какое имел «Энциклопедический словарь» Дидро для XVIII столетия. Дело расстроилось за недостатком денег. Точно так же окончились неудачей хлопоты Прудона об основании своего периодического органа, газеты или журнала. Правительство Луи Наполеона продолжало косо смотреть на публициста, только что вышедшего из тюрьмы.

Хотя по закону во Франции цензуры не существовало и всякий француз имел право печатать все, что ему угодно, тем не менее фактически было невозможно напечатать что-либо негодное правительству, так как издатели боялись судебного преследования и отказывались печатать сочинения, содержащие в себе критику правительственных действий. В этом Прудону пришлось убедиться немедленно после его освобождения. Он написал брошюру «Государственный переворот, как проявление революции», в которой доказывал, что диктатура Луи Наполеона Бонапарта, возникшая вследствие переворота 2 декабря, должна поставить своей задачей и целью осуществление идей февральской революции; только в этом случае Прудон признавал возможным оправдывать во имя народного блага совершившийся государственный переворот. В общем, эта брошюра была скорее благосклонна, чем враждебна Наполеону, и дала повод радикалам обвинять Прудона в бонапартизме. Но никто из издателей не решался ее издавать без предварительного разрешения власти. Тогда автор обратился со смелым, но почтительным письмом к самому президенту республики. Он признается, что был раньше решительным врагом президента, которого он подозревал в намерении уничтожить республику; в настоящее время он изменил свое мнение и видит в Наполеоне Бонапарте представителя революции, ибо обстоятельства сложились так, что Наполеон под опасением своего падения должен следовать революционным заветам 24 февраля; вследствие этого он просит разрешить печатание его брошюры, которая подробно развивает высказанные в письме мысли.

Просьба Прудона была уважена, и его книга появилась в печати вместе с письмом автора к президенту республики. Республиканская партия была очень недовольна новым сочинением

Прудона, которое вышло в свет вскоре после того, как Наполеон грубо и насильственно захватил власть в свои руки и заключил в тюрьму или послал в ссылку всех энергичных защитников нарушенного им права.

Но несмотря на авансы, делавшиеся Прудону Наполеону, правительство преследовало его сочинения и не разрешило ввоз во Францию другой его брошюры, «Философия прогресса», которая была напечатана в Брюсселе потому, что в Париже не находилось для нее издателя. Содержание этой книги имеет чисто теоретический характер и единственно, что могло в нем не понравиться власти, это несколько резких выражений о религии и церкви.

Прудону было бы совсем нечем жить, если бы он не получал некоторого дохода от своих анонимных сочинений; одно из них, «Руководство биржевого спекулянта», имело большой успех и разошлось в десятках тысяч экземпляров.

Первые годы после выхода из тюрьмы он со всей своей семьей вел уединенную замкнутую жизнь в Париже, составлявшую решительный контраст с бурной деятельностью в 1848 году. Его никто не посещал, кроме близких друзей, так как он лишился прежней популярности и получил в наследство от прошлого только вражду и ненависть своих многочисленных политических противников. Летом Прудон ездил в свою родную деревню, Бюржилль на Марне. Он жил в том же доме, где умерла его мать, и из его комнаты был вид на одну из самых красивых долин во Франш-Конте. По целым дням он с наслаждением слонялся по окрестностям, заговаривал с крестьянами, собирал орехи, ловил раков — вообще проводил время почти так же, как и 30 лет назад, когда десятилетним мальчиком пас коров своего отца.

Все это время он усердно искал места приказчика или поверенного по делам торговой фирмы; но его все избегали, боясь скомпрометировать себя связями с врагом государства и собственности. Прудон продолжал замышлять всевозможные хозяйственные предприятия, по большей части совершенно неосуществимые и доказывавшие его малую практическую опытность. Только раз судьба ему улыбнулась и он получил возможность если не разбогатеть, то несколько упрочить свое материальное положение. Он задумал устроить компанию для проведения железнодорожной линии от Парижа до Безансона. Каким-то образом его план оказался практичным и ему удалось набрать компанию капиталистов. Нужно было получить концессию от правительства. Того же добивалась вторая группа капиталистов, во главе которой стоял известный финансовый делец второй империи — Исаак Перейра. Прудон, по своему обыкновению, соединял с замышляемым предприятием самые фантастические представления. Он видел в компании Перейра олицетворение принципов сенсимонизма, — вероятно, потому, что его соперник, предприимчивый финансист, увлекался в молодости учением Сен-Симона. Борьба двух соперничающих компаний казалась Прудону борьбой идей.

Как и следовало ожидать, правительство дало концессию Перейре. Трудно сказать, по каким мотивам, но победители предложили Прудону и некоторым другим лицам, принимавшим участие в деле, 12.000 р. в вознаграждение за их не увенчавшиеся успехом хлопоты. Прудон категорически отверг предложение, сделанное ему в самой деликатной форме, и заявил, что он был заинтересован исключительно идейной стороной дела, а деньги

и идеи — вещи несовместимые. Это было единственным денежным искушением в жизни Прудона, и он отнесся к нему, как честный и убежденный человек. Его не прельстила перспектива заполучить сразу «куш», несмотря на то, что именно в это время его материальное положение было настолько незавидно, что он думал эмигрировать из Франции и начать новую жизнь за границей.

Политические события не могли внушить ему особой привязанности к его родной стране. Наполеон, сделавшись императором французов, стал во главе европейской реакции и возобновил времена солдатского деспотизма первой империи. Все лучшие и мыслящие люди Франции были возмущены управлением нового цезаря, но народ был утомлен политикой и желал одного спокойствия. Для Прудона, как и для многих других республиканцев, настало время глубокого разочарования в народе. В одном письме он говорит о своем политическом завещании: «Оно будет состоять из отдельных глав, и каждая глава, как у Исаяи, будет начинаться проклятием. Проклятие католицизму! Проклятие солдату! Проклятие чиновнику! Проклятие буржуа! Проклятие плебею! Проклятие всем! Все хотели этого, все виновны, республиканцы, социалисты, крестьяне, рабочие, буржуа, люди штыков и люди пера. Трусливая, тщеславная, чувственная нация, без нравственности, без веры, достойная быть растоптанной казацкими лошадьми!»

Когда началась Крымская война, Прудон с самым горячим интересом следил за известиями с театра военных действий. Он желал победы русским и нисколько не был увлечен патриотическим энтузиазмом, который в то время охватил французское общество. Победа Наполеона, по его мнению, могла бы только усилить империю и распространить на всю Европу тот деспотизм и солдатчину, от которых страдало его отечество. Если бы пришлось выбирать между Францией и человечеством, если бы нужно было пожертвовать родиной для осуществления идеалов свободы и равенства, он ни одной минуты не колебался бы в выборе. В этом отношении Прудон мало походил на своих соотечественников, в большей или меньшей степени затронутых шовинизмом.

В 1854 году он опасно заболел холерой, от которой у него умерла младшая дочь. В течение нескольких месяцев он не мог поправиться, и с тех пор его здоровье было расстроено навсегда. Интересно заметить, что даже в выборе способа лечения Прудон проявил оригинальность; он лечился у гомеопата, доктора Кретена, с которым впоследствии сошелся очень близко.

Блестящий успех Парижской всемирной выставки в 1855 году подал ему мысль устроить на месте выставки постоянный базар для сбыта разных изделий. Кое-кто из капиталистов отнесся сочувственно к этому плану, и вот мы видим 46-летнего Прудона, увлеченного, как юноша, своим новым проектом. Он мечтает осуществить нечто вроде Народного банка, только в гораздо больших размерах. Парижский базар должен сделаться центральным пунктом при обмене товаров, обороты его в скором времени должны достигнуть нескольких миллиардов франков в год, и вся экономическая организация страны должна мало-помалу принять другой вид. Но этот мыльный пузырь недолго тешил своими радужными красками уже немолодого мечтателя, и дело разладилось по недостатку средств.

ГЛАВА VII. Вторичное осуждение Прудона и бегство его в Бельгию. — Последние литературные произведения. — Возвращение в Париж. — Смерть Прудона

В 1858 году произошло новое столкновение Прудона с полицией. Он написал свое самое значительное по объему произведение «О справедливости в революции и церкви» и, опасаясь преследований со стороны правительства, послал с длинным объяснительным письмом экземпляр новой книги принцу Жерому Наполеону, с которым он поддерживал постоянную связь. Автор писал принцу, что его книга не имеет характера, враждебного империи и содержит в себе развитие тех же мыслей, которые он раньше высказывал много раз с разрешения самого императора.

Прудону стоило большого труда найти издателя для своего нового сочинения. Когда же оно вышло в свет, то в несколько дней было распродано 6000 экземпляров, и автор мог бы рассчитывать на блестящий успех, если бы императорское правительство не конфисковало через неделю всего издания и не привлекло самого автора к суду. Его приговорили к трем годам тюремного заключения и 1000 р. штрафа за оскорбление католической религии и общественной нравственности.

Такой суровый приговор отнюдь не был вызван недовольством правительства против политических теорий, которые Прудон развивал в своем новом сочинении; если оно и было направлено против кого-либо, то никак не против империи, а против католической церкви, к

которой Прудон в свои последние годы относился настолько же враждебно, насколько он уважал ее в ранней молодости. Он приписывал осуждение своей книги влиянию клерикалов, чрезвычайно раздраженных его нападениями на католицизм. В этой книге Прудон описывает, среди прочего, разные эпизоды из своей жизни и опровергает биографические подробности, изложенные в одной незадолго перед тем вышедшей его биографии, написанной в клерикальном духе и имеющей характер довольно бесцеремонного пасквиля. Он останавливается довольно подробно над вопросом семейных отношений и брака и категорически высказывается против равноправности женщин — на том основании, что, по его совершенно произвольному предположению, умственные и физические силы женщины не превышают двух третей силы мужчины. Автор требует нерасторжимости супружеского союза; современная французская литература с ее проповедью свободной любви кажется ему признаком испорченности и нравственного падения нации. Брак должен налагать узы и направлять ко благу человечества стихийную силу любви, которая стремится сделать из женщины куртизанку; поэтому в своих собственных интересах женщина должна стоять за святость семейного очага.

Эта суровая защита супружеского долга в то время, когда романы Жорж Санд увлекали всю читающую публику, вызвала против Прудона взрыв негодования со стороны многих представительниц прекрасного пола. Его атаковали письменно и печатно, и он задумал посвятить отдельное сочинение защите своих взглядов на женщину и на брак, но разные занятия помешали ему выполнить это намерение, и обещанное сочинение было издано только после его смерти и то в далеко не законченном виде, под характерным заглавием «Порнократия».

Мы несколько раз говорили об отношении Прудона к женщинам, но его посмертное произведение превосходит по резкости и грубости взглядов все, что он писал раньше по этому поводу. Автор не признает, чтобы женщина могла достигнуть чего-нибудь значительного в области науки или искусства; среди представительниц прекрасного пола для него особенно ненавистны так называемые *esprits forts* и он во многих отношениях предпочитает им куртизанок. По его мнению, не нужно жениться на эмансипированных женщинах, но уже если такое несчастье случилось, то следует силой или убеждением сломить их волю и заставить признать власть мужа. Муж имеет право убить свою жену в случае нарушения с ее стороны супружеской верности, в случае пьянства или упорного, непобедимого непослушания.

Такие дикие суждения о женском вопросе человека, чрезвычайно умного и даровитого, горячо ненавидевшего реакцию и создавшего себе культ из идеи равенства, могут показаться чем-то ненормальным, находящимся в прямом противоречии со всей его натурой. Но в действительности его отношения к женщине естественным образом вытекали из условий его развития и объяснялись, прежде всего, его крестьянским происхождением. До конца жизни он не избавился от свойственного некультурным людям грубого и презрительного отношения к слабому полу, и в его характере было много той жестокости, которая составляет отличительную черту его деревенских земляков.

Не желая вторично поселиться на несколько лет в Консьержери, Прудон бежал из Франции в Брюссель. Первое время он не решался выписывать туда свою семью, не зная наверное,

долго ли продлится его пребывание в бельгийской столице, которая сделалась к этому времени сборным пунктом французских эмигрантов. Он встретил среди них много прежних знакомых, но так как республиканская партия всегда относилась к нему очень недоброжелательно, то его попытка сблизиться со своими товарищами по изгнанию не увенчалась успехом. Его обвиняли в бонапартизме, несмотря на то, что императорское правительство преследовало все его сочинения, как опасную заразу.

Брюссельское общество отнеслось ко вновь прибывшему изгнаннику более сочувственно; он быстро ознакомился с местным литературным кружком и нашел себе кое-какую работу, которая дала ему возможность выписать из Парижа жену и детей. Прудон очень скучал без своей семьи; в особенности чувствительна была для него разлука с младшей дочерью, с которой он любил проводить время, отдыхая от скучной обязательной работы ради насущного хлеба.

В таком скромном хозяйстве переезд из одного города в другой был целым переворотом; нужно было продавать мебель, устроить как-нибудь подешевле переезд, подумать о квартире на новом месте, — и мы видим Прудона совершенно поглощенного хозяйственными заботами. Его жена, отвечавшая его идеалам хорошей хозяйки, никак не могла помириться по переезде в Брюссель с неудобствами новой жизни; особенно ее сокрушала купленная в Брюсселе мебель, которая оказалась дороже и хуже старой. Когда читаешь описания того, как эта женщина убивалась при воспоминании о комодке и двуспальной кровати, оставшихся в Париже, то становится понятным презрительное отношение ее мужа к женщинам вообще. Может быть, ненависть последнего к образованным женщинам в значительной степени зависела оттого, что он был с ними мало знаком.

В 1858 году в Брюсселе состоялся научный конгресс по вопросу о литературной и артистической собственности. Прудон поместил в одной бельгийской газете две статьи по этому вопросу, доказывая, что не существует ничего общего между продуктами художественного и научного творчества и произведениями промышленной деятельности человека. Только последние могут принадлежать частным лицам на правах полной собственности, а произведения человеческой мысли составляют достояние всего человечества. Конгресс вотировал резолюцию в смысле положений Прудона и доставил последнему случай торжествовать победу. По своей склонности преувеличивать все в громадных размерах, Прудон считает резолюцию конгресса первой победой социальной революции, за которой вскоре должны последовать другие.

В следующем году он выпустил вторым изданием осужденную французским правительством книгу «О справедливости». В виде дополнения к ней он поместил краткие сведения о развитии революционной мысли во Франции и Европе за последние годы и с большим огорчением констатировал, что его соотечественники, которые раньше были самой передовой нацией в мире, теперь составляют нацию самую отсталую; он предсказывает для Франции полное нравственное и умственное падение в близком будущем.

Когда Наполеон начал войну с Австрией и при всеобщем сочувствии радикалов провозгласил свободу национальностей основным принципом международной политики,

Прудон резко разошелся с общественным мнением и не одобрял новой войны, которая в самом лучшем случае могла только усилить императорское правительство. Он задумал развить свои мысли в особом сочинении, которое ему удалось закончить только через два года.

По окончании войны Наполеон объявил амнистию политическим преступникам. Многие эмигранты не вернулись во Францию, не желая пользоваться милостью узурпатора. В числе таких добровольных изгнанников были Луи Блан, Виктор Гюго и многие другие. Прудон не последовал их примеру и собирался переехать в скором времени со всем семейством в Париж, несмотря на то, что первое время своего изгнания он давал торжественное обещание не возвращаться в свое отечество до тех пор, пока оно будет лишено свободы. Но, по толкованию амнистии императорским правительством, она не относилась к Прудону, который был осужден за преступление против общественной нравственности, а не за политический проступок. Правительство приравнивало сочинения Прудона к безнравственной литературе, спекулирующей на самых грубых инстинктах читателей, и не разрешало ему свободного возвращения на родину.

В 1860 году Лозанская академия объявила премию в 400 р. за лучшее сочинение по теории налогов. В академию было представлено 40 мемуаров; премию получило сочинение Прудона, написанное им специально для этого случая. Нечего и говорить, что Прудон был восхищен этим успехом и радовался ему, как ребенок. Судьба вообще не баловала его своими милостями, и он ценил каждую улыбку Фортуны.

В своем премированном сочинении он доказывает, что уплата податей и повинностей есть обмен услуг между гражданами и правительством. Он требует сокращения государственных расходов и понижения податей; главной основой в государственном бюджете должен быть поземельный налог, достигающий от $1/3$ до $1/6$ земельной ренты. Промышленные предприятия, имеющие публичный характер, например, железные дороги, почта, доки и так далее, также должны отдавать значительную часть своего чистого дохода государству; таким образом косвенные налоги, падающие в основном на рабочие классы, могут быть в значительной степени заменены прямыми налогами. К этому не особенно новому проекту податной реформы Прудон присоединяет сильную и резкую критику податной системы Франции. Его теория налогов мало оригинальна и интересна более тем, что наглядно показывает, каким изменениям подвергались его экономические воззрения за особенно продолжительное время.

В Национальном собрании и несколько лет спустя Прудон был противником всяких постоянных налогов, а в 1860 году он выработал целую систему налогов, необходимых для ревизования государственного бюджета.

Гораздо интереснее другое произведение Прудона, которое он писал с перерывами несколько лет, — его трактат по международному праву «О войне и мире». Это сочинение достойным образом заканчивает его критическую деятельность. Его определение собственности и государства глубоко расходилось с общепринятыми взглядами, и все привыкли считать Прудона парадоксальным писателем *par excellence*. Это мнение еще более укрепилось после выхода в свет его новой книги «О войне и мире».

Собственность, кредит, государство — все это проявления правового порядка вещей. На чем же основывается само право? Прудон в конце своей литературной карьеры дает на этот вопрос ответ не менее парадоксальный, чем его знаменитое определение «собственность есть кража», а именно: Право основывается на силе. Юристы принуждены это признать, но они утверждают, что право сильного господствует лишь у варварских, некультурных народов; по их мнению, цивилизация заключается в торжестве права над силой, в подчинении грубого физического начала духовному элементу. Это неверно — право сильного не менее законно, чем и всякое другое право. Война имеет свое основание и оправдание в том, что она составляет торжественное право силы; только узкие и ограниченные люди могут игнорировать этический элемент победы. Во время войны обнаруживаются самые благородные свойства человеческого характера — самопожертвование, патриотизм, доходящая до презрения смерти преданность идее. Для развития цивилизации, для осуществления справедливости, война была необходима, так как только посредством войн может установиться политическое равновесие между державами.

Многие друзья Прудона были недовольны его новым сочинением и открыто выражали порицание развиваемой им идее, что право основывается на силе. Но в сущности, если посмотреть на дело без излишней сентиментальности, придется согласиться с тем, что Прудон совершенно прав. Какое другое основание, кроме права силы можно привести в защиту тех территориальных захватов, посредством которых государства, победившие в войне, вознаграждают себя за счет побежденных?..

В 1860 году Прудон получил амнистию особым декретом императора, но в течение нескольких лет оставался в Брюсселе — отчасти вследствие хозяйственных затруднений, отчасти вследствие того, что опасался препятствий со стороны французской полиции при печатании его новых сочинений. К этому времени Прудону было уже более 50 лет и он чувствовал большую усталость от скитальческой и необеспеченной жизни, — тем более, что его здоровье совсем расстроилось и сильные головные боли лишали его по временам способности к работе. Как Дантон, он иногда восклицает, что человечество ему надоело. Ему больше всего хочется покоя. Он с радостью переселился бы в Безансон, если бы мог найти себе там какое-либо подходящее занятие.

Но, несмотря на усталость и физические страдания, Прудон продолжал принимать близко к сердцу все политические события. Он упрекал французских шовинистов в том, что они сами создали Франции опасного соперника, допустив усиление Пьемонта. Всеобщие восторги по поводу подвигов Гарибальди в Сицилии и Неаполе не увлекали его. По мнению Прудона, итальянский народный герой был преисполнен благородных чувств, но совершенно лишен здравого смысла, ибо рассудительный человек должен был бы понять, что единство Италии покупается ценой ее свободы. Его взгляды на польский вопрос также значительно расходились с ходячими воззрениями его соотечественников: он утверждает, что в настоящее время и невозможно, и нежелательно восстановление польского королевства, которое олицетворяет собою два отживших принципа — аристократию и католицизм. Он собирался развить свои мысли о польском вопросе в особом сочинении, но его время было занято вплотную другими трудами.

В 1862 году Прудон поместил в одном бельгийском журнале несколько статей об Италии и европейской политике вообще. Статьи эти обратили на себя общее внимание читателей, но бельгийская пресса была в высшей степени возмущена ими и обвиняла автора в том, что он желает присоединения Бельгии к Франции. Прудон не имел обыкновения отказываться от боя и с обычной резкостью начал полемику с враждебными органами печати. Борьба разгоралась и, наконец, приняла характер, опасный для самой личности Прудона. Рабочие и уличные мальчишки стали устраивать перед его домом враждебные манифестации, распевали патриотические песни и кричали оскорбления и угрозы по адресу дерзкого француза. По странному недоразумению, несмотря на то, что Прудон все время боролся с честолюбивой политикой Наполеона и никогда не сочувствовал завоевательным планам императора, брюссельское население упорно подозревало его в тайных замыслах против бельгийской свободы. В данном случае, как и во многих других, резкий стиль и пристрастие к слишком энергичным выражениям сыграли с Прудоном дурную шутку. Ему было совершенно невозможно оставаться в бельгийской столице, где он каждую минуту рисковал подвергнуться насилию со стороны раздраженной толпы, и он поспешно переехал, почти бежал в Париж.

Немедленно по приезде в Париж Прудон принялся за окончание начатого раньше труда, в котором хотел систематически развить свои политические взгляды, возбуждавшие столько недоразумений. С 1863 года он издал в Париже книгу «О принципе федерации и необходимости реорганизации революционной партии».

Это сочинение интересно тем, что в нем Прудон признает неосуществимость своих анархических идеалов, которые десять лет тому назад казались ему осуществимыми в близком будущем. Анархию он заменил федерацией, которая уже не заключает в себе ничего утопического. В сущности, все идеи Прудона казались утопичными только вследствие их формы; если отбросить риторические фигуры, украшения и все преувеличения, явно рассчитанные на эффект, то взгляды Прудона на политические и экономические вопросы будут заключать в себе мало парадоксального и очень часто окажутся далеко не соответствующими его социалистической репутации.

В июне 1863 года во Франции состоялись общие выборы в Законодательный Корпус. Прудон деятельно агитировал в пользу того, чтобы избиратели совсем воздержались от голосования, протестуя таким образом против империи. Избирательная кампания поссорила Прудона с Даримоном, который был депутатом и очень хотел быть вновь выбранным в палату, где он с немногими другими республиканцами составлял оппозицию правительству. Естественно, что он был очень недоволен тактикой Прудона, и их прежние дружеские отношения прекратились.

В начале 1864 года здоровье Прудона очень ухудшилось. В течение нескольких месяцев он не покидал постели, но не мог принимать лежачего положения и засыпал сидя. Ему было чрезвычайно трудно работать, его мысли путались и перо не писало. Между тем, ему нужно было писать, чтобы зарабатывать себе ежедневное пропитание. К счастью, один из близких друзей облегчил несколько его последние дни, ссудив ему 600 р.; эта небольшая сумма избавила Прудона на некоторое время от мучительной заботы о заработке, к которому он чувствовал себя совершенно неспособным до полного выздоровления. Все это не мешало

ему вести такую же деятельную переписку, как и раньше; его письма по-прежнему полны жизни и увлечения, по-прежнему он интересуется всеми политическими событиями и пишет своим друзьям пространные диссертации по политическим вопросам.

В августе он почувствовал себя немного лучше и предпринял для поправления своего здоровья поездку на родину, в горные отроги Юры. Он повидался с некоторыми земляками, с которыми ему долгие годы не приходилось встречаться и провел несколько дней у своего друга детства — доктора Маге. Между прочим он виделся с престарелым библиотекарем академии Вейсом, который более сорока лет тому назад удивлялся детской любознательности Прудона. Они вспоминали про старые годы, когда один из них был мальчиком, а другой взрослым человеком, и расстались со слезами, растроганные и милые воспоминанием о прошлом.

Поездка на родину доставила много удовольствия умирающему Прудону, но не поправила его здоровья. Он пробовал приняться за работу, но последние силы покидали его. Его старшая дочь вела за него переписку, и только за несколько дней до смерти он собрался с силами и сам написал несколько строчек благодарности одному приятелю, Бюзону, который прислал ему корзину прекрасных фруктов. Письмо это было последним. 19 января 1865 года Прудон умер на руках своей жены и старшей дочери.

При жизни он встречал мало сочувствия, но известие о его смерти произвело глубокое впечатление, и парижская пресса наперебой старалась выставить значение той утраты, которую понесло французское общество и литература. Все признавали его личные достоинства, его искренность в исследовании истины и его неутомимую энергию; даже клерикальные органы печати воздавали ему должное как человеку. Император Наполеон, благодаря которому Прудон три года просидел в тюрьме и должен был бежать из Франции, выразил вдове Прудона глубокое сожаление о смерти ее мужа. Свежая могила заставила всех позабыть на время политические соображения, которые при жизни Прудона отталкивали от него стольких людей.

После его смерти остался целый ряд оконченных и неоконченных сочинений. Они были изданы впоследствии его семьей и друзьями. Сочинения эти касались самых разнообразных вопросов политической и общественной жизни. В числе их были история Польши, теория собственности, история Наполеона I, исследование о принципах искусства и несколько критических томов о французской изящной литературе последнего времени. Все они не лишены интереса, хотя бы вследствие имени их автора, но далеко не имеют того значения, как предшествовавшие труды. Они ничего не прибавили к славе имени Прудона, которого потомство не забудет как честного и необыкновенно талантливого публициста и общественного деятеля, не лишенного слабостей, но с избытком искупившего их своей трудовой, исполненной лишений жизнью, направленной ко благу трудящейся массы, из которой вышел он сам.

ИСТОЧНИКИ

1. Karl Diehl. Proudhon, seine Lehre und sein Leben. 1889.
2. Putlitz. Proudhon, sein Leben und seine positiven Ideen. 1881.
3. Sainte-Beuve. Proudhon, sa vie et sa correspondance. 1872.
4. Ю. Жуковский. Прудон и Луи Блан.
5. Н. Михайловский, Прудон и Белинский.

Главным материалом при составлении биографии служили нам переписка Прудона, изданная его женою в 14-ти томах, и его собственные сочинения, в которых содержатся многочисленные автобиографические отступления. По замечанию Сент-Бёва, его переписка останется, быть может, самым капитальным произведением его жизни. Хотя с этим мнением и трудно согласиться, но, тем не менее, письма Прудона дают самую лучшую характеристику как его личности, так и его воззрений, и составляют драгоценный материал для историка той бурной и интересной эпохи, в которую жили и работал Прудон.

Шубин Александр. Прудон и Маркс. Футурологический социализм

2007, источник: Шубин А.В. "Социализм. "Золотой век" теории", издано в серии Библиотека журнала «Неприкосновенный запас». Выдержки из книги

После Великой французской революции социализм уже не мог не стать влиятельным общественным течением. Но от понимания необходимости преодоления капитализма – до конкретного проекта альтернативы ему – большой путь. Не случайно само слово «социализм» принадлежит философу Пьеру Леру, который более убедительно критиковал капитализм, чем объяснял, как от него избавиться. Ненависть к богатым и требование имущественного уравниательства, заметные уже в ходе Великой французской революции – это еще не программа социалистического общества.

Июльская революция 1830 г. на время предоставила социалистам свободу политической агитации, и на подготовленной почве расцвело множество цветов. Первоначально лидировала школа сен-симонистов, во многом продолжавшая линию Кампанеллы. С ней соперничали фурьеристы, продолжавшие линию диггеров и Оуэна. Сен-симонисты даже проникли на предприятия, где «их появление вскоре ознаменовалось стачками или иными какими-либо беспорядками»[106], – сообщалось в донесении лионской полиции. Сен-симонисты убеждали работников в недостаточности заработной платы и необходимости создания «коалиций» для ее повышения. Эта агитация имела косвенное отношение к восстаниям в Лионе в 1831 и 1834 гг. Интересно, что Сен-Симон и Базар не предлагали рабочим бунтовать против системы – движение было радикальным развитием выводов, следовавших из антикапиталистической пропаганды. Сен-симонистская агитация оказала влияние на «общественные воззрения многих из тех работников, которые в конце 30-х и в 40-е годы составили кадры увриеристских (рабочих – А.Ш.) газет..., тайных республиканских организаций, икарийского движения»[107].

Сама школа сен-симонистов во главе с Анфантенном вела вербовку членов в иерархию церковного типа. Из-за излишнего увлечения части сен-симонистов сексуальными проблемами их школа уже в 1831 г. распалась, дав больше плодов на ниве философии и социологии, чем политики.

После того, как сен-симонисты сошли с общественной сцены, фурьеристы благодаря агитации В. Консидерана приобрели значительное влияние на умы, соперничая с более учением государственного социализма Э. Кабе, изложенным в утопии «Путешествие в Икарию». Оно в основных чертах возрождало идеи Бабефа, но без политического радикализма. Получил развитие и христианский социализм (Ф. Бюше, Ф. Ламенне и др.). В подполье действовали бабувисты, и их попытки совершить переворот, навлекли на социалистов гнев правительства, не прекративший, впрочем агитации. Одновременно и рабочий класс показал, что ему все труднее мириться с условиями жизни – в 1831 и 1834 гг. произошли восстания в Лионе. Рабочие несли лозунг «Жить работая, или умереть сражаясь». Рабочее движение Великобритании и Франции соединило социалистический идеал с рабочим вопросом, который не мог решить капитализм. Германская философия предоставила социальным мыслителям логический инструментарий, необходимый для анализа общества. Социальные и теоретические предпосылки были готовы.

Но конкретную программу преобразования общества социализм обрел после выхода работы Л. Блана «Организация труда» и П-Ж. Прудона «Что такое собственность».

Луи Блан (1811-1882) стал первым социалистом, попытавшимся провести социальные реформы в государстве, когда стал министром революционного правительства Франции в 1848 г. Идеи Л. Блана соединяют два потока социалистических идей — государственное регулирование и производственное самоуправление[108]. Блан стал отцом популярной в XX в. идеи и практики многосекторной экономики и регулируемого государством производственного самоуправления, будь то югославский эксперимент, чехословацкий «социализм с человеческим лицом» или производственное самоуправление времен Перестройки в СССР.

В 1839 г. в работе «Организация труда» Блан изложил план социальных реформ. Он уже понимал, что человеческая натура недостаточно совершенна, чтобы большинство людей начали жить по принципам добровольной взаимопомощи. Отвечая критикам социализма, он писал: “Но я не отрицаю, что надлежащее воспитание до сего дня было чистой привилегией, что способности каждого человека не поддаются точному измерению; что извращенная цивилизация, угнетая нас, превращает нас в себе подобных, что она, следовательно, исковеркала законы природы, что она привила нам искусственные потребности, дурные вкусы и тщеславные желания, что если бы мы попытались прежде временно ввести систему истинной пропорциональности, то, учитывая влияние этой цивилизации, в результате оказалось бы, что слишком многие стали бы работать все меньше, а требовать все больше”[109].

Принципом Блана было не принуждение или надежда на быстрое моральное перерождение людей, а превращение рабочих в хозяев собственного труда. Он считал, что в этом случае “личный интерес ничем не ущемляется, поскольку каждый работник участвует в прибылях. Единственное ограничение заключается в том, что доля отдельного работника не может увеличиться без соответствующего увеличения доли всех остальных”[110]. В логике рыночного общества доля в прибыли означает долю во власти, равноправие, участие в принятии решений (хотя бы по поводу того, как делить прибыли или, если их нет, как исправить положение). Личность реализуется вместе с другими, а не за счет других.

Свобода соединяется с солидарностью путем распространения демократии на все уровни жизни, включая производство.

Луи Блан предложил создать социальный механизм, при котором работники становятся собственниками не всего хозяйства, а только своих предприятий – небольших производственных ассоциаций, конкурирующих с частным сектором при поддержке государства. «Государство должно взять на себя инициативу промышленных реформ, способствующих проведению такой организации труда, которая вывела бы рабочих из положения наемников и привела бы к положению членов ассоциации. Кредит частных лиц должен быть заменен государственным кредитом. До освобождения пролетариата государство должно служить банкиром для бедных»[111]. Так Блан надеялся преодолеть главную проблему, которая мешала рабочим создать собственные предприятия — отсутствие у них средств.

За свой кредит государство получало широкие права по преодолению «анархии производства». Государство должно было бы регулировать «ассоциированный» сектор, предоставляя кредиты, определяя заказы в соответствии с потребностями населения, перераспределяя прибыли между предприятиями, чтобы не дать разориться одним, а другим — слишком разбогатеть, подмять под себя остальных: «Если те или другие рабочие образуют ассоциацию в каком-либо месте, с единственной целью улучшить свои частные делишки, и потом, когда разбогатеют, в свою очередь, взять на службу к себе рабочих и сделаться буржуа, то какой же в этом толк?... Главный вопрос состоит в том, чтобы заставить каждую ассоциацию смотреть на себя как на часть целого, и чтобы она, под влиянием эгоистических соображений, не отделяла своих интересов от интересов всех рабочих».

Блан находит блестящий рецепт против эгоистического замыкания богатеющих предприятий на своих интересах: «Следует поставить условием помощи, которую им окажут, обязательство с их стороны открыть для всех двери своей ассоциации, раз она составлена, чтобы она постепенно увеличивалась и увеличивалась»[112].

Чтобы работники не «проели» фонды своих предприятий, Блан устанавливал твердое разделение доходов по четвертям – одна на амортизацию, одна – на страхование, одна – на резерв, одна – на доход рабочих. К сожалению, проблема «проедания фондов» часто предавалась забвению в дальнейшей истории производственного самоуправления.

Право работника вступать в ассоциацию на равных правах исключает его найм в качестве неравноправного пролетария. Государственная «уравниловка» при этом теряет смысл — преуспевающие ассоциации будут расти, включать в себя все новых работников, но не нанимая их. При необходимости слишком разросшиеся ассоциации могут почковаться. Соревнование между ними не исчезнет, но не будет приводить к бедствиям для проигравших. Таким образом, регулирование становится самопроизвольным, и предусмотренная Бланом государственная надстройка в случае успеха эксперимента становится излишней.

Да и сможет ли государство достаточно эффективно регулировать отношения между предприятиями, и будут ли рабочие чувствовать себя хозяевами, если самые важные вопросы за них будут решать чиновники?

Блан первым на практике предпринял социалистические реформы во Франции во время революции 1848 г. Луи Блану не удалось получить достаточную поддержку для того, чтобы разместить массы безработных на современных предприятиях и запустить производство на них. Все что ему позволили – стимулировать кооперативы и организовать работы в примитивных национальных мастерских (позднее метод борьбы с безработицей с помощью таких общественных работ возьмет на вооружение Ф. Рузвельт, но с большим успехом). Через несколько месяцев национальные мастерские были закрыты, что вызвало взрыв недовольства и неудачное июньское восстание в Париже. В 1848 г. социалисты были побеждены, но идея смешанной экономики и самоуправляющихся предприятий, которые принадлежат работникам, продолжала жить.

Эксперименты Оуэна и Блана показали, что социализм не мог развиваться дальше на практической почве, пока не вывел свои начала из существующей индустриальной реальности. Социализм должен был осознать себя как неизбежная следующая стадия развития цивилизации, как прогноз оптимального и реального развития человечества. Из гуманистической идеологии социализм должен был превратиться в футурологическую теорию. А для этого нужно было более тщательно проанализировать современность и найти в ней почву для социалистического будущего, которое должно было быть представлено не только как модель, но и как тенденция. Эту задачу выполнили Пьер Жозеф Прудон (1809-1865) и Карл Маркс (1818-1883).

Владение против собственности Прудон стал знаменит в одночасье, выпустив в 1840 г. работу «Что такое собственность». В ней он безжалостно расправился со всеми оправдательными объяснениями собственности и выносил приговор: «Собственность – это кража». Звучит как боевой клич, из которого может логически вытекать лозунг «Грабь награбленное» (в более интеллигентной интерпретации Маркса – экспроприация экспроприаторов), а может следовать и поиск путей более осторожного исправления цивилизации, в основе которой лежит кража. Прудон пошел по второму пути, разочаровав своих радикальных последователей, включая доктора философии Маркса. Как писал о Прудоне М. Туган-Барановский, «его всемирно известная фраза не только не дает нам ключа к пониманию мировоззрения автора, но способна внушить совершенно превратное впечатление о мировоззрении этого замечательного человека»[113].

Опровергнув различные теории, оправдывающие собственность, Прудон приходит к выводу: «Собственность есть присвоенное собственником и не на чем не основанное право на вещь, отмеченную им его печатью»[114]. Большинство собственников не создавало свою собственность, а либо унаследовала ее, либо присвоила в результате феодальных грабежей и основанных на обмане перераспределений. Человек присваивает то, что не создал, и что ему не отдано добровольно. Это — кража.

Прудон подвергает критике собственность как суверенное право распоряжаться частью хозяйства и господствовать над связанными с ней людьми. Такая собственность – это ничем не оправданная монополия и привилегия.

Прудон, несмотря на относительную умеренность его программы, возбуждал ненависть либеральных кругов, не говоря уж о консервативных, так как вскрывал глубокое противоречие, лежащее в основе либеральной идеологии (как в ее консервативной, так и в более прогрессивной модификациях).

Собственность, являющаяся основой современного порядка, прямо противоречит правовым общедемократическим принципам, которым либералы также формально привержены. Но правящая элита современного общества отказывается распространить демократию и разделение властей на важнейшую сферу общества – экономику. Здесь принцип собственности устанавливает абсолютизм и даже, говоря современным языком, тоталитаризм — стремление элиты к полному контролю над деятельностью подчиненных. Прудон пишет, что собственник имеет «притязание быть одновременно и законодательной, и исполнительной властью... Если каждый собственник является сувереном в сфере своей собственности, непоколебимым властителем в сфере своего имущества, то может ли правительство собственников не представлять собой полнейшего хаоса».[115] Этот хаос наглядно проявляет себя и в политической нестабильности, и в экономических кризисах, и в социальной неэффективности экономики. Прудон считает, что общество должно быть упорядочено правом, противостоящим грабежу и насилию. Но права нынешних собственников основаны на грабежах и насилиях как прошлого, так и настоящего. Эту мысль затем развивал Маркс в «Капитале», и в результате она стала известна каждому образованному советскому человеку, да сейчас как-то подзабылась.

Прудон бросил вызов собственности. И в то же время его требование – «равенство собственности»[116]. Что это такое? И если предполагается «равенство собственности», то, как можно говорить о ее ликвидации? Чтобы понять это, нам тоже нужно определиться в том, что такое собственность. Собственность – это суверенитет субъекта над предметом. (Разумеется, возможны и иные определения, но мне важно, чтобы читатель понял, о чем здесь идет речь). Собственность дает право управлять людьми, которые используют данную вещь, получать часть их ресурса в свою пользу. В основе собственности лежит власть над людьми, а не над вещами. «Равенство собственности» может рассматриваться двояко. Либо как равный доступ к собственности, то есть равноправие в распоряжении вещами и отсутствие разделения в связи с этим на управляющих и управляемых. Либо – раздел вещей между всеми на равные части. Прудону приписывали второе, вырывая слова из контекста. А к чему он стремился в действительности?

Прудон считает целью истории равномерное распределение ресурсов между людьми[117], и потому выступает в защиту владения против собственности: «Общественный порядок и безопасность граждан требовали только гарантии владения – зачем же закон создал собственность?»[118]

«Индивидуальное владение является необходимым условием социальной жизни, собственность убивает жизнь...»[119]. Владение закрепляет право человека на распоряжение вещами, но не вручает в его руки монополию на все, что с этими вещами связано. В отличие от собственности, владение не признает жестких границ между собственником и не-собственником. Владение предполагает гибкость его размеров, чтобы удовлетворять запросы других людей, участвующих в приумножении объекта владения, в том числе и новых поколений: «размеры владения изменяются сообразно числу владельцев»[120]. Речь идет не об изолированных друг от друга садовых участках (хотя и о них тоже), а о современном производственном процессе. Прудон не зовет человечество назад, он воспекает «коллективную силу» производства (хотя и не разделяет распространенную вплоть до середины XX века индустриальную гигантоманию)[121].

Прудон считает, что объединение в коллектив должно быть сугубо добровольным, и индивид всегда должен сохранять право «изолировать себя»[122].

Историк анархизма Д. Герен ищет в этом подтверждение постулата о противоречивости взглядов Прудона: «взгляды Прудона на самоуправление несомненно не формировались как целостное, однородное учение, выверенное до конца, лишенное колебаний и двусмысленностей. Отнюдь. Противоречий в нем очень много.

Есть Прудон, выступающий за общество взаимопомощи, которая защищает и примиряет неумолимое колесо прогресса к мелким независимым производителям, и есть Прудон — решительный коллективист, который не колеблется идти в ногу со временем, с техническим прогрессом, с механизацией, с крупной индустрией»[123]. Но как раз здесь противоречия не видно. Прудон признает достижения прогресса, но не является их фанатиком, считая необходимым защищать человеческую личность от потогонной логики индустриализма. Прудон готов к постепенному продвижению от взаимопомощи индивидуальных производителей к коллективизму, но только на добровольной основе. Прудон даже готов к сохранению некоторого количества индивидуальных производителей, хотя его симпатии — на стороне коллективного производства.

Именно взаимосвязь людей в процессе производства лишает смысла жесткое разделение собственников и не собственников — ведь продукт создают все. «В силу того, что человеческий труд неизбежно является результатом коллективной силы, всякая собственность, и по той же причине, должна быть коллективной и нераздельной; иными словами, труд уничтожает собственность».[124] Капитал по своему происхождению — коллективная собственность, и его частное присвоение — кража. Но каждый участник производственного процесса должен иметь оговоренное владение, свой интерес в деле. Все участники производства — его совладельцы. Поэтому Прудон выступает за производственную демократию, выборность управленцев работниками[125]. Такой подход позволяет постепенно вытеснять власть собственников даже при формальном сохранении собственности. Ограничивая власть собственника на предприятии, расширяя права работников в ущерб правам администрации, можно перейти к коллективному владению без больших потрясений. Но для реформ, направленных на вытеснение собственности самоуправлением, необходимо давление социально-политического движения на собственников.

В спорах с оппонентами в социалистическом движении Прудон готов идти на терминологические компромиссы с оппонентами. Так, Бланки и Консидеран выступили против критики собственности как таковой, предлагая реформу собственности. Прудон стал разъяснять, что их «реформа собственности», если ее проводить последовательно – это фактическая ликвидация собственности: «Г-н Бланки признает, что у собственности есть масса злодеяний, я же со своей стороны называю сумму (или принцип) этих злодеяний собственностью. Для нас обоих собственность – многоугольник, и надлежит обрезать его углы. Но г-н Бланки утверждает, что в результате получим многоугольник, а я убежден, что получившаяся фигура – круг»[126]. Политика социалистов должна вести к новому качеству общества, а не к сохранению старого в новой форме[127]. Прудон призывает социалистов быть последовательными в их собственных выводах. В этом – его отличие от более позднего реформизма социал-демократии.

Нищета и философия За Прудоном, объявившим войну собственности, были готовы идти сторонники обеих тенденций социализма. Положительно оценивал работу Прудона и Маркс. В «Святом семействе», несмотря на некоторые придирки к Прудону, Маркс признал, что Прудон «подробно показал, как движение капитала производит нищету»[128]. Восприняв у Прудона критику частной собственности и ряд иных социалистических и экономических идей, Маркс в то же время выступал против автономного от общества владения. Похоже, начинающий экономист Маркс просто не понял Прудона, и это непонимание сохранил на десятилетия. «То, о чем в сущности шла речь у Прудона, была существующая современная буржуазная собственность», – писал Маркс после смерти своего старшего современника[129]. Маркс имеет в виду, что Прудон непоследователен, его устраивает какая-то другая собственность. Но Прудон выступал не только против буржуазной, а против любой (феодальной, государственной) собственности. Маркс же выступает только против частной собственности (но не всегда – против государственной), а также против частного владения, которое марксисты часто смешивают с собственностью. Философа гегелевской школы Маркса не устраивает все «частное», нарушающее тотальную целостность общества. Прудона не устраивает суверенная власть над вещами и людьми, которая в экономике представлена собственностью, а в политике – государством.

Познакомившись в 1844 г., Прудон и Маркс подробно обсуждали философские и экономические проблемы. Оба стремились использовать диалектику для анализа экономических процессов. Их дружеские отношения продолжались до 1846 г. Столь долгий срок знаменателен — Маркса нельзя назвать человеком, терпимым в отношении оппонентов. Характерно такое воспоминание К. Шуца, встречавшегося с Марксом как раз в этот период: «Все, что говорил Маркс, было безусловно основательно, логично и ясно, но я никогда не видел человека, столь высокомерно ранящего окружающих, который был бы столь невыносим. Как только какое-либо мнение расходилось с его мнением, он... не удостоивал чести даже рассмотреть его... Я хорошо помню тот тон рвотного отвращения, с которым он изрыгал слово «буржуа», и именно «буржуа» он называл каждого, кто позволял себе ему противостоять»[130]. История конфликтов Маркса с Прудоном, Герценом, Бакуниным и даже собственным многолетним другом Эккартусом подтверждает это мнение. Дело, конечно, не только в неуживчивом личном характере Маркса, но и в неуживчивости его взглядов. Маркс отстаивал тотальную целостность общества и радикальные пути к ней. Отклонение от чистых принципов могло вести к сохранению сферы

частного, «буржуазного» в будущем обществе. В целостном обществе могла быть только одна истинная, «научная» точка зрения, все остальное было творением столь отвратительных «буржуа» и служило их самосохранению.

Но объявить Прудона «буржуа» было нелегко. Он был известен как критик собственности и, к тому же, был рабочим — в отличие от Маркса. В то время как Прудон уже давно разрабатывал экономические проблемы, Маркс был профессиональным философом и еще только осваивал начала политической экономии.

В 1846 г., когда Маркс пытался привлечь известного социалиста к своему корреспондентскому комитету, Прудон разъяснил свой взгляд на путь преодоления собственности. В письме к Марксу Прудон подверг критике планы насильственной революции, выдвигавшиеся коммунистами: «не будем впадать в противоречие Вашего соотечественника Мартина Лютера, который ниспровергнув католическую теологию, тут же, при помощи отлучений и анафем принялся создавать протестантскую теологию... Может быть, Вы все еще придерживаетесь мнения, что никакая реформа не даст результата без того, что мы в прошлом называли революцией, которая может быть толчком. Это мнение я понимаю и извиняю, о нем я охотно побеседовал бы, поскольку я его долго сам разделял, но, признаюсь Вам, я полностью отошел от него в ходе моих последних исследований. Я считаю, что для успеха этого не нужно, и, следовательно, мы не должны рассматривать революционное действие как средство социальной реформы, так как это — мнимое средство, которое было бы призывом к применению силы, к произволу... Я предпочитаю сжечь институт собственности на медленном огне, чем придать ему новую силу, устроив варфоломеевскую ночь для собственников»[131]. Прудон призывал Маркса не считать ни один вопрос окончательно решенным и исчерпанным, свободно обсуждать любые точки зрения. «Вот, мой дорогой философ, то, что я сейчас думаю, если я только не ошибаюсь; и если это понадобится, я готов получить по рукам в ожидании моего реванша»[132].

Реформизм Прудона четко отделяет его учение не только от коммунистического радикализма, но и от более ранних социалистических утопий (кроме, пожалуй, Оуэна). Прудон не собирается заменять существующую систему общественных отношений искусственно сконструированной моделью, продуманной до мелочей (по этой причине Прудон критикует Фурье).

И несколько высокомерный тон письма Прудона (на тот момент — более известного теоретика), и обидное для Маркса наименование «философ» (то есть не специалист в экономике) еще не были основанием для разрыва. Но Маркс не собирался принимать предложенные Прудоном правила дискуссии. Высказав скепсис в отношении революционного переворота, Прудон поставил себя по другую сторону баррикад.

Маркс стал готовить удар по бывшему союзнику. Но, как это часто бывает в таких случаях, сокрушительный удар получил сам Маркс. Он еще не успел обработать свои экономические рукописи в книгу, а Прудон выпустил исследование «Система экономических противоречий или философия нищеты». Опередив Маркса в изложении ряда идей, роднивших двух теоретиков, Прудон глубоко уязвил самолюбие оппонента. Не подозревая об этом, Прудон направил Марксу свою книгу с дружеским письмом. Ответом стала полная оскорблений

работа “Нищета философии”.

На протяжении десятилетий Маркс настойчиво доказывал свое интеллектуальное превосходство над Прудоном. Это самоутверждение выглядит несколько странно, если вспомнить, что работы Маркса высоко оценивались современниками. Марксу было важно доказать, что он был отчасти даже учителем Прудона, хотя ученик этот оказался непутевым: «Я заразил его... гегельянством...»[133] Это – преувеличение. С основами гегелевской философии Прудон ознакомился раньше, слушая лекции де Аренса в Коллеж де Франс. Затем работы Гегеля Прудону читал Грюн (Прудон не владел немецким). Постижению диалектики Прудоном способствовал и блестящий знаток Гегеля Бакунин, ставший, в свою очередь, учеником Прудона на ниве анархизма. В лице Маркса Прудон получил лишь собеседника-гегельянца, причем весьма неортодоксального. Но и Прудон был неортодоксальным гегельянцем. Маркс, забывая о своих отклонениях от гегелевской ортодоксии, резко критикует Прудона за неортодоксальную трактовку диалектики.

Сам Прудон считал источниками своего учения Библию, политэкономия А. Смита и философию Гегеля. Прослеживается некоторое влияние на него идей Фурье[134].

Так что влияние Маркса на Прудона стремилось к нулю. А вот формирование Маркса-экономиста происходило под влиянием книги «Что такое собственность», хотя это и не был единственный источник экономического учения марксизма. Симптоматично, что Прудон обычно не упоминается в ряду «предтеч». Во многом два теоретика шли параллельными путями, но Прудон естественным образом опережал Маркса, так как начал заниматься политической экономией раньше.

Для Маркса было принципиально важно не прослыть учеником Прудона, хотя во многом он им являлся. По оценке Б. Тэккера, «несомненно, Варенн (американский анархо-индивидуалист, идейный предшественник самого Тэккера – А.Ш.) и Прудон пришли к своим окончательным выводам самостоятельно, но относительно Маркса этот вопрос остается открытым, так как возможно, что он заимствовал часть своих экономических идей от Прудона. Как бы то ни было, эти идеи были так своеобразно им разработаны, что он имеет полное право на оригинальность творческой мысли. Тот факт, что работы этих трех ученых совпадают почти во времени, несомненно, свидетельствует о том, что идеи социализма уже носились в воздухе, и что назрело благоприятное время для развития этого учения»[135].

И Прудон, и Маркс стремились вывести свои социальные взгляды из нужд и противоречий современного им общества. Прудон успел сделать это раньше. В работе «Система экономических противоречий или философия нищеты» Прудон применил метод диалектики и трудовую теорию стоимости к анализу экономических противоречий капитализма и предложил свой путь их преодоления. По мнению марксиста М. Туган-Барановского, «“Экономические противоречия” содержат в себе такую глубокую критику капиталистического строя, что большинству последующих критиков капитализма оставалось только развивать или видоизменять мысли Прудона. Не подлежит сомнению, что, несмотря на крайне пристрастную критику Прудона Марксом, «Капитал» Маркса создан под непосредственным влиянием «Экономических противоречий». И это не удивительно, так как Прудон был первым замечательным экономистом, применившим

гегелевский диалектический метод к исследованию системы экономических категорий во всей их совокупности. Тому же методу следовал и Маркс»[136].

Маркс вынужден в своих философско-экономических штудиях следовать за Прудонем или параллельно ему, что вызывает с его стороны вполне понятную эмоциональную реакцию.

В своей книге Прудон не критикует Маркса, чьи экономические представления еще не были сформулированы. Объект нападения отца анархизма — Луи Блан. Прудон критикует его не идеи ассоциаций, а как раз за то, что получит наиболее полное выражение в марксизме — за этатизм: «Лекарство от конкуренции, или средство ее преодолеть по Блану — во вмешательстве авторитета, в замене государством индивидуальной свободы — это противоположность системы экономистов»[137] (то есть либералов). Блан надеется захватить власть, обложить налогом богатых, создать гигантскую государственную монополию и «командовать пролетариатом»[138]. Прудон и не подозревал, что Блан окажется слабой тенью Маркса.

Острие критики Прудона было направлено против этатизма Блана и против этатизма, централизованного управления вообще. И критик собственности получил ассиметричный ответ.

В работе «Нищета философии» Маркс подверг Прудона придирчивой тенденциозной критике. Прочитав книгу Маркса, Прудон охарактеризовал ее несколькими крепкими словами: «Это сплетение грубости, клеветы, фальсификации, плагиата»[139]. Читая Маркса, Прудон и его друзья делали пометки на полях. Они показывают, где по мнению Прудона и его друзей Маркс приписывает оппоненту то, что тот не утверждает, где нарушает логические правила. Прудон писал для себя, поэтому нередко он ограничивается краткими надписями: «Пустой треп», «Клевета», «Плагиат» (это — когда Маркс пересказывает Прудона, не указывая, что здесь он с ним согласен). Но ряд замечаний носит содержательный характер. Возможно, Прудон подумывал об ответе, но события революции 1848 г. отвлекли его, а после революции Маркс представлял собой политическую величину гораздо меньшую, чем Прудон, и, видимо, француз не счел необходимым тратить на Маркса свое время. В 1851 г., комментируя придирки своих противников к мелочам, Прудон отметил: «мое невежество в 1840 и 1848 гг. не привело к противоречию в 1850 г.». Он считал, что его можно упрекнуть прежде всего в «грамматических» ошибках[140].

Оба теоретика используют, хотя и по-разному видоизменяя, инструментарий Гегеля, применяя его к экономике. Оба исходят из того, что стоимость определяется через труд. Оба, в духе XIX в., придают исключительное значение терминологическим нюансам, что делает спор во многом схоластическим. Маркс не указывает на явное сходство в их взглядах, он прячет общее и, не всегда понимая, о чем пишет Прудон, раздувает разногласия, высмеивает мысли и логические приемы, к которым сам будет прибегать в «Капитале». В этом отношении книга «Нищета философии» — первая опубликованная монография марксизма, представляет не столько экономический, сколько психологический интерес. Маркс ищет, к чему придаться, упрекает Прудона в отсутствии описания исторической эволюции капитализма (Прудон рассуждает не исторически, а логически,

называя «эпохами» явления, вытекающие по его мнению одно из другого), в незнании нюансов трудов предшественников. Прудон ссылается на десятки имен, но предшественникам Маркса повезло меньше, он нередко подвергал их оскорбительной критике. Прудон в стиле времени тоже часто бывает груб, но он критикует своих противников за позиции, с которыми не согласен. Из произведений Прудона легко понять, что думает его оппонент. Из критики Маркса — значительно сложнее. В этой связи странно звучат обиженные комментарии марксистов. П. Луи пишет о Прудоне: «Этот сын народа (скромное его происхождение достаточно известно) обладал чисто аристократическим, неукротимым характером; можно было бы подумать, что он держал пари поочередно перессориться со всеми школами». Однако количество социалистических школ, обиженных Прудонем, не так велико — это или течения, которые не пережили Прудона (по отношению к ним он применяет обвинения в глупости и невежестве, которые марксизм адресует как самому Прудону, так и прочим своим оппонентам), или коммунисты, которых Прудон к ужасу П. Луи клеймит за «уничтожение мысли, смерть собственного «я»... религию нищеты»[141] и др. Мы увидим, что традицию Прудона в той или иной степени продолжали многие влиятельные социалистические идеологи второй половины столетия, в том числе и российские. Грубость, которой бравировали полемисты XIX столетия, не следует смешивать с подтасовкой, в которой Прудон обвиняет своего критика Маркса.

Маркс то и дело домысливает за Прудона, конструирует его мысль, доводит до абсурда и затем обрушивается с критикой на эту конструкцию. Иногда Маркс так увлекается, что совершенно забывает о тексте Прудона. Так, приведя цитату о свободе воли как причине противоположности между меновой и потребительской стоимостями, забрасывает ее и опровергает сконструированную им же “антитезу Прудона” о том, что предложение представляет собой исключительно полезность, а спрос — исключительно мнение[142]. Но такой цитаты Прудона Маркс не находит, это его домысел, основанный на изъятых из контекста высказываниях. Маркс то обвиняет Прудона в игнорировании фактора спроса, то спорит с прудоновским пониманием этого фактора (так значит, игнорирования нет). Маркс не смог опровергнуть наблюдение Прудона о том, что спрос во многом определяется мнением, массовой психологией.

В своем «втором замечании» Маркс обвиняет Прудона в идеализме: «Он воображает, что строит мир посредством движения мысли; между тем как он систематически перестраивает и располагает, согласно своему абстрактному методу, те мысли, которые имеются в голове у всех людей»[143]. Прудон не видит ничего дурного в классификации мыслей других авторов. Ему остается лишь пожалеть плечами: «Я не претендую на то, что делаю что-то иное, и считаю, что это — уже нечто. Ваши замечания ничего не замечают»[144]. На утверждение Маркса, что «он не понял того, что эти определенные общественные отношения также произведены людьми, как холст, лен и т.д.»[145], Прудон возмущенно «воскликает»: «Это ложь! Это как раз то, что я говорю. Общество производит законы и материалы из своего опыта»[146]. На другое аналогичное обвинение Прудон отвечает: «К сожалению, и здесь я думаю также, как и Вы. Претендовал ли я когда-либо на то, что принципы являются чем-либо иным, кроме как интеллектуальным представлением — не причиной, рождающей факты?»[147] Попытка приписать Прудону идеализм была расценена им как клевета. Прудон понимает, что упорядочение представлений меняет мир, но не претендует на то, что только деятельность мыслителей ведет к этим изменениям. Маркс, оспаривающий эту роль

мыслителей (как и политиков, о чем ниже), тем не менее, активно сражается на идеологическом фронте. Решение этого противоречия — в уверенности Маркса, что именно он защищает единственно верную объективную научную истину. Характерно, что развитие темы Марксом в сторону экономического детерминизма уже не встречает согласия Прудона. Маркс указывает Прудону, что социальные законы не вечны и относятся к определенной эпохе. Прудон парирует, что некоторые законы «вечны, как человечество — не больше, не меньше»[148]. Можно спорить, какие социальные законы временны, а какие — присущи человечеству как таковому. Но вряд ли можно отрицать само существование последних.

Эти философские разногласия любопытны, но не могут служить доказательствами в споре на социально-экономические темы. В целом ряде случаев вообще нельзя говорить о разногласиях, иллюзия которых возникает из-за предвзятого толкования Марксом вырванных из контекста фраз Прудона.

Многочисленные передержки и подтасовки Маркса заставляют Прудона подозревать критика в том, что тот просто ревнует: «Настоящий смысл труда Маркса заключается в том, что повсеместно я думаю также, как и он, но я это сказал прежде, чем он. Читателю остается подумать, что сам Маркс после того, как меня прочел, стал сожалеть, что думал, как и я. Какой человек!»[149]

Разумеется, Маркс вступил в борьбу с Прудоном не только из ревности. Реальные противоречия закамуфлированы в книге Маркса многочисленными придирадками. И тем не менее они несомненны. Социальные взгляды Маркса и Прудона полярны, но в рамках социалистического поля. На «оси координат» конструктивной модели общества Маркс оказывается с краю абсолютного централизма, а Прудон — на стороне самоуправления. На «оси координат» радикализма методов Маркс колеблется в спектре большего или меньшего революционного радикализма, он сторонник насильственного ниспровержения всей системы общества, основанной на частной собственности. Прудон — реформист, он считает, что революционный взрыв не гарантирует возникновение более сложных и гуманных отношений, чем нынешние. В то же время его критика революций не должна вводить нас в заблуждение — Прудон относится к революции положительно. Но не к любой. «Я желаю мирной революции, я желаю, чтобы в осуществлении моих желаний приняли участие те самые учреждения, которые подлежат отмене, и те правовые начала, которые предстоит дополнить»[150]. Одним из открытий Прудона, таким образом, является революционная реформа и ненасильственная революция, использующая существующие институты для их преодоления (в конце жизни Маркс и Энгельс также стали склоняться к прудоновскому пониманию революции).

Революцию он принимает лишь как процесс качественных перемен, стремясь к их ненасильственному характеру. Тем не менее, Прудон принял активное участие в событиях революции 1848 г. Тем, кто упрекает его в оппортунизме, полезно помнить, что Прудон сидел в тюрьме за свои убеждения.

Марксу нельзя отказать в последовательности — его модель общества будущего чрезвычайно проста и однородна. Такое упрощение может произойти и в результате

насильственного социального взрыва.

Простота модели Маркса — результат радикального философствования, а не изучения социальной реальности. Но Прудон в своей работе также идет философским путем, и профессиональные возражения философа Маркса имеют для Прудона значение. Если бы не грубость и тенденциозность Маркса, Прудон мог бы обсудить эти замечания спокойно и пояснить свою логику. Он стремится к преодолению разрушительных сторон противоречия, а затем и самого противоречия путем синтеза существующих явлений, в то время как Маркс считает, что противоречие может разрешиться путем разрушения составляющих. При этом Маркс считает необходимым поддерживать именно разрушительную сторону противоречия (к ней он относит пролетариат[151]), то есть начинать с разрушения одной стороны (консервативной) и усиления другой (революционной). Лишь после победы в революции пролетариат преодолет и сам себя, изменив условия жизни.

Поэтому с точки зрения Маркса Прудон «запутывается в противоречиях». В действительности два теоретика по-разному трактуют принципы диалектики. По мнению Г. Гурвича «Прудон, далекий от того, чтобы разрушать диалектику, напротив, умножает ее методы». Методы Прудона в большей степени соответствуют тем, которые «победили сегодня и... связывают диалектику с непрерывно обновляющимся эмпиризмом»[152]. При всей спорности такого вывода, он иллюстрирует по крайней мере равноправие марксистского и прудоновского подходов к диалектике.

Прудон считает, что «социальная истина не может находиться ни в утопии, ни в повседневности». Социальная наука должна без устали искать гарантирующие равноправие законы обмена и системы гарантий для всех[153]. Теоретик не ставит целью создание какой-то окончательной социальной модели. Его идеал — постоянное социальное совершенствование, приближение ко все большему равноправию, «общество, одним словом, которое, будучи одновременно организацией и переходом, ускользает от временного, гарантирует все и ни к чему не принуждает»[154].

Марксизм и прудонизм обозначили два полюса социалистической мысли. «Нужно помнить, что Прудон был и остается антиподом Маркса», [155] — справедливо утверждает Б. Вышеславцев.

Либерал Б. Вышеславцев, пришедший к прудонизму в 30-е гг. XX в., полагает, что Прудона нельзя считать социалистом, так как он критиковал коммунизм и социализм[156]. Но и Маркс критиковал коммунизм, которому потом был привержен. Теоретики социализма часто непримиримы к иным социалистическим учениям. Тем не менее, прудонисты – важная часть социалистического движения, в том числе I Интернационала и Парижской коммуны. Это естественно, так как Прудон – последовательный противник капиталистической собственности и, следовательно, социалист. Прудон писал: «И подобно тому, как право силы и право хитрости уступают место все более и более распространяющемуся понятию справедливости и осуждены раствориться в равенстве, так и суверенность воли уступает суверенности разума и в конце концов растворится в научном социализме»[157]. Марксисты, которые лучше осведомлены о социалистической самоидентификации Прудона, также иногда пытаются отказать ему в принадлежности к социалистическому течению на том

основании, что он не был коммунистом: «Он выдавал себя за социалиста, неоднократно применяя к себе этот эпитет в своих сочинениях, а между тем никто с большею резкостью и преувеличениями не нападал на коммунизм и этатизм»[158]. Таким образом, Прудон не является социалистом для тех, кто зауживает многообразие социалистических идей до этатистско-коммунистической ветви. Но с точки зрения антиавторитарного социализма, развиваемого Прудоном, государственники и коммунисты также называют себя социалистами без должных оснований: «Господин Блан постоянно призывает к авторитету, а социализм во весь голос провозглашает себя анархическим, господин Блан устанавливает власть выше общества, а социализм ведет к тому, что власть окажется под обществом, Блан диктует жизнь сверху, а социализм — рождает и развивает ее снизу; господин Блан бегаёт за политикой, а социализм ищет науку»[159].

Так кто же прав в своих притязаниях на право считаться социалистами: анархисты или этатисты (социал-демократы)? Левый берег или правый? Оба. Ибо река омывает оба берега.

Маркс стремится к максимальной последовательности, радикальности выводов. К этому его толкает гегельянский принцип диалектики, требующей преодоления противоречий. Диалектика находит противоречия в любых формах современности, обрекая философа на оппозиционность и критику. Может ли он быть конструктивен? Диалектик отступает от собственных принципов, если искусственно ограничивает движение мысли каким-либо политическим идеалом (конституционная монархия для Гегеля) либо чисто идеальной сферой (позиция тех младогегельянцев, которые считали неуместным вторжение диалектики в социальную практику). Маркс презирал оба ограничения. Он стремился не только познать, но и изменить мир в соответствии со своими философскими выводами.

Марксистские исследователи утверждают, что уже в 1843 г. “завершается его (Маркса — А.Ш.) освобождение от гегелевской спекулятивной философии”[160]. Этот вывод выглядит преждевременным. “Освобождение” в это время только начиналось, и не закончилось оно до конца жизни философа. Маркс унаследовал от Гегеля и терминологический ряд, определяющий сам способ мышления, и методологию, и способ поиска идеала. Этот идеал заключался в разумности (рациональности) и целостности, в преодолённых противоречиях настоящего. Если рациональность является общим веянием времени, то преодоление (снятие) противоречий — ценность гегелевской школы. Снятие противоречий восстанавливает целостность. Эта задача способствует эволюции взглядов Маркса к централизованной модели коммунизма.

Маркс стремился соединить диалектику с реальностью, и поэтому каждое противоречие в материальной среде воспринимал как приговор тому явлению, которое рассматривал. Таков был его всеразрушающий критический метод. Следуя гегелевскому идеализму, Маркс видит в таком анализе существующей реальности путь к будущей реальности. “Критик может, следовательно, взять за исходную точку всякую форму теоретического и практического осознания, — пишет Маркс, — и из собственных форм существующей действительности развить истинную действительность как ее должное существование и конечную цель”[161]. Эта цель становится материальной силой, центром притяжения практической деятельности, основанной на предпосылках существующей реальности. Следовательно, «мы не стремимся

догматически предвосхитить будущее, а желаем только посредством критики старого мира найти новый мир»[162]. Этот подход близок прудоновскому, но у Прудона вслед за критикой следует синтез, а у Маркса — ниспровержение.

Маркс надеется на «гибель всего отношения»[163] труда и капитала в случае доведения его до крайности. Но эти надежды, навеянные философией Гегеля, никак не доказываются Марксом. Прудон предпочитает противоположный путь – синтез сторон отношения с освобождением их от части черт, присущих крайностям.

Идеал Маркса мог называться не только коммунизмом, но и демократией (властью демоса), гуманизмом, социализмом или даже гражданским обществом. В письме к А. Руге (1843) Маркс трактует коммунизм еще как «одностороннее осуществление социалистического принципа», «особое выражение гуманистического принципа»[164]. Социализм представляется Марксу движением за уничтожение частной собственности, в котором коммунизм – более узкая тенденция, а гуманизм – более широкое понимание проблемы, чем социализм.

Но постепенно путь тотальной критики привел Маркса именно к коммунизму, крайней степени общности, полному отрицанию частности. Коммунизм – доведение критики частного до крайних выводов, которые далеко уходят от стремлений современных Марксу людей. Коммунизм должен ликвидировать все противоречия общества, смести и переварить все перегородки, разделяющие (отчуждающие) людей.

Первоначально коммунизм был неприемлем для Маркса из-за «догматической абстрактности» построений коммунистов, из-за вневременной утопии. Маркс был настроен футурологически, ему было интересно то, что вытекает не из моральных формул, а из тенденций развития общества. А это общество, по мнению Маркса, могло развиваться, только преодолевая найденные философами противоречия.

Гегелевская диалектика позволяет развивать до логического предела любой принцип, например – принцип свободы. Человек, имея право на полную свободу от коллектива, может и не пойти на компромисс с сообществом, с другими людьми. Он может бросить вызов среде, посвятить жизнь бунту и неподчинению окружающим, объединившись с такими же бунтарями в партизанское движение свободы. Это сообщество не борцов за свободу, а людей, стремящихся быть свободными здесь и сейчас.

Такие выводы сделал Макс Штирнер (И. Шмидт) (1806-1856). Он решил дойти до края. П. Рябов пишет об этом: «Главное достоинство книги Штирнера в том, что немецкий анархист восстал против теоретического и практического игнорирования личности, ее нивелировки, принесения в жертву чего бы то ни было внешнему, по отношению к ней самой, против рассмотрения ее как сугубо «механического», пассивно страдательного начала. Штирнер показал, что личность является первичной реальностью, творческим и действующим началом, центром, а не периферией, целью, а не средством»[165]. Штирнер не одинок – в этом направлении пытались идти и либералы, но каждый раз перед призраком хаоса отступали под сень порядка, собственности и плюралистичного государства. Штирнер не

боится хаоса.

Его общественный идеал – не какое-то устройство общества, а Союз эгоистов, движение свободных бунтарей, не принимающих правил общества.

Это стык максимального либерализма и «немедленного» анархизма – анархо-индивидуализм. Анархия для него – это и цель, и образ жизни, субкультура. Именно так большинство и представляет себе анархистов. Начинаящие анархисты, далекие от понимания его теории в ее многообразии, также представляют себе истинный анархизм как агрессивную «антиобщественную тусовку». Это круто. Но это – уже не противостояние Системе, уже не анархизм. Отказ от конструктивной программы – путь отступления для анархистов в маргинальную подсистему общества. Общество выделило им этот безопасный закуток и отгородилось от него полицией. Атаки варваров на цивилизацию из этого маргинального закутка – удобный предлог для наращивания репрессивности государства без угрозы реального революционного движения, способного что-то изменить. Ведь анархо-индивидуалисты добиваются свободы для сильных: «с горсточкой силы можно сделать больше, чем с мешком прав»[166], – писал Штирнер. А это – уже принцип элитарных, не анархических и не социалистических теорий. Социалисты тоже искали пути к свободе. Но они понимали, что право сильного – это путь к порабощению слабого, а не к свободе. Маркс, который тоже не боится крайностей, отрицает индивидуализм ради личности, право сильного ради права каждого.

Зарисовки о коммунизме «ранних» Маркса и Энгельса сознательно абсурдны. Философская подготовка приучила их не останавливаться перед препятствиями реальности. Философ имеет право формулировать заведомо нереализуемые в современном мире цели, исходя только из чистых принципов. Как математик может приходиться к формулам, действие которых невозможно в реальном мире. Маркса это не смущает, так как революция все равно сметет современный мир, переустроив его на совершенно иных началах. Отрицая принципы современного мира, Маркс полагает, что уже этим определяет принципы будущего. Критика сущего, отрицание его принципов – ключ к прогнозу будущего. Но разрушение, попытка создать новое самим актом разрушения основ существующего общественного здания, вовсе не обязательно ведет к возникновению принципиально новых общественных отношений, к творческому прорыву в будущее. Груда кирпичей качественно отличается от рухнувшего здания, но она ближе по сути к той груде кирпичей, из которого здание строилось, чем к качественно новому зданию. Также и социализм в СССР вобрал в себя больше от докапиталистической традиции, чем от принципов, разработанных социальными мыслителями XIX в.

Нельзя создать нечто новое, не разрушив чего-либо в старом. Но разрушения недостаточно для творчества. И детская игра, результатом которой является груда сломанных игрушек – это имитация творчества, но еще не само творчество. Также как и ленинский военный коммунизм – это имитация нового общества, в действительности являющаяся грудой развалин прежних общественных укладов. Где грань допустимого разрушения и критерий готовности общества к переменам? На этот вопрос было рано отвечать XIX веку, воспитанному на романтике баррикад.

Маркс изначально был склонен трактовать собственность расширительно. Став коммунистом, он даже о коммунизме, то есть обществе, упразднившем частную собственность, пишет: «на первых порах он выступает как всеобщая частная собственность», а «категория рабочего не отменяется, а распространяется на всех людей»[167]. Это умственное упражнение молодого Маркса являет коммунистическую практику страшнее любой либеральной критики. Получается, что коммунизм «на первых порах» организует общество сверхсобственника, доведя до максимума черты собственности (в том числе и негативные ее черты). Так и получилось. Реальные коммунистические режимы не уничтожили собственность в понимании Прудона, а лишь придали ей чудовищные монополистические формы.

Маркс утверждает, что предложение Прудона уравнивать заработные платы не решает проблемы – общество выступает в роли «абстрактного капиталиста»[168]. Очень тонкое наблюдение, но не над теорией Прудона. Ведь он не сводил все решение вопроса к уравниванию заработной платы. Но если ассоциация становится единственным контрагентом работника (как предлагает Маркс), то она остается абстрактным капиталистом.

Преодоление этого грубого коммунизма описывается Марксом скорее как проблема, чем как программа. «Коммунизм как положительное упразднение частной собственности» – это гуманизм, развитость культуры, осознание человеком своей сущности, возвращение человека из частных форм жизни к своему общественному бытию, всестороннему развитию. Получается не столько социальное явление, требующее преобразования общества, сколько культурный процесс. В это время молодой Маркс еще не был революционером, и вся логика его рассуждений отталкивала от революционных действий, которые позволяли привести только к грубому коммунизму. Но дальнейшие размышления приводят Маркса к необходимости «коммунистического действия»[169], поскольку интеллектуального отрицания идеи частной собственности недостаточно. Получается, что путь к истинному коммунизму (гуманизму) ведет через коммунистическое действие, а значит в существующих условиях – через грубый коммунизм, столь убедительно раскритикованный выше.

В «Экономико-философских рукописях» Маркс отталкивается от посылки, что «основу монополии» составляет «частная собственность»[170]. Это мнение принимается без доказательств, но ниже фактически опровергается. Монополия оказывается более глубоким явлением, чем частная собственность. Более того, если монополия всегда основана на частной собственности, то получается, что монополия ассоциации трудящихся – это тоже частная собственность. Следовательно, это – не общественная собственность, не собственность всех трудящихся, а монополия организации, построенной также, как частно-собственническая корпорация. Следовательно, государственная собственность и даже собственность «всех трудящихся» – это не общественная собственность.

Не удивительно, что ранний Маркс некоторое время колебался, что считать основной причиной существования классового общества и эксплуатации: частную собственность или нечто иное. Частная собственность бросалась в глаза и возмущала своими проявлениями. Но в юности Маркс хорошо видел, что упразднение частной собственности не решает проблему. Прежде всего, оно не меняет характер труда.

Труд и творчество Как сделать труд настолько привлекательным, чтобы он стал добровольным? Это – задача, над которой бились представители самых разных оттенков мысли с глубокой древности. Вслед за Оуэном Маркс видит решение этой, равно как и ряда других проблем, в преодолении специализации. В «Немецкой идеологии» вместе с Энгельсом он решает эту проблему в духе русской дворянки, решившей бежать с любимым и добывать средства тем, что «трудиться» в перерывах между прочими делами вроде примеривания шляпок и чтения романов. Предложение Маркса и Энгельса, выдвинутое для решения проблемы специализации, характерно только для очень наивных представителей интеллигенции, никогда не занимавшихся физическим трудом, который требует навыков и квалификации: «в коммунистическом обществе, где никто не ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, завтра – другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как моей душе угодно, – не делая меня, в силу этого, охотником, рыболовом, пастухом или критиком».[171] Общество обеспечит...

Но не будем смеяться над этой идеей, такой абсурдной для XIX в. На то и футурология, чтобы предвидеть времена, когда невозможные требования могут стать вполне реальными.

Интересно, что в этой наивной картинке коммунистического общества разделение труда сохраняется, но оно не закреплено социально. Один и тот же человек, словно по-детски играя, занимается то аристократичной охотой (вряд ли при развитом животноводстве она преследует цель добычи продовольствия), то прозаическим скотоводством и рыболовством, то демократичной критикой. Но в этом детском саду присутствует мудрый воспитатель – общество, которое «регулирует», решает, чего не хватает – скотоводства или критики.

Машинный идеал превращает это регулирование в «простую статистику», подсчет дефицита и ресурсов. Компьютерные мощности конца XX в. (не говоря уже о статистиках предыдущего столетия) не в состоянии подсчитать всю совокупность возможностей и потребностей человека даже в грубых чертах, не говоря о таких деталях, как форма и цвет модной одежды или вкусовые оттенки кетчупа. Тем более, что и сам человек заранее не сможет сказать, сколько чего ему потребуется через год, когда продукт должен прийти к потребителю. С уверенностью можно сказать только, что «статистики» всегда будут считать избыточным количество язвительных критиков их регулирования. Дело, таким образом, даже не в недостаточности статистических возможностей, а в непостоянстве человеческих потребностей. Их можно только предугадать, подстроиться под них или подстроить их под регулирующий шаблон. Последний путь в наибольшей степени враждебен потребителю.

То же – и в отношении занятий. Даже в мягкой советской форме распределения студентов после вуза, регулирование профессиональной принадлежности создавало множество проблем для трудящихся, калеча их судьбы и вызывая отвращение к труду, мечту о пенсии. Каждодневное регулирование, дергание от одного вида работы, от творчества к скотному двору (даже чистенькому и автоматизированному) – это ли не пытка. Но Маркс и Энгельс вовсе не похожи на садистов. Просто они не знают, как соединить две гуманистические идеи – избавление от однобокого специализированного труда и рациональную организацию

общества, при которой все получают то, что желают.

Философский радикализм Маркса и Энгельса позволил им сформулировать социальные условия человеческого счастья – заниматься разнообразной деятельностью в свободном сотрудничестве с другими людьми, меняя одни полезные занятия на другие. По сути речь идет о преодолении специализации. Такая жизнь может существовать в условиях, когда общество обеспечивает каждому человеку тот «фронт работ», который ему по душе, моментально согласуя многочисленные человеческие потребности как в производстве, так и в потреблении. Это, в свою очередь, возможно только при условии, что коммуникации, культура и политический механизм позволяют немедленно согласовывать интересы, что уже нет технологически обусловленной специализации людей (а именно на ней основано индустриальное общество, современное «классикам»). Общество должно быть социально однородным, люди – альтруистичными, самоотверженными, готовыми свободно принять именно то, что «нужно обществу», а общество – нуждаться именно в том деле, которым “взбрело в голову” заняться индивидууму. Потребности общества будет определять регулирующий центр, выполняющий свою работу также самоотверженно (не в собственных социальных интересах, а в «научно» вычисляемых интересах всех людей). Первоначально функции этого центра возьмет на себя «пролетарское государство», то есть революционеры, опирающиеся на пролетариат – наименее привязанный к капиталистическому строю, к старой культуре класс. При этом насилие может осуществляться только в отношении меньшинства — бывших эксплуататоров.

Нарушение одного из этих условий приводит к крушению или перерождению всей системы. Если руководящий центр не сумеет найти решение, устраивающее всех рабочих, ему придется прибегнуть к насилию против части трудящихся. Если в однородном обществе выделяются особые социальные группы (и особенно – вокруг регулирующего центра), то «интересы общества», распадутся на интересы господствующего и иных классов. Если люди не будут альтруистами, то их интересы не удастся согласовать, и придется принудительно отчуждать их труд в пользу регулирующего центра. Но уже по мере продвижения к идеалу коммунистический уклад будет разлагаться под влиянием противостоящих социальных интересов, еще не растворившихся в социальной однородности. Целостность общества будет нарушаться, эгоисты станут паразитировать на труде альтруистов. Неудача Оуэна повторится в масштабах всего мира. Отсюда надежда Маркса на очищающий социальный взрыв, после которого все организуется сразу по единому социальному плану.

Если забыть об авторитарном регулировании человеческой деятельности, то ее идеал по «Немецкой идеологии» – это игра (позднее ставший более солидным Маркс предпочтет идеал научного творчества). Немножко того – надоело – немножко другого – наскучило – возьмемся за третье. Игра и труд – это не одно и то же. Маркс это понимает, и произносит фразу, шокирующую читателей: «коммунистическая революция выступает против прежнего характера деятельности, устраняет труд...»[172]

Эта фраза часто вызывает недоумение как у сторонников, так и у противников Маркса. Так, В. Гринив считает, что призыв к уничтожению труда является призывом к уничтожению человека, так как труд – первопричина человеческого существования[173]. Так, продолжая

мыслить в позднемарксистской системе координат, комментаторы просто не понимают, что сказал Маркс.

Сказав «А», Маркс и Энгельс не сказали «Б», вызвав недоумение у недалеких критиков. В рукописи Маркс попытался дать определение труда и таким образом устранить возможное недоразумение. Но, написав: «современную форму деятельности, при которой господство...», зачеркнул, и пошел дальше.

Маркс бросил вызов труду как таковому. Труд, который считается одной из важнейших добродетелей в мировых религиозных традициях. Чтобы понять Маркса, нужно «расшифровать» его понимание труда. «Как только не пытались ученые комментаторы придать этой фразе какой-либо «здравый», «нормальный» смысл!», [174] — пишет В. Вильчек. Но смысл найти нужно, причем исходя из взглядов самого Маркса. В. Вильчек пытается сделать это, оставаясь под обаянием марксизма: «Действительно, однозначно истолковать эти тексты непросто. Но внезапно от краткой фразы, промелькнувшей впервые здесь же, в «Немецкой идеологии», в темном, непостижимом пророчестве вспыхивает молниеносный смысл. Маркс и Энгельс пишут о крупной машинной промышленности:

«Ее (отличительным признаком) является автоматическая система».

В скобки взяты слова, восстановленные публикаторами: рукопись дошла до нас в поврежденном виде. Но публикаторы, несомненно, исказили смысл фразы: автоматическая система и сегодня еще не стала «отличительным признаком», качественной особенностью индустрии. Более вероятно – и в этом убеждают сходные по смыслу высказывания в других работах, – что фраза читалась так: «Ее (идеалом, пределом, конечной ступенью развития) является автоматическая система». В этом случае все становится на свои места...

Таким образом, именно Маркс провидчески разгадал возможность «постиндустриального» производства... Маркс и Энгельс поняли, что история человека – это, в определенном аспекте, история орудий его труда и что завершением этой линии исторического развития может стать превращение орудий в автоматическую систему, т. е. действительно во «вторую природу» [175].

Идею автоматизации Маркс более подробно развивал в рукописях 50-х гг., и они позволяют существенно уточнить позицию Маркса по этому поводу: «Система машин, являющаяся автоматической, есть лишь наиболее совершенная, наиболее адекватная форма системы машин, и только она превращает машины в систему...» [176] Итак, Маркс действительно видит в автоматизации совершенную форму механизации. Если, подобно В. Вильчеку, видеть в этом цель проекта Маркса, то перед нами – инженерная, а не социальная задача, и Маркса пришлось бы записать по разряду технической фантастики. Но у него есть некоторое «алиби» – он считает систему машин «адекватной формой капитала вообще» [177]. Капитал – это совокупность опредмеченного, «мертвого» труда. Ему противостоит «живой труд» – человеческая деятельность [178]. Но противостоит ли? Ведь если человек используется в качестве инструмента, то функция его труда качественно не отличается от работы машины.

Поскольку работник интегрирован в индустриальную систему машинизированного хозяйства, если пустить дело на технологический самотек, то возникнет автоматическая система, которая унаследует в предельной форме все свойства капитала, включая и господство над работником.

Но Маркс надеется, что, достигнув технологического предела, отношения господства над человеком достигнут и социального предела, станут бессмысленными. Он считает, что по мере роста производительности труда «прибавочный труд перестал быть условием для развития всеобщего богатства, точно также, как не-труд немногих перестал быть условием для развития всеобщих сил человеческой головы. Тем самым рушится производство, основанное на меновой стоимости, и с самого процесса материального производства совлекается форма скудости и антагонистичности»[179]. Ценой развития машинной системы, закабаляющей человека в рамках социальной организации капитала, становится возможность освободить его от всей этой системы, которой прибавочный труд уже и не нужен вовсе.

Нам, людям XX в. хорошо знакомы мечты о времени, когда роботы возьмут на себя тяжелый и монотонный труд, оставив нам общее руководство на досуге. Идеал древних греков – рабы трудятся, а свободные граждане руководят и отдыхают. Если заменить рабов машинами, то эта же утопия роднит либерализм и коммунизм. Также как вера в победу над природой.

Но автоматическими “рабами” нужно управлять, и это тоже труд — не всегда легкий. Или роботов нужно научить управлять самими собой? На горизонте начинают маячить антиутопии о роботах, которые выходят из-под контроля человека.

Увы, на основании предвидения всеобщей машинизации, перерастающей в автоматизацию, Маркс не становится предтечей постиндустриального общества, скорее – наоборот. Постиндустриальное общество – это не предельное развитие индустриализма, доведение его черт до максимума, а разворот к новым принципам. Идеал Маркса, Вильчека и некоторых фантастов – автоматическая «вторая природа» как результат развития промышленности – это не постиндустриализм, а сверхиндустриализм. Согласимся со сторонником сверхиндустриальных идей С. Кургиняном в том, что постиндустриализм и сверхиндустриализм – это совершенно разные направления развития[180]. Автоматическая природа противостоит гармонии настоящей природы, которая воспринимается как стихийность. Стихийность природы должна быть подавлена и укрощена второй природой. Так что нас не должно удивлять восклицание С. Кургиняна: «Самое ненавистное для меня – это экология!»[181] Но как и «первая», «вторая природа» может по-разному соотноситься с человеком. Автоматической природе вовсе не нужен человек-хозяин. Создание целостной саморегулирующейся автоматической природы – это путь к антиутопии цивилизации роботов или «матрицы», овладевающей человечеством. Это не смущает В. Вильчека, он допускает господство супермозга, которому человек подчиняется, как средневековый житель – канону[182].

Человек может предотвратить такое крайнее тоталитарно-механическое развитие, только сохраняя свою вовлеченность в производственный процесс, причем в качестве ключевого элемента. Но если производство – целостная автоматическая система, то человек тоже

должен быть автоматом, работающим синхронно с другими автоматами – иначе систему постигнет паралич.

Маркса привлекает цельность индустриального организма, но человек в этой цельности – только инструмент социума, и полное соединение с такой цельностью будет означать растворение человека в ней. Уподобляя общество фабрике, Маркс так применяет индустриальные принципы к общественному идеалу: «Если мы возьмем за образец разделение труда на современной фабрике, чтобы применить его затем к целому обществу, то мы найдем, что общество, наилучшим образом организованное для производства богатств, бесспорно должно было бы иметь лишь одного главного предпринимателя, распределяющего между различными членами общественного коллектива их работу по заранее установленным правилам»[183].

Из этой утопии уже можно вывести основные черты тоталитарных режимов XX в., причем не только марксистских. Ведь марксизм — дитя индустриальных отношений. В этой фразе четко сформулирован и сверхиндустриальный идеал, где все общество реорганизовано по образцу фабрики.

Куда ни кинь, везде клин. Утопия автоматической «второй природы» с неизбежностью влечет человека в тоталитарно-механический кошмар. Успокаивает одно – сверхуиндустриализм вряд ли достижим. Мощная стихия природы и человеческого духа уже подрывает поступательное развитие индустриализма. И если техническому гению суждено облегчить жизнь человека автоматическими помощниками, то растворить человека, слиться с ним в единой саморегулирующейся помимо человека автоматической системе – все же вряд ли удастся. Конечно, если первоначально люди сами не сольются тоталитарную систему – «человеческую машину». Таково противоречие будущей моделирующей эпохи: либо сверхиндустриальное общество, информационно-манипулятивный тоталитаризм, централизованная глобальная цивилизация, в которой функции моделирования сосредоточены в руках элиты, человек является элементом «второй природы», а первая природа подавлена; либо постиндустриальное общество, в котором люди – творцы, согласующие направления своего творчества, но не настолько, чтобы подчинять его единому обязательному плану, навязанной извне воле, скрывающейся под псевдонимом «общественных интересов». Креативный пост-индустриальный сценарий исключает создание единой автоматической «второй природы», но предполагает широкое применение локальной автоматики, управляемой конкретным человеком, а не человечеством.

Позднее Маркс отказался от критики труда. В своей главной книге «Капитал» он воспел гимн труду, отождествив с ним всякую целесообразную деятельность человека.

Положительное отношение к труду пронизывает культурную традицию. Отрицательное отношение к труду может быть воспринято как отрицательное отношение к трудящимся. Маркс предпочел опереться на эти стереотипы, противопоставив труд и капитал и взяв назад свой вызов труду. Этим он закомуфлировал принципиальное различие между разными видами деятельности.

Труд – благословляемая и одновременно проклинаемая основа нашей жизни. Со времен Ветхого завета это странное противоречие пронизывает человеческое мировоззрение. Труд – проклятие, жизнь «в поте лица». Труд – счастье, осознание своей нужности, источник жизненных благ и уважения. А в чем, собственно, эти блага, если речь не идет об удовлетворении животных нужд человеческой природы? Что делает человек в свободное от труда время, когда он наелся, напился, выспался, предался утехам любви? Что дальше? Дальше – хобби, размышления на досуге, игры, поиск впечатлений. Тяжкий пресс обязательного, навязанного извне труда в нашем сознании отождествляется с несвободой (печальна участь тех, кто уже привык к этой «осознанной необходимости»).

Противоположность такого труда – свобода. Причем, не бессодержательная «свобода от...», а именно содержание свободы, которую человек принимает с удовольствием, даже если не имеет достаточных культурных навыков для принятия ее во всей полноте. Даже неграмотный холоп любил помечтать, поиграть в незамысловатую игру, повидать новые земли и новых людей. Что уж говорить о немецком интеллигенте, которому охота – игра, рыбная ловля для пропитания – в диковинку, а работа – вольная критическая критика, которую, утомившись, можно и не дописать.

Что общего в этих свободных видах деятельности? Они не всегда бесполезны, иногда целенаправленны (а это — признаки деятельности, которую поздний Маркс тоже называл трудом). Они всегда – вызов монотонности (иначе – надоедают). Они всегда преследуют цель создать, смоделировать новое, то, чего еще не было. Способность к абстрактному мышлению, моделированию реальности, а на его основе – и к созданию новой реальности, не знакомой по предыдущему опыту – это и есть способность к творчеству, которая отличает человеческую цивилизацию от животного мира. Творческая составляющая в нас и является собственно человеческой сущностью или даже Божией (постольку, поскольку мы созданы по его образу и подобию).

В своей реплике против труда Маркс противопоставляет труду другой вид деятельности. Речь может идти о творчестве, но Маркс не нашел для этой мысли достаточно ясных слов, характеризующих суть явления. Труд здесь предстает в качестве деятельности, при которой человек подчинен чуждым ему силам, воспроизводству установленных правил (воспроизводящий труд). Поэтому человека утомляет не только физически тяжелый труд, но и любая деятельность, в которой он – лишь инструмент, а не творец. Напротив, физически тяжелая спортивная игра, если она еще не превратилась в спортивный бизнес, многим приносит удовольствие. То же можно сказать о работе скульптора, например. Важна увлеченность новым. Творчество приносит человеку наслаждение. Его результат – уже не всегда. Если что-то не получается, как задумано в модели, если «грубая» жизнь не дает воплотить в твердые формы мимолетное видение ума, если приходится переделывать одно и то же снова и снова – разочарования неизбежны. Иногда с ними приходит стремление к бесплодному разрушению, своеобразной мести в адрес реальности. Нетворческий элемент в творчестве иногда более болезнен, чем в рутине, а разрушение, необходимое для внедрения нового, может приобретать самодовлеющее значение.

Проблема критики труда, поставленная, но не решенная Марксом, вызывала интерес как у его критиков, так и у продолжателей марксистской традиции. Б. Вышеславцев, критикуя трудовую теорию стоимости Маркса, настаивает на резком противопоставлении труда и творчества: «Труд копается в земле; творчество похищает огонь с неба... Труд есть трудность, он совершается «в поте лица», ... «работа» от слова «раб». Рабство перед природной необходимостью; напротив творчество есть свобода, победа над природной необходимостью, «прыжок из царства необходимости в царство свободы», разрешение задачи и преодоление трудности.

Творчество есть... индивидуальная, свободная инициатива, она непосредственно связана с данной личностью... Она начинает новый ряд причин и свободно созидает новую, ранее не бывшую комбинацию природных сил. Иное дело – труд: он безличен, неиндивидуален, всецело заменим, и поэтому может стать рыночным товаром..., он есть безличное действие, предписанное извне, по чужой инициативе. Личность как бы тяготится безличностью своего труда, тоскует по творчеству.

Необходимо, однако, понимать, что творчество не может быть массовым явлением, и мы видим «трудящиеся массы».

Творчество есть по существу «редкость», исключение, функция меньшинства...; труд есть подражание, следование, исполнение и повторение заданного и предписанного повиновения».[184]

Яростное нападение Б. Вышеславцева на труд не учитывает двух обстоятельств. Во-первых, творческий процесс сплошь и рядом основан на стандартах, предписаниях и труде (отсюда: «гений – это труд», труд художника, многотомный научный труд). Но и в простом труде можно встретить элемент творчества («хороший сапожник – поэт»). В большинстве случаев в деятельности можно найти и воспроизводящую, и творческую составляющую. Важно, что преобладает, какая сторона деятельности вознаграждается обществом, а какая – подавляется.

Во-вторых, (и это вытекает из первого), разделение на творческое меньшинство и «трудящиеся массы» обусловлено общественным устройством, ограниченность которого во времени показана в этом же труде (в смысле – книге) Б. Вышеславцева. Сегодня деятельность по созданию нового – удел меньшинства, потому что средства индивидуального воплощения в реальность созданной творцом модели недостаточны, для этого нужно мобилизовать массы исполнителей. Но цивилизация не стоит на месте. Процент творцов (не обязательно гениев, открывающих принципиально новые пути) в обществе может увеличиваться.

В-третьих, (и это дает надежду на преодоление монополии меньшинства на творчество), творческий процесс может быть коллективным, а не только индивидуальным. Начиная с известных примеров сотворчества писателей и кончая практикой мозговых штурмов, возникновение моделей нового происходит в содружестве нескольких интенсивно общающихся личностей. При этом одновременный процесс коллективного творчества в сообществах, включающих десятки людей, может, благодаря взаимодействию их информационных пространств, сливаться в совместное творчество тысяч. Как трудно в

таких случаях историкам судить об «источниках творчества» и истоках мысли. Это называется «идея носится в воздухе».

Творческий процесс тесно связан с понятием информации. Особую роль информации подчеркивает В. Вильчек: «информация и есть тот уникальный, теоретически верно вычисленный Марксом, но ошибочно отождествленный с рабочей силой товар, который «способен увеличивать стоимость в процессе его потребления»: овеществления, воплощения»[185]. Информация и творчество – две стороны одного и того же — присущего человеку моделирования реальности, в том числе и потенциальной, еще не реализованной.

Дополнительную потребительскую ценность информация создает и моделируя более эффективную деятельность, и благодаря своему свойству к размножению моделей без значительных затрат энергии. Ссылаясь на мысль А. Моля, высказанную в «Социодинамика культуры», В. Вильчек пишет: «продав свое сочинение, автор отнюдь его не лишается, да еще повышает свой социальный статус»[186].

Вслед за Вышеславцевым Вильчек тоже подчеркивает качественное различие труда и творчества: «В качестве же творческой деятельности труд автора – вообще не труд, т.е. не деятельность по чужому образу и подобию, а удовлетворение первой человеческой потребности: потребности преодолеть отчуждение, восстановить поврежденную коммуникацию с миром»[187].

Но в индустриальном обществе творчество подчинено управлению и стандартизированному, воспроизводящему образцы труда, его роль утилитарна: моделирование оптимальных структур производства ради увеличения объемов собственности в ходе внедрения и последующего тиражирования модели.

Маркс отказывается от противопоставления труда и творчества и считает, что человеку необходимо “самоосуществление, предметное воплощение субъекта... как действительная свобода, деятельным проявлением которой как раз и является труд”[188]. Этот труд — не игра, как у Фурье, а серьезное дело. Зрелый Маркс выдвигает идею научного характера труда. Это можно понимать и как подчинение всех научным выводам и планам, и как вовлечение всех в научную деятельность (воплощение продуктов информационной деятельности в жизнь остается на долю машин). При этом Маркс напоминает, что наука — это не только свободное творчество, но и школа дисциплины[189]. Современная наука противостоит работнику как чуждая сила, элемент машинной системы. Из этого следует, что простое приобщение человека к науке еще не решает проблему. Напротив, наука может делать человека инструментом чуждой ему машинной системы. Сама научная деятельность должна быть деспециализированной, разнообразной[190]. Но достаточно ли этого? В современном мире действует немало «экспертов» по всем вопросам сразу, но их мнение считается «компетентным» постольку, поскольку совпадает с заказом руководящих элит. Дело не только в специализации работы с информацией, но и в самой организации информационного пространства, зависящей от социальной организации в целом.

Маркс считает, что в будущем обществе, освободившемся от господства капитала (а значит – и системы машин), “мерой богатства будет отнюдь уже не рабочее время, а свободное

время"[191]. Чем занято свободное от труда время? Научным творчеством? Но это, по Марксу, тоже труд. Освободившись от труда. Человек должен занять себя другим трудом? Тогда почему это время – «свободное»?

Изъяны терминологии Маркса начинают перерастать в неопределенность его социальных целей. Технологическое развитие влечет человека к свободе. К чему тогда революционный социальный проект – все совершится и так. Человек получит свободу от... (от обязательной работы, от требовательности начальника, от узаконенной кражи его зарплаты предпринимателем). Но негативная свобода («свобода от...») бессмысленна без позитивной свободы («свободы для...»). Зачем человеку свобода, и в чем ее позитивное содержание?

Маркс отказывается от идеи упразднения труда как такового. Гораздо подробнее в своих ранних рукописях Маркс разрабатывает идею преодоления отчуждения труда: «отчужденный труд есть непосредственная причина частной собственности. Поэтому с устранением одной стороны должна пасть и другая»[192]. Из этого следует, что без устранения отчуждения не может пасть и частная собственность, «чуждость». Поразительным образом Маркс в дальнейшем исходит из обратного, борясь со следствием, и забывая о причине[193].

Если видеть корень явления в «чуждости», в разделении на свое и чужое, то все снова сводится к частной собственности, что значительно снижает уровень обсуждения, ибо и господство, и специализация – явления более фундаментальные, чем частная собственность – юридическое оформление социальных отношений.

Понятие «отчуждение» вошло в социальную мысль благодаря наследию гегелевской философии. Точнее, речь идет о трех терминах, имеющих юридическое происхождение, которые можно трактовать как «утрата предмета» и «прекращение отношений». У Гегеля термины «Veräußerung», «Entäußerung», «Entfremdung», обычно переводимые на русский как «отчуждение», различаются, представляя различные фазы процесса «овнешнения», «опредмечивания». Проанализировав употребление Гегелем и Марксом этих терминов, Э.В. Ильенков приходит к выводу, что именно «Entfremdung» является термином, который у Маркса означает особое социальное отношение, по выражению Ильенкова «превращение продукта труда в растущее тело капитала», в которое перерастает простая потеря чего-либо (тоже «отчуждение», но в обыденном смысле слова)[194].

Маркс использовал эти термины, употребляемые иногда через запятую, для исследования социально-экономических отношений.

В капиталистическом обществе «это осуществление труда, это его претворение в действительность выступает как выключение рабочего из действительности, опредмечивание выступает как утрата предмета и закабаление предметом, освоение предмета – как отчуждение»[195]. В действительности человека закабляет не предмет (иначе Маркс был бы фетишистом), а отчуждающие предмет социальные отношения. Результат деятельности работника становится ему чужд, утрачивается им, если он производит нечто не для себя. Всегда ли так? Тогда отчуждение было бы неизбежно. Важно, что процесс труда осуществляется так, что условия чужды работнику, что он

функционирует, как предмет, инструмент. Он отчужден от процесса деятельности. Таким образом, получается, что эта чуждость – результат навязывания условий труда работнику.

Маркс не делает следующего шага, который логически следует из нефетишистского понимания отчуждения: если условия производства – результат «выключения», то «выключение» осуществляет структура, навязывающая работнику такие условия. «Отчуждение» вызвано властью, принуждением к труду. Анализируя первоосновы угнетения, необходимо разобрать его микросреду, полис, непосредственно окружающий человека. Но Маркс ищет причины не в полисе, а в поле, не в микро-, а в макросреде. И ситуация становится менее конкретной: «труд является для работника чем-то внешним, не принадлежащим его сущности», он «в этом труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным», что является признаками «самоотчуждения», то есть отчуждения самого себя[196]. В итоге получается, что, подчиняя свою деятельность внешней среде, человек испытывает страдания, отчуждается от самого себя, от собственной сущности как человек, а значит – и от других людей. Получается общество человеческих атомов, соединенных в целое через чуждую им организацию труда. Эта организация здесь выступает уже не как угнетающая воля, а как некий абстрактный принцип. В чем он состоит и из чего вытекает? Касается ли это любой среды, или только существующего капиталистического общества? Что нужно изменить в среде человека, чтобы он «соединился» и со своей человеческой сущностью, и с процессом деятельности?

Маркс считает, что человек отчуждается от своей «родовой сущности», то есть от самого человеческого качества. Но в чем заключается отличительное свойство человеческого существа, его «родовая сущность», от которой происходит отчуждение?

Отчуждение труда возможно постольку, поскольку его может кто-то или что-то присваивать. При упрощенном понимании процесса это – класс эксплуататоров, который изымает продукт у работника. Об этом давно говорили «утописты». Эксплуататоры потому могут осуществлять присвоение, что они обладают властью либо способностью обманывать. «Утописты», а за ними и Маркс потратили много сил на разоблачение этого обмана – неоправданной сверхплаты хозяев и недоплаты тружеников. Собственно, различные экономико-философские модели и образы подтверждали то, что и так невооруженным глазом было видно – кто трудится в поте лица, тот бедствует, а кто ведет праздную жизнь – пребывает в роскоши. В чем причина того, что это возможно? Сначала, может быть, и обман, но когда жертвы обмана потребуют свое назад – эксплуатация все равно сохраняется.

История многочисленных восстаний против угнетателей давала один и тот же результат – победа господствующей элиты, касты, либо разрушение данного общества и создание нового – обязательно с новой кастой[197]. Дело не только в том, что у элиты есть силы поддерживать свою власть. Для нее есть социальная ниша. Существует объективная необходимость в касте, отчуждающей продукт в свою пользу. Она выполняет некоторые полезные функции, которые нужно поддерживать – с угнетателями или без них. Но если без них, то следует объяснить, как поддерживать эти функции или как без них обойтись – преодолеть само существование этой ниши.

Специализация, которая до известного времени является неизбежным спутником культурно-технологического развития, предполагает выделение организующей социальной группы. Ее существование обусловлено социальной необходимостью согласования специализированных функций в обществе. Без этой ниши специализированная структура не сможет работать. Число возможных вариантов ограничено: либо сохранение касты, либо какой-то иной путь согласования, либо – преодоление специализации.

Максимальный пределов ниша касты достигает в индустриальном обществе, успехи которого напрямую связаны со специализацией. Без специализации был невозможен рост количества и среднего качества массовой продукции – продукции для всех. Соответственно, и ликвидация «отчуждения» как специализации возможно лишь при условии, что качественное выполнение работы может быть связано с де-специализацией. А это требует культурных и технологических предпосылок, без которых не-специализированная деятельность будет подобна графомании – личность, реализуясь в творчестве, доставляет тем удовольствие только себе.

В условиях разделения труда результат труда потребляет как правило не тот, кто его производит. Но потребитель тоже включен в процесс труда, он тоже работник, а не эксплуататор. Таким образом, из постановки проблемы отчуждения вытекает две темы: отношения производителя и потребителя, и отношения эксплуататора и эксплуатируемого (угнетающего и угнетателя).

Пытаясь охватить все поле межличностных отношений, Маркс ищет «отчуждение» в посреднике между производителем и потребителем. Чтобы обнаружить исток «отчуждения», он обращается к временам, когда посредника между ними не было. И это приводит Маркса к логической ошибке. Смысл термина «отчуждение» произвольно меняется по сравнению с тем, о чем речь шла выше. По мнению Маркса во времена варварского натурального хозяйства, когда «капитал и труд еще объединены»[198], «отчуждения» нет. Значит ли это, что человек полностью реализует себя в процессе труда? Наслаждается трудом, таская бревна для хижины или часами преследуя животное на охоте? Сомнительно. Еще нет отчуждения труда, а «отчуждение» как нечто внешнее, в чем работник не утверждает себя, где он закабален трудом как необходимостью – уже есть. Кто является «отчуждающей стороной», когда социального слоя эксплуататоров нет? Труд определяется не творческими намерениями человека, а диктатом необходимости, циклом природы, условиями выживания и произрастающей на этой почве традицией. Разделения труда и капитала еще нет, а «отчуждение», навязанный характер труда – есть.

«Отчуждение», в котором Маркс видит причину мучений работника, в действительности существует вне связи с разделением труда и капитала. «Отчуждение», при котором труд является для человека «чем-то внешним» (со всеми вытекающими последствиями, упомянутыми Марксом) – это вынужденная сторона деятельности. «Отчуждение», о котором пишет Маркс, прослеживая основные этапы экономической истории – это разделение функций работника и управленца, труда и капитала, производителя, торговца и потребителя. Поскольку корень отчуждения был заявлен во внешнем факторе, связывающем отчужденных людей, то, наблюдая современное Марксу общество, его легче всего найти в рынке и деньгах, как «чуждом посреднике». «Таким образом, его рабство

достигает апогея», и возникают возможности снятия отчуждения, причем тем же путем, каким шло самоотчуждение[199]. То есть, вероятно, путем ликвидации «чуждого посредника», преодоления специализации и разделения труда и капитала. Но это – разные задачи. Одно дело – устранить «посредников» – частных собственников, торговцев, деньги в конце концов (то есть – следствия), другое – осуществить такую перестройку социально-технологической структуры, при которой исчезает «отчужденный» (а точнее – воспроизводящий) труд.

Описывая «отчуждение», Маркс затрагивает различные, хотя и взаимосвязанные явления: господство (навязывание поведения) и специализация (сужение функций деятельности с целью повышения ее качества и эффективности). Специализация ведет к разрыву человека со своей целостностью, к подавлению в человеке части его потенций. Каково соотношение господства, специализации и «отчуждения»? Господство определяет возникновение внешних, «чуждых» человеку условий. Поскольку речь идет о чем-то большем, чем эксплуатация («отчуждение» продукта), то использование термина «отчуждение» применительно к господству является неудачным, затемняющим суть явления. Господство не разъединяет и «овнешняет», а создает связь между социальными слоями (господствующим и угнетаемым, эксплуататором и эксплуатируемым). Можно говорить о том, что господство «омертвляет» человека, превращая его в инструмент чуждой воли и тем действительно вытесняя в нем собственно человеческие функции. Но при этом следует учитывать, что инструментализация может происходить не только за счет собственно человеческого, но и животного начала.

Господство может существовать даже до появления социальной иерархии (когда по Марксу «отчуждение еще не существует») и вызывать те явления, которые Маркс считает результатом «отчуждения». При господстве первобытной традиции человек, еще мало отличающийся от животного, в своей собственно человеческой ипостаси тоже несчастлив, вероятно даже более несчастлив, чем при капитализме.

С появлением социальной иерархии (вследствие специализации, разделения управленческого и физического труда) господство становится основой эксплуатации – перераспределения ресурсов в пользу господствующей касты. Корень эксплуатации не в том, что каста берет себе «больше, чем положено» (как полагали противники капитализма, надеявшиеся решить проблему с помощью возвращения работнику «прибавочной стоимости» и других добавочных выплат), а в самой возможности определять сверху пропорции распределения (поэтому эксплуатация сохранялась и в СССР). Каста не «присваивает» продукт, а господствует, по своей воле (а не по воле работника) направляя его потоки, в результате чего сам продукт попадает вообще третьим лицам (потребителям), которые и осуществляют его итоговое присвоение.

Туманность и двусмысленность марксова термина «отчуждение» вызвана тем, что он пытается с помощью гегелевского инструментария найти универсальное объяснение разнородных явлений, вызванных господством и специализацией. Может быть, эти два явления в свою очередь вызваны «отчуждением» как общей причиной?

Мы видели, что господство (и, соответственно, часть явлений, которые Маркс приписывает действию «отчуждения») существует до «разделения труда и капитала», поскольку вообще поведение человека и направление его деятельности определяется внешними (в частности – природными) силами. Социальное господство и разделение появляются с возникновением социальной иерархии, власти.

Причину появления господства и социальной специализации нельзя найти, изучая капитализм – общество, в котором эти явления давно развиваются. Исток явления – в древности, все в том же появлении в животной среде качественно нового, человеческого начала. Такие различия неизбежно вели и к специализации, и к господству одних функциональных групп над другими. Соответственно, и преодоление господства возможно только при восстановлении социальной однородности. Но не на стартовом животном, а на высшем, креативном (творческом) уровне.

Маркс считает вторичные (и исторически, и логически) отношения обмена, рыночного посредничества высшей степенью «отчуждения»: «Так как деньги есть образ всех других товаров, отделившийся от них, или продукт их всеобщего отчуждения, то они представляют собой абсолютно отчуждаемый товар»[200]. Но деньги, как и собственность – лишь следствие отчуждения продукта от производителя. Устранение товарно-денежных отношений не устраняет «отчуждения» и тем более – господства и специализации. История XX века покажет, что сужение сферы действия товарно-денежных отношений может даже увеличить степень «отчуждения».

Если угодно называть обобщающим термином воздействие господства – специализации на работника, то термин «отчуждение» и здесь односторонен, ибо здесь проявляется как разделение («чуждость»), так и соединение в социальную структуру.

Причина «чуждости» заключается в специализации и господстве, и «отчуждение» оказывается не причиной, а одним из их следствий. Поэтому если необходимо показать взаимосвязь специализации и господства, уместнее говорить не об отчуждении, а об угнетении (как социальных слоев, так и свойств человека) в результате возникновения иерархической социальной структуры.

Термин «отчуждение» более правомерен в определении отношения человека и человеческих свойств. Но в последнем случае речь идет скорее об угнетении этих свойств, так как без человека они не существуют и, следовательно, происходит не прекращения связи, а ослабление самих свойств. В русском языке слово «угнетение» в большей степени пригодно для описания отношений между социальными группами, а также между институтами и человеком, человеком и его свойствами. Частный случай угнетения, связанный с подавлением и принуждением, можно называть «господством». Слово «отчуждение» адекватно определяет состояние изоляции человека или группы, а также прекращение их связей.

Угнетение является частным случаем более широкого и оценочно нейтрального явления – давления среды: природной и социальной. Возникновение этого давления неизбежно, поскольку человек сам воздействует на среду и на себе подобных, дабы удовлетворить свои

изменчивые потребности. Источником давления является деятельность человека или группы, в которую он включен. Это давление нарастает в результате стремления человека и социальной группы изменить что-то в структуре среды или своей социальной ниши (либо сохранить их в условиях детерминированных извне перемен).

Человек может выбирать, как реагировать на давление. Адаптироваться, подобно животному, или бросить вызов давлению, пытаясь воздействовать на давящую структуру, меняя ее. Адаптация в меняющемся человеческом обществе – это лишь стратегия постоянного отступления. Она предполагает капитуляцию перед давлением, определяющим направление деятельности человека извне.

Давление в иерархическом обществе распределяется неравномерно. Отсюда стремление к равноправию, к более равномерному распределению давления, к социальной свободе и социальной защите, возможности менять социальные ниши – более давящие и деятельностные и более стабильные, защищенные от давления. Важно, способен ли человек самостоятельно регулировать давление и направление своей деятельности. Если нет – он угнетен.

Из-за терминологического смешения у Маркса переплетаются два разных вопроса: возможно ли преодолеть противоречие между производителем и потребителем, и возможно ли преодолеть разделение труда и капитала, антагонизм управляющих и управляемых?

А. Исаев вводит понятие «технологического порога отчуждения», который изменяется по мере развития человеческой культуры. Этот «порог отчуждения» следует отличать от социального [201]. Каста стремится к гораздо большему господству, чем это необходимо с точки зрения экономической эффективности и обеспечения благосостояния большинства населения. Снижение уровня социального отчуждения до уровня технологически-необходимого – предмет противоборства между господствующей элитой и остальным обществом.

Чем более консолидирована, авторитарна и монополистична каста, чем более раздроблено и угнетено общество, чем выше уровень эксплуатации труда в нем – тем выше социальный порог отчуждения, тем дальше отходит он от технологического порога, точнее – культурного порога «отчуждения» (точнее, господства, угнетения).

Борьба между социальным и технологическими порогами составляет содержание социальной борьбы, причем попытка перейти технологический порог приводит к деградации производства (как, например, во время «военного коммунизма» в России).

Является ли культурный порог угнетения некоторой независимой от социальных преобразований данностью? (как, составляет содержание социальной борьбы, причем попытка перейти технологический порог приводит к деградации производств

Либерально-марксистское течение склонно преувеличивать технологический детерминизм в современном обществе. Не социальные перемены (иногда — революционные), а распространение информационных технологий по мнению этих авторов само по себе

означает качественную перемену в развитии общества: “Не революция и экспроприация, а развитие производства до уровня “научного” делает общественную собственность не только культурной, но и социальной реальностью”[202] — считает В.М. Межуев. Почему? “Производство, в котором наука играет решающую роль, Маркс называл “научным производством”, отличая от фабрично-заводского, а мы сегодня именуем постиндустриальным”[203]. Правда, автор не приводит ссылку на столь провидческое, “постиндустриальное” высказывание Маркса, лишая читателя возможности оценить его контекст. Ему приходится обосновывать свою мысль за Маркса: “Ведь соединение человека с знанием в процессе труда (в отличие от его соединения с вещественными орудиями труда) не может осуществляться по принципу частной собственности, поскольку наука не является объектом частного присвоения”[204]. Это смелое утверждение, если вспомнить, что бизнес давно выработал эффективные средства защиты интеллектуальной собственности, и частные компании не спешат бесплатно делиться своими научными разработками. Так что наука может быть объектом частного присвоения. Важно иное — она может им не быть в силу делимости информации без значительных энергетических затрат. Наука не меняет характера труда сама по себе, так как вполне совместима и с индустриальным технократизмом. Она является не достаточным условием социального сдвига, а только его предпосылкой. Эволюция технологии – необходимое, но недостаточное условие для перехода к принципиально новому (например, пост-индустриальному) обществу.

От науки либерально-марксистский автор переходит к культуре: “Но что это за богатство, которое принадлежит каждому без ущерба для других, не убывает от того, что им распоряжается каждый, а значит, не требует в свое пользование никакого дележа? Здесь мы подходим к главному. Таким богатством, видимо, могут быть только те средства и условия труда, которые, по своей природе являются “всеобщими”... под общественной собственностью следует понимать собственность на культуру в целом, на все то, что служит условием производства самого человека как “основного капитала”. Наряду с наукой к ним относятся искусство, образование, источники и средства информации, формы общения, различные виды общественной и интеллектуальной деятельности. Собственность на них делает человека не имущественно, а духовно богатым существом, чье богатство заключено в его индивидуальном развитии. Общественная собственность тем самым — не экономическая, а культурная категория, обозначающая обобществление “духа”, всей человеческой культуры. В появлении такой собственности дает о себе знать историческая тенденция перехода не к свободной экономике (рыночной или какой-то другой), а к свободе от экономики, от необходимости быть тем, кем индивид является в обществе по своей социальной функции или роли”[205]. Свобода от экономики отдельных людей и тем более общественная собственность (при чем не только на культурные богатства) существовали всегда. Так что об их появлении говорить поздно. Вопрос в том, что преобладает в обществе. В то же время частное присвоение культурного наследия, произведений искусства, результатов интеллектуальной деятельности и средств информации — органическая часть экономики, поэтому отождествление этой сферы с общественной собственностью, которая сама по себе “освобождает” человека от экономики — явный отрыв от реальности. И он не случаен. Идеологическая доктрина правящей в странах запада элиты утверждает, что произошел качественный сдвиг от индустриального к постиндустриальному обществу. Не происходит, а произошел. Подмена возможности совершившимся фактом нужна именно для того, чтобы обосновать ненужность социальных

перемен, достаточность только технологических и культурных сдвигов. Либеральные марксисты вносят свой посильный вклад в доказательство этого тезиса. Но сами доказательства противоречат очевидным фактам: информационные технологии и культурное творчество пока развивается под контролем касты — государственных и предпринимательских структур. Информационно-культурная элита может развиваться свободно от управленческого диктата, но это — только потенция. Для этого необходимы качественные социальные изменения. Но либерально-марксистский синтез не предлагает перспективы таких сдвигов, а удовлетворенно рапортует: искомое Марксом глобальное общество уже достигнуто «в основном». Экономическое развитие планируется фактически из единого центра взаимосвязанными транснациональными корпорациями, которые руководствуются не отношениями собственности, а технократическим рациональным расчетом. К тому же обобществление экономики (и даже ее преодоление) идет семимильными шагами и позволяет обеспечить высокое благосостояние рабочего класса стран «золотого миллиарда».

Те, чьи материальные запросы «в основном» удовлетворены, не должны смущаться тем, что система, их удовлетворяющая, построена на угнетении и господстве. Обеспечивая рост материальных благ, она не гарантирует того же самого в области духовной, творческой культуры. Платой за сытость является контроль над сознанием. Впрочем, там, где исчезает активное участие человека в организации его жизни, качество этой жизни тоже ухудшается. Как говорили анархисты времен Перестройки, «там, где исчезает свобода, рано или поздно исчезает и колбаса».

«Свобода от экономики» невозможна уже потому, что человек нуждается в материальных ресурсах. Поэтому он всегда будет привязан к той или иной экономике. Возможна свобода не от сферы («от экономики», «от политики», «от культуры»), а от организации — от деспотической организации и политики, и экономики, и культуры. Нынешняя глобальная организация культурного пространства деспотична, она основана на господстве узкой касты над ресурсными и информационными потоками. Именно поэтому соединение со знанием само по себе не освобождает человека. Утопичность проекта Просвещения, возлагавшего надежды на приобщение масс к достижениям культуры, вполне проявилась в XX веке. Просветительский проект не учитывал, что само знание вполне может быть проводником деспотичного мировоззрения, инструментом господства.

Человек не может существовать как Человек вне пространства Культуры, но он должен освободиться от господства, то есть от данной организации Культуры. Это значит, что он должен освободить от господства само поле глобальной культуры, к которому подключен. Эта грандиозная задача не может быть выполнена немедленно, но она жизненно необходима Человечеству. Без этого происходит затухание творческого духа в среде животных инстинктов, и Человек перестает быть таковым.

Традиционное общество работает по законам животного мира, в его основе лежит воспроизводство. Индустриальное общество основано на машинном производстве, оно превращает и социум в машину, а человека — в деталь, инструмент, предмет. Опредмечивание человека вело к угнетению его свойств до уровня одномерной функции, к

отчуждению его от самостоятельной воли, от «лишних» с точки зрения индустриальной организации жизненных проявлений. Узкая специализация «инструментов» отчуждала людей друг от друга. Усиливалось господство касты над остальным обществом в качестве универсального согласующего звена. Самые разные виды угнетения, господства и отчуждения, о которых с горечью и гневом писали социальные философы XIX-XX вв., было результатом индустриального опредмечивания человека, его узкой специализации и стандартизации. Животное начало в человеке, господствовавшее в традиционном обществе, вытеснялось неживым, предметным. А где же собственно человеческое, то, что отличает человека и от животного, и от инструмента? Об этом, как мы видели, немало думал и Оуэн. Отказываясь от капиталистической современности, он не собирался возвращаться в животное прошлое. Его община задумывалась как интеллектуальная, ее жители сами должны были моделировать, а затем творить условия собственной жизни, не навязывая их силой.

Развитая способность моделировать и творить новое, создавать новые формы природы и собственной организации отличает человека от других существ. Развитая способность к творчеству является следствием такого свойства Человека, как способность фиксировать абстрактную информацию на материальном носителе. Эта способность позволяет осуществлять не индивидуальное, а коллективное, опосредованное культурой моделирование и реализацию нового. Другие существа, насколько известно, не обладают такой возможностью. Если не считать зачаточных форм творчества, другие живые существа способны либо к индивидуальному моделированию реальности в сознании (иногда даже созданию абстрактных моделей), либо к коллективному воспроизводству врожденных образцов.

Из этого следует, что содержание позитивной свободы – собственно человеческая деятельность – это социальное, интеллектуальное, художественное и духовное творчество, осуществляемое в поле культуры. Из этого же следует, что человеческая личность может быть превращена в инструмент культуры. Это значит, что человеческое начало, его субъектность, снова подавлено, человеческое начало погашено. Поле культуры – условие развития человеческого начала, но оно же – и угроза ему.

Роль, которую технология играет в современном мире, дает множество аргументов в пользу технологического детерминизма. Но развитие технологии в свою очередь обусловлено более широким полем культуры. Авторы изобретений – дети своего времени. От самого изобретения до внедрения – долгий путь, который должна обеспечить социальная структура. Древние римляне изобрели паровой двигатель, но чтобы он из игрушки превратился в двигатель прогресса, нужна была другая социальная структура, нужно было пройти через корпоративную структуру средневековья, готовившую производственную специализацию – предпосылку для разделения труда между механизмами и машинами.

Взаимозависимость социальной, культурной и технологических сторон развития общества помогла Марксу поставить вопрос о взаимоотношениях производительных сил и производственных отношений. Если очистить эту дилемму от экономического детерминизма, свойственного эпохе Маркса, то возникнет вопрос о взаимозависимости

технологии и социо-психологии, искусственного мира и внутреннего мира человека, его культурного уровня. То один, то другой вырываются вперед. И культурный уровень сдерживает развитие технологии (люди не готовы принять изобретения или даже освоить импортную технику), и технология – развитие культурного уровня (техника требует определенных свойств производителя, что приводит к одностороннему развитию человека, атрофии его духовных и телесных качеств, угнетающей усталости; технические средства избавляют человека от необходимости выполнять самому не только рутинные, но и творческие задачи). Ускоренное распространение потребительских технологий в начале XXI века вовсе не вызывает взлет творческого развития масс, порождая толпы виртуально-зависимых мещан, обменивающихся примитивными эсемеками с впечатлениями о «телках» и «клевых сериалах».

Преодоление угнетения (с оговорками – «отчуждения»), порожденного специализацией, обусловлено и технологически, и социально-культурно. Чтобы труд человека стал более разносторонним и творческим, нужно выполнить как минимум два условия – человек должен быть культурно подготовлен к выполнению творческой деятельности, и должна существовать социальная ниша, востребующая его творчество. А это зависит от социальной организации и наличия соответствующих технологий, востребованных обществом.

«Отчуждение» работника от средств производства осуществляется любой индустриальной организацией, которая жестко делит участников деятельности на творцов-управленцев и работников-исполнителей. Это не зависит от формы собственности – частной или государственной. Сам принцип монополии (собственности и автократии) вытекает из разделения людей на касту (собственников или правителей) и исполнителей их решений — из социального отчуждения, разделения. Достижение свободы не только для касты, а для большинства людей – это преодоление социально-закрепленной специализации. Технологическое развитие не обеспечивает свободы от угнетения свойств человека, потому что это свойства человека, а не машины. Решение проблемы находится в другой плоскости, в плоскости человеческой организации, социальных отношений.

В индустриальной системе одни люди создают модель продукта, а другие должны точно выполнять инструкции по его производству. Иначе машинное производство просто не сможет действовать, так как оно основано на стандартизации. Значит, для преодоления угнетения должна быть изменена эта организация общества. С одной стороны, уровень господства должен снижаться за счет укрепления механизмов демократии – обратной связи между элитой и остальным обществом, открытости каналов вертикальной мобильности, передачи как можно больших полномочий на низовые уровни или самоуправлению. Для демократии существует «культурный порог господства» – неспособность простых людей вникать в принятие некоторых решений из-за отсутствия знаний и достаточной политической культуры. Однако демократия – «упругая среда»: чем больше демократии, тем больше демократического опыта у населения. Плавное приближение власти к низовому уровню расширяет количество людей, которые готовы к участию в эффективном принятии решений. В этом отношении можно говорить о «законе» демократического давления на политическую культуру: по мере повышения уровня демократии и снижения уровня господства повышается уровень массовой компетентности в общественных делах,

способности «низов» формировать горизонтальные структуры, способные обходиться без верхов, без иерархических вертикальных структур.

Социализм выступает за непрекращающееся «демократическое давление», которое в итоге позволит добиться снижения господства до минимума, когда любой желающий может принимать компетентное участие в решении вопросов, его касающихся.

Но это давление встречается с сопротивлением касты и тех слоев, которые наиболее тесно связаны с ней. Для того, чтобы оказывать сопротивление давлению горизонтальных структур, вертикальные структуры имеют важное преимущество – они опираются на фундаментальное разделение труда: между творчеством, созданием моделей жизни (будь то технические средства, социальные идеи или верования) и их воплощением, реализацией.

«Демократическое давление» упирается в «порог разделения труда», при котором кто-то должен согласовывать работу специалистов, «подобных флюсу», кто-то должен творить модели, а кто-то – прилагать усилия к воплощению придуманного другими. «Отчуждение», о котором пишет Маркс, основано на том обстоятельстве, что одни люди лучше подготовлены к творчеству, а другие – хуже, и поэтому вольно или невольно принимают идеи других. И это – изначальная почва как для господства, так и для специализации. Может ли быть преодолено это разделение функций между людьми-творцами и людьми-исполнителями?

Постмарксистский философ Т.И. Ойзерман, распрощавшись с коммунистическими убеждениями, задался вопросом: «Не является ли сама идея поголовного участия всех трудящихся (в управлении государством – А.Ш.) утопической или, выражаясь современным языком, популистской идеей? Мне думается, что положительный ответ на этот вопрос не требует теоретического обоснования. Тем не менее, я все же сошлюсь на специальное исследование современного российского юриста-государствоведа, который со всей определенностью отмечает: «Любая форма управления делами государства не способна полностью обойтись без отчуждения большей или меньшей части населения от власти, в частности, от управления имуществом, от правотворчества и применения законов. Это просто невозможно. Одна из наиболее привлекательных идей коммунизма (и анархизма) – каждый может непосредственно управлять государственными делами – в начале XXI в. кажется еще более утопичной, чем в начале XX в. Сохраняющаяся необходимость такого отчуждения сама по себе будет воспроизводить основания зависимости гражданина от чиновника на протяжении всей обозримой перспективы»»[206].

Ученнейший государствовед не знаком как с учениями коммунизма и анархизма, которое взялся критиковать (с точки зрения анархистов управление государственными делами может осуществлять только господствующая элита, а никакой не «каждый» – анархисты выступают за преодоление государства в еще большей степени, чем коммунисты), так и с информационными возможностями, которые вполне проявились к началу XXI века. Впрочем, ссылка на «обозримую перспективу» все проясняет – у государствоведа и ссылающегося на него философа просто очень короткая дальность обозрения. По существу они объявляют то ли утопической, то ли популистской (это не одно и то же) идею демократии в корне. Демократия предполагает, что каждый гражданин имеет возможность в той или иной степени участвовать в управлении государством хотя бы в таких формах, как выборы

(принятие решений о комплектовании государственных должностей) и референдумы (принятие решений по некоторым вопросам). А ведь это – как раз правотворчество. Что уж говорить о таких формах участия в государственных делах, как местное самоуправление. «Явная утопия и популизм».

Отгородившись от социалистического наследия, выступавшего за распространение демократии за пределы парламентской сферы, либеральная мысль деградирует к авторитаризму, абсолютизму, отрицанию демократии в принципе. И это логично – или простой человек может участвовать в принятии решений, и тогда – нет оснований загонять демократию в парламентское гетто, нужно распространить демократию на разные сферы жизни, включая производство. Либо он – не может. И тогда нечего играть в выборы, а нужно, чтобы чиновники назначали друг друга, вовсе не считаясь с настроениями «невежественного» народа. То, что в либерализме скрыто как неразрешимое противоречие, в социализме обсуждалось прямо.

Социальное господство – это первая форма специализации, закреплённой принудительно, властно. Это явление лежит в основе развития социальной иерархии, порождающей многообразные формы угнетения («отчуждения»).

Разделение на управляющих и управляемых, творцов и исполнителей – необходимое условие развития человеческой культуры эпохи традиционного и индустриального общества. Несмотря на то, что преодоление господства также требует культурных и, в частности, технологических предпосылок, организационная возможность значительного снижения господства одних слоев над другими, существует уже в индустриальном обществе. Эта возможность называется «самоуправление», «демократия», «защита прав». Индустриализм в силу своих фундаментальных особенностей препятствует полноте демократии как на уровне политического поля, так и в производственном микромире, но создает предпосылки для самого процесса их развития, в дальнейшем подрывающего основы индустриализма. Человек становится более грамотным, он привлекается к обсуждению общественно-значимых проблем, информация становится более доступной. Вовлечение масс в политическую жизнь, включение их в «демократические» ритуалы выборов, вступает в противоречие с производственной ролью работника как инструмента. «Демократия» инструментов – парадокс индустриального общества. Этот парадокс разрешается либо путем тоталитарной консолидации масс, либо путем манипуляции их сознанием, либо – по мере преодоления самого индустриального общества с его базовой специализацией классовых функций.

Самоуправление — преодоление разрыва между управляемым и управляющим, остается единственным не опровергнутым пока на практике путем к преодолению господства, организованного насилия человека над человеком, отчуждения личности от ее человеческой сущности. Противоречивый опыт самоуправления в XX в. показывает, что индустриальные принципы организации жизни и, в частности, производства не способствовали автономии личности и коллектива, связанной с самоуправлением. Несмотря на эту тоталитарную тенденцию, самоуправление было естественным требованием социальных и гражданских движений, так как позволяло снизить уровень господства

властной и технократической элиты над производителями материальных и духовных ценностей. Многим участникам и лидерам социальных движений представлялось, что самоуправление может заменить авторитарные структуры общества и в этом случае вовсе преодолеть современное общество, основанное на господстве и эксплуатации. Однако культурный разрыв между элитой и остальным населением, организационно-техническая структура индустриального общества, консолидация правящих элит против самоуправленческих движений — все это позволяло подавлять или интегрировать локальные достижения сторонников самоуправления. Последний путь заставлял касту вводить элементы производственной и локальной демократии в структуру современного общества. В то же время некоторые локальные самоуправленческие инициативы нашли возможность так урегулировать свои отношения с окружающим миром, чтобы сохранить свою альтернативность ему без видимой конфронтации.

Сегодня, в условиях кризиса индустриальной цивилизации, самоуправление по-прежнему остается еще неиспользованным ресурсом человечества. Основой для качественного изменения общества могут стать и альтернативные проекты настоящего, и будущие массовые социальные движения под флагом самоуправления. Станет ли самоуправление магистральным путем в будущее или элементом грядущих преобразований, насколько человечество будет в состоянии реализовать цели, выдвинутые антиавторитарным социализмом?

Непосредственное участие большинства людей в принятии решений, то есть демократия объективно легче развивается в микросреде, небольшом пространстве («полисе»), нежели в масштабах целой страны и тем более – нескольких стран. Количество информации, которую человек может освоить, ограничено, а условием демократии является осведомленность гражданина о решениях, которые он обсуждает. Угнетение первоначально может быть преодолено только в микросреде. Полис становится моделью и в то же время основой, исходным пунктом новых отношений.

«Полис» (община, самоуправляющийся коллектив, сообщество) – это плацдарм для наступления личности в социально-культурном поле. «Полис» защищает, но он же и ограничивает. Если в «полисе» возможна демократия как самоуправление, то встает вопрос о защите его от внешнего поля, которое нельзя контролировать также, как полис.

Чтобы рядовой человек мог быть компетентным участником жизни поля, оно должно быть реорганизовано на понятных ему принципах: либо упрощено так, чтобы каждая часть поля была подобна другой, либо усложнено настолько, что каждая часть поля была своеобразна, но в силу этого – автономна, и большинство решений, ее касающихся, принималось только ее гражданами. Первый вариант отдает поле во власть «всех вместе», а не кого-то в отдельности. Но это значит, что никто не сможет воздействовать на него в соответствии со своей волей, и общество будет развиваться под действием законов собственного устройства. Во втором случае воздействия будут многообразны, но локальны, и полисы будут преобладать над полем и защищены от него.

Прудон не боится многообразия, предлагая лишь обеспечить каждому его фрагменту (предприятию, территории, субкультуре) одинаковую устойчивость к ударам внешнего мира

(нации, государства, рынка).

Маркс опасается распада целого общественного поля на полисы, но стремится сделать само поле безопасным для человека, уничтожив в обществе саму почву для «отчуждения» и обмана. Но только где эта почва? В деньгах, рынке, частной собственности? Собственности вообще, нерациональности стихии? Маркс видел перед собой непосредственные причины данной конкретной капиталистической эксплуатации – частную собственность, капитал, товарно-денежные отношения. Его социально-политический проект был априорно направлен именно против них. Философский поиск, связанный с «отчуждением», не был доведен до логического завершения, и Маркс сосредоточился на более актуальной для него задаче критики капитализма и на поиске пути его преодоления.

Революция и классы Не признавая родства с Прудоном (и справедливо, ибо Маркс шел за Прудоном как экономист, но не как идеолог), марксизм признает свое ученичество у утопистов. Действительно, они предшествуют Марксу во многих положениях критики капитализма и частной собственности. Но марксизм игнорирует многие важные достижения социалистической мысли первой половины века: ненасилие и антиэтатизм Оуэна, различие воспроизводящего труда и творчества, о котором писал Фурье. Для Маркса и Энгельса быстро определились главные социалистические идеи, наиболее полно гармонизовавшие с гегелевской философией: цельное, однородное непротиворечивое, рациональное общество может быть установлено путем революционного отрицания частной собственности. И сделать это может тот слой общества (класс), который уже собственности лишен – пролетариат.

Как и все социалисты того времени, Маркс критикует обнищание масс, которое вытекает из капиталистической организации труда. Из этой же организации вытекает множество других последствий. В современной Марксу индустриальной организации было немало того, что могло стать (и стало) прологом будущего (например, рост влияния организаторов производства, не имеющих капитала). Но именно в обнищавших массах как противоположности капиталистического процветания Маркс видит источник победы над капитализмом и создания нового общества. Только за лишенными собственностью пролетариями Маркс признает право представлять труд, хотя трудятся, разумеется, не только они.

«Эта противоположность труда и капитала, будучи доведена до крайности, неизбежно становится высшим пунктом, высшей ступенью и гибелью всего отношения»[207]. Такова философская логика гегельянства – найти наиболее острое противоречие и искать пути его «снятия» в нем самом (революция пролетариев против капиталистов), «очищая» проблему от сопутствующих «деталей» (социальная политика «буржуазного» государства, численное преобладание непролетарских классов и т.д.).

Но революционное действие нищей и хорошо организованной массы пролетариата – это не только философская формула, но и талантливое политическое «ноу хау» (сразу появляется «рычаг» для свержения существующей системы), и основа конструктивного идеала, сценария будущего. Общество будет состоять из людей, лишенных «своего».

В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс утверждают, что условием для ликвидации отчуждения является обнищание, лишение собственности пролетариата и в то же время богатство общества, развитие его производительных сил. Без этого богатства вслед за революцией распространится бедность, и снова начнется борьба хоть за какую-нибудь собственность, что приведет к воскрешению «старой мерзости». Пролетариат, таким образом, ценен для Маркса и Энгельса тем, что он привык обходиться без собственности. Но будет ли пролетаризация усиливаться по мере роста богатства общества в целом? Только философские парадоксы могли гарантировать это.

Во всем Маркс ищет антагонизм, иногда позволяя себе страшные «оговороки», в которых можно разглядеть деяния его последователей: «...производство начинает базироваться... на антагонизме труда накопленного и труда непосредственного»[208]. Труд непосредственный — это пролетариат. А труд накопленный? Капитал? Не только. Труд накапливается в культуре. Пролетариат, уничтожающий культуру предыдущей эксплуататорской цивилизации — визитная карточка XX в. Имущественная каста, подлежащая уничтожению (и не только социальному, но отчасти и физическому), неотделима от элиты культурной, старые социальные формы тесно связаны с культурной традицией. В этих условиях революционный взрыв, сознательное стремление к физическому столкновению людей, были чреватые культурной деградацией.

Проблема революционного насилия — одна из ключевых в социалистической мысли. Она развела не только Маркса и Прудона, и не только различные течения социалистов. Тысячелетиями проблема насилия разводит проповедников высоких идей, мыслителей и реформаторов. Социализм — принципиально новое общественное устройство, и может ли оно утвердиться, если не сломить физическое сопротивление тех, кому выгодны эксплуатация и деспотизм?

Удивительно, каким образом светлые идеи, основанные на приоритете ненасилия и личной свободы выливаются в кровавую резню. Нередко христиане бросают камень в социализм, указывая на кровавые последствия развития этой идеи. Но Христос не велел бросать этого камня. Ведь и он не велел убивать, а с именем его убивали не меньше, чем под красными знаменами.

Здесь кроется важная человеческая проблема, и, возможно, сравнение двух учений позволит нам приблизиться к решению загадки.

Проповедь Христа, содержащая в себе социальные принципы, часть которых будет потом воспринята социализмом (отношение к богатству, братская взаимопомощь, защита труда и др.), требовала от человека духовного порыва, большой самоотверженности и альтруизма. Христианское братство могло состоять из интеллектуалов и простых людей, но все они должны были быть готовы разделить хлеб с пришельцем и простить ему обиды. Ненасилие лежало в основе этого сообщества. Меч, который принес Христос в мир, является символом разделения на принявших и не принявших его учение, а не оружием в буквальном смысле слова. Оружием Христа и его истинных учеников является слово, а не насилие.

Но слово это падает на разную почву. Люди нетворческие, духовно и (или) интеллектуально неподготовленные воспринимали притчи буквально, да и прямые указания трактовали по-своему. Переход христиан к насилию над иноверцами был связан с союзом Церкви и Власти. Но власти не приказывали толпам народа громить язычников. Проповедник, мыслитель воздействует словом на сознание человека. Работник, имеющий дело с физическим преобразованием природы, может воспринять постулаты проповедника, но проводить их по-своему — с помощью физического воздействия на среду, в том числе на оппонента. Петра с мечом еще мог остановить Христос. Первые христиане в условиях гонений не могли не быть самоотверженными людьми. Но когда учение становится официальным, и оно овладевает массами не по сознательному выбору, а по принадлежности к стране и ее традиционной культуре, тогда физическая защита идеи становится неотъемлемой частью защиты отечества и культуры от внешних и внутренних врагов. Содержание идеи при этом отступает на второй план.

Что уж требовать от социалистической идеи. В XIX столетии политические течения еще не имели прочной прививки от насилия. Либералы и консерваторы выясняли свои отношения на баррикадах, миру был еще неизвестен окопный ужас и лагеря смерти. Проблема насилия была скорее вопросом тактики, чем принципа. Стремление рационально преобразовать страну или мир требовало военной победы, а готовность экспериментировать на себе давала возможность не прибегать к насилию (если не вставал вопрос о самозащите эксперимента). Физическое воздействие на противника гармонировало с принятыми тогда методами действия элиты (от иезуитов до либеральных революционеров), и с настроениями отчаявшихся и необразованных масс. Будущее виделось как романтическая борьба на баррикадах, движение революционных колон, дым сражений, а затем результат — свободное общество свободных людей. И лишь часть социалистических мыслителей, прежде всего французских, переживших или воспринявших от родителей ужас Великой французской революции, стали понимать, что в дыму сражений выковывается не свобода, а диктатура.

Собственно, Маркс Энгельс и не скрывали, что стремятся к установлению именно диктатуры. Но не любой, а именно диктатуры пролетариата. К началу революции 1848 г. эта диктатура виделась им как «завоевание демократии»[209], то есть переход власти к большинству или представителям большинства населения. Однако как будет выглядеть эта «демократия», как обеспечить принятие решений большинством хотя бы рабочих? В соответствии с «Манифестом коммунистической партии» «пролетариат использует свое политическое господство, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия труда в руках государства, т.е. пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил.

Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения», среди которых – экспроприация земельной собственности, высокий прогрессивный налог, отмена права наследования (позднее Маркс и Энгельс будут обличать Бакунина за приверженность этой идее), конфискация имущества эмигрантов и мятежников, банковская монополия

государства, расширение государственного сектора и создание промышленных армий[210].

Маркс и Энгельс не разъяснили, как будет выглядеть государство, эквивалентное организованному пролетариату. Конкретизация последует только после Парижской коммуны, программа которой, как мы увидим, будет следовать за идеями Прудона. В 1872 г. Маркс и Энгельс заявят о пересмотре своей программы под влиянием Парижской коммуны[211]. А пока, до 1872 г., до бакунинской критики и опыта Коммуны, речь шла о централизованном государстве, которое действует от имени рабочего класса и начинает управлять практически всей экономикой, начиная от банков и железных дорог и кончая имуществом умерших людей, которым теперь в соответствии с планом Сен-Симона наследует государство. Такое государство сохранится, пока общество не преобразуется в ассоциацию равноправных индивидуумов. Ведет ли предложенный путь к искомой цели, или план мероприятий «Манифеста» создает новый деспотизм, на деле исключая демократию? Современники Маркса, особенно ярко – Бакунин, предупреждали об угрозе второго исхода.

Политическая концепция «Манифеста» не оригинальна. Отстаивая идею коммунистической партии, Маркс и Энгельс следуют за О. Бланки. Звездный час Бланки – весна 1848 г., когда он стал лидером радикальных масс Парижа. Но власти отреагировали оперативно, и Бланки оказался в тюрьме, так и не начав коммунистический переворот.

Несмотря на то, что Прудон и Блан были противниками насилия, они приняли участие в революции 1848 г., и даже преуспели на политическом поприще более, чем революционер Маркс, который выдвинулся только в локальные демократические лидеры, в то время как Блан стал министром, а Прудон был избран в революционный парламент и развернул там борьбу за право на труд с помощью создания ассоциаций и общественного банка. Впрочем, Прудон не питал иллюзий по поводу прямых выборов депутатов и тем более президента: «Всеобщее избирательное право есть контрреволюция»[212].

Прудон недолго противопоставлял свой реформизм революции. С началом революции 1848 г. он стал активно участвовать в событиях, оказавшись на крайне левом фланге демократов. По мнению либерального историка Э.Д. Грима именно взгляды Прудона «вполне соответствовали существу среднего революционного настроения минуты»[213]. Оказалось, что революция – это как раз то, что ведет к осуществлению анархического идеала. В полемике с Марксом Прудон критиковал революционный заговор, а не массовое народное движение, которое анархисты (в отличие от революционного переворота и диктатуры) теперь станут называть социальной революцией. Логика революции окончательно заставила Прудона признать себя революционером и социалистом.

В «Исповеди революционера» Прудон обличал «буржуазную идею» не просто за стремление к прибыли, а за стремление привить «мораль интереса» всем классам, распространить религиозный, нравственный и духовный индефферентизм. «Людовик XIV царствовал благодаря идолопоклонству к его особе, Цезарь и Бонапарт – благодаря внушаемому ими чувству удивления, Сулла и Робеспьер – благодаря тирании, Бурбоны – благодаря реакции Европы против завоеваний империи. Людовик-Филипп первый, он единственный царствовал

благодаря презрению». Его слуги «были слишком похожи на своего хозяина. Чтобы иметь высокое мнение о нем»[214].

На митингах и в своей газете Прудон требовал вывода из Парижа регулярных войск, обеспечения полной свободы собраний, упразднения законов, «которые могли подать повод к разным толкованиям», допуска народных клубов к парламентской жизни. «Организация народных обществ была якорем спасения демократии, краеугольным камнем республиканского порядка»[215].

Во время революции 1848 г. Блан и Прудон снова оказались по разные стороны баррикад. Благодаря сотрудничеству в либеральной прессе Блан на момент начала революции был наиболее известным социалистом и был включен во временное правительство. Он оказался на левом фланге новой власти, и его социальные идеи приобрели огромную популярность.

Декларация Временного правительства 25 февраля, проект которой был написан Бланом, гарантировала всем французам право на труд. Правительство признавало, что «рабочие должны ассоциироваться между собой, чтобы пользоваться законным продуктом своего труда»[216].

16 апреля впервые после начала революции рабочая манифестация привела к вооруженному противостоянию в центре Парижа, которое на этот раз закончилось миром. «Социализм существовал с 1830 г. С 1830 г. сен-симонисты, фурьеристы, коммунисты, гуманитарцы и другие занимали публику своими невинными мечтаниями, и ни Тьер, ни Гизо не снизошли до того, чтобы заняться ими. Они тогда не опасались социализма, и они имели основания не опасаться его, покуда не возникало вопроса о том, чтобы осуществить его на государственные средства и силою государственной власти. После 16 апреля социалисты возбудили против себя страшный гнев: будучи ничтожным меньшинством. Они протянули руку за власть»[217], – писал Прудон о значении событий тех дней.

Давление рабочих и безработных, чреватое новым социальным взрывом, нарастало из-за неспособности революционного правительства проводить социальные реформы. Поскольку Блан был единственным специалистом по «рабочему вопросу» в правительстве, это давало ему массовую поддержку в Париже, которой не могли похвастаться другие члены кабинета. Они были готовы идти навстречу идеям Блана, которые считали ошибочными, лишь бы он укротил толпу. И Блан воспринял эту роль политического буфера, уговаривая массы быть сдержанными. Такое поведение Прудон назвал «контрреволюцией Луи Блана». Он считал, что необходимы решительные массовые действия до тех пор, пока правительство сопротивляется социалистической реформе. Реформист Прудон показал, что он вовсе не против революционных действий, когда они расчищают дорогу преобразованиям. Его тоже беспокоило, что революция может сорваться в разрушительный бунт, но «контрреволюция Луи Блана» заключалась в том, что социалист в правительстве, обладающий поддержкой улицы, не использовал ее для продвижения своей программы. Уговаривание масс отсрочило взрыв, но не сняло его угрозу, так как реформы так и не были начаты.

Для подготовки социальных реформ 29 февраля была создана Люксембургская комиссия (названа по месту заседаний), которой предстояло согласовать взгляды разнообразных

социалистических и экономических учений и представить Национальному собранию план реорганизации общества. Одновременно комиссия, работавшая под председательством Л. Блана, выполняла роль временного министерства труда и комиссии по трудовым спорам. По ее настоянию рабочий день был сокращен до 10 часов в Париже и 11 часов в стране. Одновременно рабочие создали несколько производственных ассоциаций, которые существовали до разгрома рабочего движения в июне, а некоторые – до подавления прудоновского эксперимента в 1849-1850 гг.

26 апреля 1848 г., к началу работы Национального собрания, комиссия выпустила проект устройства национальных мастерских на основе идей Блана и Фурье (его теорию в комиссии поддерживал Консидеран). Мастерские должны были стать самоуправляющимися предприятиями с собственной системой взаимного обмена. Эта идея близка взглядам Прудона, популярность которого в 1848 г. росла, и он вскоре был доизбран в парламент. Мастерские должны были создаваться путем обращения в государственную собственность средств сообщения и рудников, а также создания земледельческих поселений. Одновременно рекомендовалось развивать кооперацию, национализировать банковское дело и обеспечить низкопроцентный кредит. Это был проект реформ, которые могли привести к созданию социального государства с сильным самоуправлением: к подобным идеям неоднократно возвращались социальные реформаторы XX века.

Пока комиссия работала, она могла выполнять вспомогательные задачи социального государства, и тем сдерживать накал страстей. Потеря времени на работу Люксембургской комиссии была бы оправдана, если бы ее проект был затем принят Национальным собранием. Но Национальное собрание, состоявшее из либералов и консерваторов, чуждых пониманию социальной проблематики, отклонило большинство предложений комиссии, что накалило обстановку до предела. Отказавшись принять предложения Блана и его коллег, новая власть обесценила революцию в глазах пролетариата.

Пародией на предложения Люксембургской комиссии стали национальные мастерские, которые основывались на казарменной дисциплине и по сути рабском ручном труде на государственные нужды. Эти «нужды» выдумывались специально, чтобы оправдать существование мастерских. Никаких современных форм производства мастерским не доверили, ни о какой окупаемости и речи идти не могло. 22 июня и эти паллиативные мастерские были закрыты, что стало последней каплей, переполнившей чашу терпения парижских рабочих, и привело к восстанию в пролетарских кварталах столицы. Социальная революция была подавлена, первое хождение социалистов во власть не удалось.

Бесславный финал истории с Люксембургской комиссией и связанная с ним кровавая развязка скомпрометировали Блана и позволили Прудону выдвинуться на первые роли в социалистическом движении Франции. Ревностные социалисты первой волны революции выступили против Прудона единым фронтом с либералами.

31 июля 1848 г. депутат Учредительного собрания Франции Прудон, атакованный лидером либералов А. Тьером, выступил с подробным изложением своих взглядов на собственность и необходимые реформы. По итогам прений он удостоился следующей резолюции:

«Национальное собрание, признавая, что предложение г-на Прудона представляет собой отвратительное нападение на принципы общественной морали; что оно оскверняет собственность; что оно ободряет обвинения, что оно апеллирует к наиболее злобным страстям; принимая во внимание также, что оратор клеветнически утверждает, что Февральская Революция 1848 г. ответственна за теории, которые он развивает; переходит к повестке дня»[218]. Депутаты были так оскорблены нападениями на священное право собственности, что расценили его как аморальное само по себе. И это несмотря на то, что Прудон был защитником традиционной морали и даже патриархальной семьи. Характерно, что за это постановление проголосовали и именитые социалисты Л. Блан и П. Леру. Только двое депутатов проголосовали против постановления, осуждавшего обличителя собственности. Прудон во мгновение ока превратился в антигероя либеральной прессы. Но на одного человека дуэль Прудона и Тьера произвела глубокое впечатление: «они не могли понять, как можно быть свободным без государства, без демократического правления, они с удивлением слушали безнравственную речь, что республика для людей, а не лица для республики»[219], – писал о противниках Прудона А. Герцен. Он отдал пальму первенства Прудону, и это имело далеко идущие последствия — Прудон заочно приобрел ученика, который станет родоначальником целого общественного течения. Иногда внимание талантливого последователя бывает важнее, чем восторги и осуждение толпы, даже депутатской.

Столкновение с Тьером будет не последним. Уже после смерти Прудона их идеи столкнутся под гром пушек. В 1871 г. Парижская Коммуна примет конструктивную программу прудонистов, а Тьер возглавит подавление первой социалистической революции.

Не встретив понимания в парламенте, Прудон выступил с идеей создания параллельной экономической системы, которая должна была стартовать с создания ее центра – народного банка.

31 января 1849 г. Прудон объявил о создании народного банка, в котором будет существовать беспроцентный кредит и обмен продуктами без денег, а с помощью банковских обязательств. Вкладчики выстроились в очередь – идея Прудона была популярна. К 11 февраля, когда банк начал работу, 12000 вкладчиков принесли 36000 франков.

Но 28 марта 1849 г. за нападки на президента Бонапарта Прудон был присужден к тюремному заключению на три года. Поскольку подписка шла под его имя, и только он мог начать банковский проект, дело лопнуло. Позднее марксисты утверждали, что проект Прудона был изначально утопичен, что и доказывает крах банка. Но, согласимся, неудача эксперимента носила «внеэкономический характер». Проект Прудона был более продуман, чем аналогичная инициатива Оуэна.

После ареста Прудона его последователи пытались продолжить эксперимент. Полина Ролан и ее товарищи Дельбрук и Делуэн инициировали «Союз братских ассоциаций Парижа», который возглавила Центральная комиссия из представителей коллективов работников. Союз пытался объединить существующие тогда в Париже производственные ассоциации

(более 100 с численностью около 50 000 человек) и основывать новые. Во многом это удалось, что обеспокоило президента Бонапарта. В мае 1850 г. союз был объявлен тайным обществом, и центральная комиссия арестована в полном составе.

Полемика между Бланом и Прудонем продолжилась и после революции. В статье «О государстве» Л. Блан ответил на критику, высказанную Прудонем и в ответ раскритиковал основы его теории, развиваемые в работе «Исповедь революционера».

Основное противоречие двух теоретиков – в отношении к государству. Для Блана демократическое государство – «это власть народа, которому служат избранники, это – царство свободы»[220]. Причем свобода – это не что-нибудь, а «полное развитие способностей каждого». Разумеется, такой наивный взгляд на власть избранников народа мог вызвать у Прудона только грустную улыбку. Дело в том, что Блан воспринимает государство как «осуществленное коллективное целое»[221], не замечая его различия с обществом. Такой тоталитарный взгляд, в котором государство подменяет и подминает общество, распространен и поныне. Прудон видит в «отчуждении коллективной силы»[222] властьюими основную причину социальных конфликтов столетия, взрывающих один за другим существующие во Франции режимы.

Но и заявления Прудона позволяют Блану посмеяться над перехлестами своего оппонента. Прудон восклицает, что «каждый, стремящийся управлять мною – тиран»[223], преобразование власти в духе свободы «равняется полному исключению власти»[224]. Блану достаточно лишь перечислить те органы власти, которые в своей модели предлагает Прудон (разумеется, не упоминая о порядке их формирования снизу вверх, а не путем прямых выборов), чтобы показать – Прудон также замешан в «тиранстве», ибо не стремится к полной ликвидации управления.

Но власть власти рознь. В модели Прудона люди и добровольно созданные ими сообщества сами передают вверх часть полномочий, и только тогда речь не идет о тиранстве. Блан защищает твердую власть, в том числе берет под защиту от нападков Прудона и якобинцев: «Прудон говорит, что власть погубила якобинцев; но он забывает, что на власть якобинцев напустились контрреволюционеры»[225]. Блан, в свою очередь, забывает, что от контрреволюционеров якобинцы отбились еще тогда, когда действовали вместе с жирондистами (для умеренного социалиста Блана и жирондисты – достаточно революционны), а затем принялись крушить союзников, не вполне согласных с якобинской точкой зрения. В итоге Робеспьера свергли недавние союзники по революционному Конвенту. Якобинцев погубило и собственное злоупотребление властью, и созданный ими же механизм террора. Это и мел в виду Прудон.

Блан критикует конкуренцию, в которой Прудон видит не только отрицательные, но и положительные черты, выступая за более решительное управление социальными отношениями.

Несмотря на важность этих разногласий, полемика Блана и Прудона показывает, что они стоят гораздо ближе друг к другу, чем им самим хотелось бы. Косвенно это признает и Блан, когда доказывает свой приоритет в ряде позиций, которые защищает Прудон: «даровой

кредит не может быть создан без того, чтобы ассоциация стала всеобщей, ассоциация не может стать всеобщей и продержаться в качестве таковой без государства». Создавая союз ассоциаций социалисты будут «приготавливать пришествие государства-служителя»[226]. Этот путь в действительности очень близок тому, что Прудон изложил в работе «Что такое собственность». Блан выдвинул идею ассоциаций чуть раньше, но взаимосвязь ассоциаций и государства не была первоначально выражена у него как демократический союз ассоциаций. И критика Прудона в этом отношении вполне справедлива, а его модель социалистических преобразований отличалась от идей Блана последовательным проведением самоуправления и демократического федерализма. Опыт революции 1848 г. подвинул Блана в сторону Прудона, а не Прудона в сторону Блана.

То, что также сближает двух идеологов – революционный реформизм, то есть стремление к осторожности в ходе революции (хотя в конкретной борьбе 1848 г. Прудон критиковал Блана слева, но и сам призывал массы к осторожности), к постепенности преобразований. «Наш идеал, – пишет Блан, – это такое общественное устройство, при котором каждый, имея возможность упражнять самым полным образом все свои способности и удовлетворять вполне все свои потребности, пользовался бы наибольшей суммой свобод, какую только можно себе представить». Но такого общества нельзя достичь сразу, и потому мы предлагаем для его достижения ряд «переходных мер», которые нужно внедрять постепенно и не навязывая людям[227]. Так заключает Блан свою критику Прудона. Но Прудон (в отличие, скажем, от Маркса) вполне согласен с этим.

Соратники Маркса Энгельс и Виллих во время революции приняли участие в вооруженной борьбе, но она не имела никакого отношения к социалистическим идеям. В боях 1848-1849 гг. выдвинулся и еще один социалистический мыслитель первой величины — М. Бакунин. Но и он командовал отнюдь не социалистами. Социализм, революция и вооруженное насилие шествовали своими путями, иногда пересекаясь, а иногда нет.

Но 1848 год поставил социализм в повестку дня куда конкретнее, чем Великая французская революция. Налицо было движение рабочего класса против буржуазии. Капитализм перестал быть светлой перспективой, он превратился в мрачное настоящее, освободив место прогрессивного проекта. Это место занял социализм.

Социализм предполагает качественное изменение общества. Уже это делает его революционным течением.

Реформист Прудон положительно относится к революции, но понимает под ней не совсем то же самое, что Маркс. Для обоих революция — качественное изменение. Прудон считал, что революция правомерна, если она идет снизу, а не от государства или групп заговорщиков-революционеров[228]. Прудон трактует революцию не как насилие, а как движение за качественные перемены в жизни общества. Маркс не возражает. Для него эпоха социальной революции — это переход от одной общественной формации к другой, столкновение социальных сил, обусловленное конфликтом старых производственных отношений и обновленных производительных сил[229]. Однако целый ряд революций находятся не на границах формаций, а внутри них. Перманентный процесс «притирания» производственных

отношений к уровню развития производительных сил то сопровождается революциями, то нет. Если выйти за рамки марксистского экономического детерминизма, то же самое можно сказать о взаимодействии социальных отношений и уровня культуры данного общества (в том числе материальной). У Прудона революция — постоянный процесс накопления принципиально важных перемен, что растворяет социальные революции в исторической эволюции. Он выдвигает термин «перманентная революция»[230], имея в виду постоянную борьбу за справедливость и автономию, постоянное ненасильственное продвижение к этим идеалам. Маркс, не ссылаясь на источник, заимствует термин, но придает ему совершенно иное звучание — длительный переход от капитализма к коммунизму, многолетняя мировая гражданская война.

Но в работе «Общая идея революции XIX века», которая вышла через три года, Прудон трактует революцию более привычно — как аналог Великой французской революции, как социальный переворот, к которому влечет рост бедности[231].

Что же такое революция? Несомненно, что отождествление революции и эволюции у Прудона не облегчает понимание проблемы. Революции — конкретное историческое явление, воспринимавшееся как антипод эволюционного развития задолго до того, как социальные мыслители нарекли имена. Под революцией понимались и прорывы эволюционного развития, и качественные скачки в развитии, и переходы от одной социально-экономической формации к другой, и социальные перевороты, связанные с вторжениями в отношения собственности, и разрушительные социальные взрывы, и политические перевороты, своего рода “обвалы власти”.

Чтобы не вступать в противоречие с большинством этих концепций, автор в дальнейшем будет понимать под революцией социально-политическую революцию. Характеризуя это явление, мы можем исходить из “классических” примеров революций: Британского “Великого мятежа” середины XVII в., Великой Французской революции конца XVIII в., серии французских революций 1830 г., 1848-1852 гг., 1870-1871 гг.; Российских революций 1905-1907 гг. и 1917-1922 гг. Очевидно, что революция, как правило, длительный процесс, состоящий подчас из нескольких «революций-актов» (так во время Российской революции произошли Февральская и Октябрьская революции – перевороты).

Сущность этих явлений не может быть определена через изменения отношений собственности (в Английской революции этот фактор играет незначительную роль, и в центре внимания стоят религиозно-политические мотивы, разделяющие представителей одной группы собственников) или смену касты (этого не случилось также в революции 1905-1907 гг.). Речь не может идти о смене общественной формации в ходе одной революции.

В то же время можно выделить ряд черт, которые объединяют все “классические” революции, и не только их:

1. Революция – это социально-политический конфликт, то есть такой конфликт, в который вовлечены широкие социальные слои, массовые движения, а также политическая элита (это сопровождается либо расколом существующей властной элиты (касты), либо ее сменой, либо существенным дополнением представителями

иных социальных слоев). Важный признак революции (в отличие от локального бунта) – раскол в масштабе всего социума (общенациональный характер там, где сложилась нация).

2. Революция предполагает стремление одной или нескольких сторон конфликта к изменению принципов общественного устройства, системообразующих институтов. Далеко не всегда это – отношения собственности, как правило – принципы формирования элиты.
3. Революция – это социальное творчество, она преодолевает ограничения, связанные с существующими институтами разрешения противоречий и принятия решений. Революция стремится к созданию новых “правил игры”. Она отрицает существующую легитимность (иногда опираясь на прежнюю традицию легитимности, как Английская революция). Поэтому революционные действия преимущественно незаконны и неинституционализированы. Революция не ограничена существующими институтами и законом, что иногда приводит к насильственной конфронтации.

Таким образом, революцию можно определить как общенациональную социально-политическую конфронтацию по поводу системообразующих принципов общества (как правило – принципов формирования правящей и имущественной элиты), преодолевающую существующую легитимность.

Обычно насилие встречается в революции эпизодически, как встречается оно во всяком историческом процессе. Частью революции могут быть и реформы, и войны, и выборные кампании, и полемика в печати. Все это может существовать и без революции, хотя, спору нет, революция делает исторический процесс более интенсивным и вариативным. Революция — это шанс для всех. В том числе и для социалистов.

Возможность для смены социальных систем имеется далеко не всегда. Маркс фокусирует свое внимание на экономике как важнейшем показателе готовности к социальному перевороту. Остальное – «надстройка». Предположим. Но уровень экономики XIX в. оставлял капитализму еще немалые резервы роста, а в 1848-1850 гг. основоположники марксизма ждут со дня на день революцию, которая в результате непрерывного развития перерастет в мировую социалистическую: «наши интересы и наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной (перманентной) до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоеует государственной власти, пока ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира не разовьется настолько, что конкуренция между пролетариями в этих странах прекратится и что, по крайней мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в руках пролетариев»[232].

Так что не будем винить в отходе от марксизма как идеолога «перманентной революции» Л. Троцкого, так и В. Ленина, которого Г. Плеханов обвинил в «бредовом» непонимании законов места и времени за призыв к социалистической революции в 1917 г. — Плеханов отошел от идей Маркса дальше, чем Ленин.

Не в экономике зарыта собака марксистской революции, а в продукте капиталистической экономики – в пролетариате. Это — армия революции и строительный материал нового общества. Готовность этой армии — это и есть предпосылка революции по Марксу.

Пролетариат возникает из разложения всех сословий, главным образом среднего класса[233]. Перспективы среднего класса по Прудону оказываются более оптимистичными. И он окажется прав.

Марксу и Энгельсу казалось, что пролетарии ничем не связаны с психологическими и социальными традициями старого общества. Раз так, то общественные отношения, созданные пролетариями, должны быть качественно иными, чем капитализм. Марксу казалось, что это будет более высокая ступень в развитии общества. Но, учитывая культурную нищету пролетариата, это могла быть и предыдущая ступень.

Энгельс считает отрыв пролетариата от “старой” культуры положительным качеством: “чем ниже стоит класс в обществе, чем он “необразованнее” в обычном смысле слова, тем он прогрессивнее, тем большую будущность он имеет”[234]. Беда трудящихся масс XIX столетия — необразованность, становится своеобразным критерием прогресса (какой контраст с просветительским пафосом Бланки). Вождям коммунистических радикалов нужна армия необразованных варваров для того, чтобы стереть с лица земли существующую цивилизацию и создать на ее месте новую.

Маркс и Энгельс полагают, что пролетарии должны «низвергнуть государство, чтобы утвердить себя как личности»[235]. Маркс говорит от имени пролетариата: «я ничто, но я должен быть всем»[236]. «Кто был ничем, тот станет всем». Подобная формула, безусловно, способствует самоутверждению прежде забитого и понукаемого человека. Но из чего следует, что в самоутверждающейся личности такого рода проснется стремление к конструктивному творчеству, а не к примитивной мести? Но и эту мысль можно понять «не в лоб» (хотя авторы имели в виду именно то, что сказали). Утверждение себя как личности связано с низвержением государства в себе, государственного контроля над собой.

Маркс надеется, что пролетарии используют свою энергию отрицания капитализма для разрушения этого строя, что автоматически приведет к возникновению нового строя – коммунизма. Но значит ли это, что рабочие сами по себе испытывают стремление именно к коммунизму. Как мы увидим, позднее Ленин отметит, что стихийное рабочее движение не вырабатывает социалистической стратегии, идеология социализма привносится в рабочий класс извне, со стороны интеллигенции. Из этого следует, что соответствие социалистической стратегии интересам пролетариата – это теоретическая модель, а не результат эмпирических исследований. К чему же в действительности стремится пролетариат?

Прежде всего – это защита своих социальных прав, роста уровня зарплаты, но не ответственности. Это как раз то, что человеку дает социальное государство. Оно заботится о человеке труда, сохраняя его роль специализированного инструмента индустриальной машины. Сохраняя свой образ жизни, рабочий стремится не к социализму, а к социальному государству. К социализму он может стремиться только как человек, который хочет

перестать быть элементом производственной цепочки.

Социальное государство не устранило эксплуатацию, но несколько смягчило ее последствия. Значительная часть рабочих получила некоторую уверенность в завтрашнем дне, среднее образование, необходимое индустриальному обществу для того, чтобы иметь квалифицированную рабочую силу. У работников появился достаток и свободное время, достаточное для продолжения образования. Казалось бы, работники вполне могли бы овладеть знаниями, достаточными для противостояния манипуляции сознанием, для понимания своих глубинных интересов и путей изменения общества. Через столетие Г. Маркузе с разочарованием констатирует социально-психологическую интеграцию рабочего класса в капиталистическое общество.

Почему пролетариат, выйдя из-под гнета нищеты и бескультурия, не разрушает систему эксплуатации? Почему не тянется к знаниям? Уже в конце XX века марксисты, критикуя империализм, нашли ответ: буржуазия подкупает свой пролетариат за счет эксплуатации колоний. Не самое убедительное объяснение. Во-первых, прибыльность колоний обеспечивалась далеко не всегда. Во-вторых, если пролетариат сам становится эксплуататором, то это уже не вполне пролетариат. Получается, что за счет «доплаты» буржуазия расплачивается с рабочим за его труд полностью – эксплуатация исчезает. Тем не менее, рабочий не становится свободным. Остается изнуряющий труд, конвейер, бесправие. Почему рабочие все меньше выступают против существующей социальной системы, почему рабочие организации выступают с социал-консервативных позиций, защищая достигнутый уровень зарплаты и социальных выплат? Рабочий не стремится взять в свои руки власть на производстве и в обществе. Он цепляется за свою пролетарскую самость, за роль инструмента индустриальной машины. К 60-м гг. XX в. стало очевидно, что цель рабочего – не преодоление отчуждения от средства производства и собственной личности, а блага социального государства. Интересы рабочего как личности вступили в конфликт с его интересами как пролетария. Пролетарий продает свою рабочую силу, желательно подороже. Перестав продавать ее, он перестает быть пролетарием. Отказ от места пролетария является тяжелым выбором для человека. Кроме исполнения указаний других он теперь должен взять на себя ответственность за свою судьбу, за судьбу своего дела.

Пока пролетарий был нищим, он был готов бороться за свержение невыносимой системы. Пока он не имел возможности получить сносного образования, пока ему был недоступен минимальный культурный досуг, он тянулся к культуре, ходил на кружки самообразования, где самоотверженные интеллигенты рассказывали ему о прекрасном будущем, где он будет жить в удобных домах из стекла и бетона, свободно трудиться на благо всех и в свободное время ходить в кино и читать интересные книги. Когда рабочий получил отдельную квартиру, сытость, добротную одежду, основные знания о мире и поток информации через телевизионный экран, его стало трудно чем-нибудь удивить и увлечь. Его протестная энергия угасла. Он готов терпеть произвол начальника и ритм цеха, если у него не отнимают уже полученных благ и досуга. Он не желает преодолевать стену между трудом и досугом. Досуг пролетария заполняется развлечением, а не учебой, так напоминающей труд.

Как справедливо заметила современный философ Н. Герулайтис, в наше время рабочий не стремится к приобретению знаний свыше нормы, данной ему современным обществом, потому что в противном случае он перестал бы быть рабочим. В развитом индустриальном обществе (в отличие от чистого капитализма) путь к высшему образованию открыт для представителей семей рабочего класса, и тот, кто хочет покинуть пролетарскую среду, затратить усилия на образование и превратиться в часть интеллектуального слоя, может это сделать. Кто остался рабочим, за редкими исключениями сделал свой выбор – тот не хочет затрачивать усилия на дальнейшее образование. Соответственно, он не имеет интеллектуального ресурса для противостояния Системе. Ведь для противостояния манипуляции сознанием и понимания социальных причин своих житейских проблем тоже нужна определенная квалификация и интеллектуальное напряжение.

Из этого следует, что преодолеть разделение общества на рабочие классы и руководящую элиту может только интеллектуальный класс, который в себе сочетает черты и работника, и интеллигенции, и управления (самоуправления). Но это – уже не пролетариат. Свой революционный потенциал пролетариат исчерпал с созданием социального государства в XX веке, и только разрушение социального государства в эпоху глобализации на грани XX и XXI в. может этот потенциал на какое-то время восстановить. И тогда перед рабочими снова встанет выбор, который уже стоял перед ними в первой половине XX века – либо переход в новое качество путем превращения в хозяев своих предприятий через коллективное владение и самоуправление, либо сохранение за собой роли пролетария, исполнителя чужих решений, наемника с большей или меньшей зарплатой. Во первой половине XX века тенденции развития индустриального общества не способствовали первому пути. Предоставит ли кризис индустриального общества новый шанс рабочим стать хозяевами своего дела и своей деятельности, вырваться из пролетарской ниши?

Если верить марксистским оценкам, Прудон — выразитель интересов не рабочего, а ремесленного сословия. Но можно ли считать интересы рабочих и ремесленников противоположными? И для Маркса, и для Прудона очевидно, что пребывание в рядах пролетариата — не в интересах пролетариев.

Во второй половине XIX века рабочий класс еще не потерял навыков самоорганизации, которые социальное государство сделало практически излишними. Прудон предлагает следовать стремлению рабочих вернуться в прежнее положение работника, обладающего своими средствами труда. Рабочий, которого нужда оторвала от хозяйства, может вернуться к нему на новом витке истории, став хозяином фабрики. Прудонизм является выражением протеста и ремесленников, и пролетариев, то есть бывших ремесленников и крестьян, против их отчуждения от имущества, от самостоятельного хозяйствования. Идеал прудонизма — возвращение работнику хозяйственной самостоятельности, имущественной защищенности как от частных собственников, так и от государства. К. Винсент комментирует: «Ни Прудон, ни мютюэлисты не верили, что все рабочие станут безыскусными рабочими, трудящимися за зарплату, как позднее предсказывал Маркс... Их видение рабочей солидарности было шире, чем более позднее видение Маркса, который настаивал на том, что только индустриальный пролетариат является действительно революционным классом»[237].

Зарождавшееся рабочее движение Франции предпочитало путь, предложенный Прудоном — восстановление на новом технологическом уровне связи работника с хозяйством, утерянной при разорении крестьян и ремесленников. В 1864 г. французские рабочие – делегаты Всемирной выставки, принявшие участие в организации Интернационала, выпустили манифест, пронизанный прудонистскими идеями. Прудон откликнулся своей последней прижизненной работой «О политической способности рабочих классов». Ее ключевые идеи — взаимопомощь (взаимность) и солидарность: «В этом содержится наша Солидарность, эту солидарность утверждают, с правами на труд, со свободой труда, с взаимным кредитом, и. т. д. авторы Манифеста».[238] Прудон видит, что рабочие поняли азы его рыночного социализма. Это означает, что он превращается в класс «сам для себя, число и сила – класс начинает сознавать свою социальную важность»[239].

Прудон называет взаимность программой рабочих классов (во множественном числе), считает необходимым равноправие общин (как рабочих, так и крестьянских)[240] и подчеркивает, что рабочие и крестьяне должны осознать общность своих целей и вместе выступать против давления собственников. По мнению Прудона «капиталистический и торговый феодализм» мешает не только эмансипации рабочих, но и развитию средних классов[241]. Развитию, а не разложению, как у Маркса. Прудон выступает за создание аграрно-промышленной федерации[242], не случайно поставив аграрный сектор общества на первое место — ведь в XIX веке он преобладал численно, а значит демократия требует преобладания крестьянства.

Прудон, уже в 1848 г. выступивший за создание единого фронта рабочих и крестьян, оказался прозорливее теоретиков диктатуры пролетариата. Отрыв борьбы рабочих от нужд крестьянства стало одной из причин поражения революции 1848-1849 гг. В XX веке идея рабоче-крестьянского союза была взята на вооружение марксизмом-ленинизмом. Крестьянство оставалось в этой связке страдательным членом (как, впрочем, и рабочие массы). Маркс и Энгельс также пришли к выводу, что пролетарская революция в Западной Европе не увенчается успехом без «второго издания» крестьянской войны на Востоке Европы. Но и в этом случае не могло идти речи о равноправии крестьянского и рабочего движений. Пролетарские революционеры должны были просто воспользоваться крестьянским бунтом.

Прудон, а вслед за ним и народники, предлагают принципиально другой подход — признание равноправия интересов всех трудящихся.

Маркс надеется, что в ходе революции качественно изменятся не только общественные отношения, но и сами люди. «В революционной деятельности изменение самого себя совпадает с преобразованием обстоятельств».[243] Это – попытка решить проблему культурной традиции, тяготеющей над прогрессом. Люди привержены своему жизненному укладу и готовы защищать его. Отказ от привычного болезнен, даже болезненнее самой мучительной и несовершенной реальности. Преодолеть множество предрассудков, стереотипов поведения и т.п. не так просто. Как люди вчерашнего дня научатся жить в совершенно новых условиях? Не принесут ли ни в завтрашний день саму суть вчерашнего? Маркс нашел тот социальный слой, который не заинтересован в сохранении своего

положения, который ненавидит этот общественный строй. Но откуда следует, что революция сотрет социальную психологию людей, которая формировалась в условиях нищеты и борьбы за выживание? Опыт XX в. показал, что этого переворота в сознании не происходит. Люди меняются медленнее, чем социальные условия.

Маркс и Энгельс считали, что технический прогресс не только освободит человека от отчужденного труда, но и приведет к «упразднению города и деревни»[244]. Процесс сближения города и деревни по условиям жизни действительно можно наблюдать в некоторых индустриальных странах. Он не зависит от формы собственности и владения, он может происходить при капитализме не хуже, чем под руководством «пролетарского» государства. Здесь ключевым является не противоречие капитализма и социализма, а индустриализма и других фаз развития цивилизации. Пока господствует индустриальная организация, город поглощает деревню, превращает ее в пригород, индустриализирует, закатывает траву асфальтом, засыпает поля химикалиями. Никита Хрущев, поставивший коммунизм в практическую повестку дня, пытался на совершенно невызревшей почве стереть различие города и деревни. В результате погибли тысячи деревень, и получился уродливый синтез недо-города и полудеревни – поселки городского типа. Между тем с середины 60-х гг. в развитых индустриальных странах Запада идет процесс деурбанизации. Люди среднего достатка предпочитают жить не в мегаполисах, а в оснащенных современными «удобствами» коттеджах. И здесь приближение к выдвинутым Марксом целям идет безо всякой диктатуры пролетариата.

Эволюционное вызревание социальных явлений, которые Маркс связывал с коммунизмом, «опоздало» на век. В середине XIX в. индустриальное общество еще не исчерпало свой потенциал, находилось в состоянии становления.

Прудон видел не только в тиранах, но и в черни два полюса социальной деградации[245]. Ссылаясь на Христа, он выступал за умеренность материального потребления, простоту нравов, бедность, понимаемую как скромность и противопоставленную нищете[246].

Предвосхищая принципы социальной экологии, Прудон утверждает, что количество вещей, которые могут быть произведены, ограничено[247]. Нужно стремиться к среднему, а не максимальному уровню потребления материальных благ. Прудон обосновывает свою мысль возможностями самой Природы: «Природа во всем своем творении приняла за правило: ничего лишнего... И если мы противимся ее закону, если соблазн идеала влечет нас к роскоши и наслаждениям..., природа, быстрая в наказании нас, обрекает нас на нищенство».[248] Прудон критикует пагубное воздействие машин на организм человека.[249] Индустриальный прогресс воспринимается Прудоном скорее положительно, но без восторга: «это голос прогресса кричит: «Шагай, шагай! Работай, работай! Предназначение человека толкает его к счастью и поэтому оно запрещает ему отдых»[250].

Но Прудон — не противник машинного производства в принципе. Он считает, что развитие машин — это «протест промышленного гения против раздробленного и человекоубийственного труда... Посредством машины будет происходить восстановление труда»[251]. Эта идея, малопонятная в середине XIX в., приобретает новое звучание в конце

XX – начале XXI вв., когда гибкие и многоцелевые технологии, прежде всего компьютеризированные, позволяют человеку преодолевать узкую специализацию, все меньше заниматься «человекоубийственным» нетворческим трудом. Маркс возражает Прудону, что концентрация орудий труда ведет к росту разделения труда. И это верно для их времени, но не обязательно для нашего. Маркс близорук, а Прудон страдает дальновзоркостью. У обоих плохое зрение, но у кого оно было лучше в то время? Ведь либералы и консерваторы по уровню социальной близорукости были близки к полной слепоте. В спорах социалистов обсуждались темы, которые станут понятны либеральному сознанию только в XX в.

Радикальный консерватор К.Н. Леонтьев увидел во взглядах Прудона страшное будущее: “Слова Прудона, сказанные им в 51-м году, оказываются теперь пророческими словами. “...все хотят быть тружениками, “рабочими”. С одной стороны — потребности удобств и некоторого изящества отвращают в наше время уличную толпу от прежнего грубого “санкюлотизма”; с другой — аристократия, ужасаясь своей малочисленности, спешит укрыться в рядах буржуазии... И революция торжествует, воплощенная в среднем сословии”. Я совершенно согласен с Прудоном... Если же мы скажем вместе с Прудоном, что революция нашего времени есть стремление ко всеобщему смешению и ко всеобщей ассимиляции в тип среднего труженика, то все станет для нас понятно и ясно. Прудон может желать такого результата, другие могут глубоко ненавидеть этот идеал...”[252] Леонтьев, не заметив в идеях Прудона защиты «единства в разнообразии»[253] (что естественно, если учесть поверхностное знакомство Леонтьева с работами Прудона), увидел в его построениях перспективу преобладания среднего класса будущего — социального слоя работников-совладельцев коллективного производства. Эта перспектива ужаснула элитариста и врага демократии.

Леонтьев поторопился провозгласить победу прудонизма в Европе. Но во второй половине XX в. преобладание среднего класса в социальной структуре стало общей мыслью. Ужас Леонтьева воплотился в жизнь. Мечта Прудона – пока нет, хотя для этого и возникли предпосылки. Информационная революция привела к изменению структуры общества передовых стран мира. Стала уменьшаться роль промышленных классов, прежде всего собственников капитала и пролетариев. Но на их место приходят очень разные слои, которые объединяет разве что уровень доходов: консервативное мещанство и новое поколение динамичных людей, основным средством существования которых становились не рабочие руки и не капитал, а знания. Более важным стало производство информации и высокотехнологичной продукции. Потребовалась более образованная и многофункциональная рабочая сила. Интеллектуализированные средние слои начинают отличаться от вписанных в индустриальное разделение труда интеллигенции и высокооплачиваемых рабочих. Дело вообще не в окладах, а в функциях. На место узкоспециализированного рабочего, выполняющего приказы менеджера и производящего стандартизированную продукцию, стал приходиться специалист по широкому кругу проблем, хорошо образованный, постоянно совершенствующий производство. Важно, кто принимает решения, носит ли деятельность работника воспроизводящий или творческий характер, какова структура отношений между работниками и коллективами.

Рыночный социализм Философские разногласия между марксовой «борьбой» и прудоновским «синтезом» в социально-экономической области выливается в противоречие между централизованной нетоварной и демократической рыночными моделями социализма.

Диалектика Прудона не делит мир на реакционные и прогрессивные явления, он видит положительную и отрицательную сторону в каждом явлении, что позволяет найти пути трансформации каждого из них, избегая деструктивных крайностей. Прудон ищет формулу организации труда, которая гармонизирует «конкуренцию и солидарность, труд и монополию, одним словом — все экономические противоречия»[254]. Он считает необходимым существование и конкуренции, без которой невозможно определить реальную ценность продукции, и монополии, гарантирующей защиту прав творческого меньшинства. Но каждая из этих сторон экономического процесса несет немалые бедствия. «Конкуренция с ее инстинктом человекоубийства вырывает хлеб изо рта класса работников, и видит в этом только улучшение и экономию...»[255] Коммунисты делали из этого вывод о необходимости ликвидации конкуренции. Прудон не рекомендует торопиться с выводами. Проблема сложнее.

Прудон предупреждает, что полная ликвидация конкуренции приведет лишь к торжеству правительственной монополии, от чего пострадают трудящиеся, именем которых будет твориться экономический произвол: «гарантированная зарплата невозможна без точного знания стоимости, которая может быть выявлена только с помощью конкуренции, а не коммунистических институтов и народных декретов...» Сильнее них «неспособность человека выполнять свои обязанности, как только с него снимается ответственность в отношении себя самого»[256]. Психологические познания рабочего Прудона позволили ему понять уязвимые стороны коммунистической модели и прийти к выводу, что новая общественная система должна оставаться рыночной, что неприемлемо для Маркса.

Маркс возражает, указывая, что конкуренция носит исторически преходящий характер, человечество обходилось и без нее. Но он не приводит доказательств, что конкуренция уже изжила себя. Аргумент о временах, когда общество обходилось без конкуренции, указывает на сходство марксистского социализма и феодализма. Здесь Прудон как бы возвращает Марксу упрек в реакционности, комментируя развитие современной социальной идеи: «дойдя до угла монополии, она бросает меланхолический взгляд назад и, после глубокого размышления, облагает налогами все предметы производства и создает целую административную организацию для того, чтобы все должности были отданы пролетариату и оплачивались монополистами»[257]. Очень похожим образом будут вести себя пришедшие к власти «рабочие» партии, или перераспределяя средства капиталистических монополий с помощью налогов, или опираясь на государственную монополию и подавляя налогами предпринимателей. Для Маркса это рассуждение оказалось непонятным, и он недоумевает: «И что сказать об этой прогулке, не имеющей другой цели, как раздавить буржуа налогами, тогда как налоги служат именно средством сохранения за буржуазией положения господствующего класса?»[258] XX век покажет, что марксисты именно с помощью налогов будут давить частное производство, и буржуазное, и «мелкобуржуазное».

Прудон считает, что конкуренция — это естественный результат коллективной деятельности, «выражение социальной спонтанности, эмблема демократии и равенства,

наиболее энергичный элемент в составе стоимости и опора ассоциации»[259]. Конкуренция вполне совместима с ассоциированием труда, она размывает монополию. Последовательной конкуренцией является лишь такая, которая позволяет каждому участвовать в ней. Следовательно, конкуренция, которая лишает работника средств труда — это ущербная конкуренция, это вытеснение конкуренции нарастающей монополией. Конкуренция частных собственников ведет к произволу монополий или государственной монополии. Прудон выступает за рыночную систему, в которой проигравшие затем возвращаются в игру или не проигрывают до конца — за рынок, в котором ассоциация владельцев противостоит монополизации. Прудон выступает за рынок, основанный не на прибыли, а на гарантиях[260]. Он должен регулироваться договорным правом и статистикой, которая, по мысли прудонистов, должна помочь избежать перепроизводства и дефицита. Такой рынок должен обеспечить, плавное изменение конъюнктуры, равновесие интересов и возможностей работников.

Равенство свободных работников по мысли Прудона не ликвидирует противоречий между ними, но они теряют свою разрушительность: «При социальном равенстве соревнование должно считаться с равенством условий, награда его в нем самом, и никто не страдает от победы другого»[261], — пишет Прудон. Награда — в равенстве условий, в возможности реализовать себя не за счет другого.

По Прудону монополия — противоположность свободного соревнования, которая роднит феодализм и государственный социализм.

Свободное соревнование (без монополии, закрепленной собственности и бюрократического лоббирования) необходимо по Прудону еще и потому, что он выступает против специальной элиты, которая будет решать, в какой пропорции будут распределяться вознаграждения различных видов труда. Все богатство должно распределяться между всеми занятыми в той степени, в какой они затратили на его создание свое время. Эта попытка уравнивать полотера и руководителя планового органа не могла встретить одобрения Маркса. Но встать на защиту господства элиты он прямо не может, и поэтому вспоминает о различии в качестве труда. Это возражение, как мы видели на примере эксперимента Оуэна (да и советской действительности), угрожает любой коммунистической модели. При капитализме различие “простого” и “сложного” труда определяется конкуренцией (добавим — противоборством социальных слоев), при социализме по Марксу — планом.

Но Маркс утверждает, что промышленное машинное производство стирает различия в качестве труда (речь идет прежде всего о стандартизации). Машина заставляет работать не лучше, и не хуже, а стандартно. Но тогда тем более заработная плата должна составлять полную цену всех вещей, как предлагает Прудон[262]. Здесь Маркс не нашел, что ответить по существу. Он сделает это уже во время своей войны против лассальянства, в “Критике Готской программы”, указав на многочисленные издержки производства, которые должны быть компенсированы, прежде чем будет производиться оплата труда работника. Общество должно содержать социальные фонды. Но возникает вопрос: сначала общество в лице касты или своего большинства решает, какую долю направить государственному центру (даже если он не называется государством) на решение “общественных” проблем, а потом

платит работникам, создавшим продукт, или, напротив, сначала работники получают весь доход, и потом решают, какую его часть направить на решение общих проблем? Марксистский подход предполагает первое, прудонистский (а затем народнический) — второе.

Отсутствие жестких границ, проложенных собственностью – это не только преодоление социального отчуждения между людьми, но и возможность произвола со стороны большинства. В условиях, когда частной собственностью располагает лишь небольшая каста, эта проблема не кажется первостепенной. В марксистской модели, где все принадлежит центру, она и вовсе незаметна – отсутствие собственности есть условие существования однородного централизованного общества. Но уже эксперимент Оуэна показал, что стимулы к деятельности в этом случае резко ослабнут. Прудон считает, что права индивидуумов, их независимость должны быть защищены друг от друга правом. Право нового общества должно строиться на библейском принципе: «правом своим можно пользоваться постольку, поскольку это не причиняет вред другому»[263].

Прудон требует введения равенства труда, «урока», по выполнении которого не следует отнимать работу и вознаграждение за него у другого[264]. Но кто определит урок? «Общество оценивает»[265], — отвечает Прудон.

Таким образом, как и у любого социалиста, в основе предложений Прудона лежит общество: «Человек получает свое право пользования из рук общества, которое одно только может владеть постоянно: личность умирает, общество же не умирает никогда»[266]. Здесь появляется опасная тема общества. Уж не следует ли Прудон за Кампанеллой, желая отдать верховные права собственности начальникам общества? Это зависит от того, каким образом общество будет реализовывать свои права, как люди должны получать у общества право владения и как оно будет гарантировано от произвола и уравниловки. Отстраняясь от уравнилельных утопий прошлого, Прудон выступает за: «равенство, заключающееся только в равенстве условий»[267].

При равновесном рынке, который моделирует Прудон, различие в доходах на разных предприятиях также должно быть невелико – иначе работники просто уйдут с неуспешных предприятий. Поэтому на преуспевающих предприятиях прибавки к средневзвешенной зарплате по Прудону не должны значительно превышать доходы менее удачливых коллег и могут играть полезную роль стимула к более успешной работе. Но для предприятий, продукция которых пользуется успехом у потребителей, базовые показатели доходов работников всех профессий должны быть одинаковы.

Прудон отстаивает равенство вознаграждения за труд представителей разных профессий. Это может показаться абсурдом: неужели уникальный хирург должен получать столько же, что и санитарка? Ведь тогда не будет стимула для роста квалификации.

Но к этому Прудон и не призывает. Он считает, что доход работника в рамках предприятия должен зависеть от его квалификации, затраченного рабочего времени, интенсивности труда и риска. Но не от того, какова профессия работника – все виды производительного труда необходимы обществу. Этот принцип справедливого вознаграждения актуален и

понеже: начинающий менеджер, учитель, слесарь должны получать одинаковый доход. А уникальный хирург, «топ-менеджер» и выдающийся ученый – лучшие в своей профессии – также должны получать близкие доходы. Брокер средней руки должен получать столько же, сколько и уборщица средней квалификации. Ведь уборщицы не менее необходимы, чем организаторы продуктообмена. Сравните доходы чиновников «Газпрома», Лукойла и правительственного аппарата с доходами учителей, рабочих-буровиков и трактористов. Я уже не говорю о шахтерах, которые по предложению Прудона получали бы еще и солидную прибавку за риск. Насколько в обществе разнятся доходы людей разных профессий, но одинаковой квалификации в своей профессии, настолько социальная система экономически несправедлива.

Но справедливость – материя очень спорная, этическая, уходящая корнями в религиозную основу человеческого мировоззрения. Там Прудон и находит нравственную точку опоры. Аксиома, от которой отталкивается Прудон – золотое правило нравственности, из которого вытекает понимание справедливости как уважения к человеческому достоинству каждой личности, равноправие и взаимоучет потребностей каждого. Теперь у Прудона есть критерий, с которым можно подойти к изучению объективной реальности. Строго объективистские критерии для обсуждения этой темы не столь надежны, так как не оставляют места для справедливости, однобоко замещая ее интересами.

Прудон понимает, что соревнование равноправных работников, когда одни не подминают других, возможно лишь при равновесном рынке, где исключено накопление финансового капитала в одних руках. Чтобы исключить рыночно-финансовые спекуляции, Прудон считает необходимым введение общепринятого метода исчисления стоимости продукции, которая зависит от трудовых издержек, а не от превратностей рыночной стихии.

Прудону важно найти формулу, по которой свободные производители смогут договариваться о ценах так, чтобы снова не воспроизводилась нищета. Он видит выход в установлении конституированной стоимости, основанной на трудовых издержках, некоей норме права (как видно из других положений Прудона – не государственного, а договорного, со временем даже обычного права). Именно в нахождении верной конституированной собственности Прудон видит цель политической экономии[268], которая прежде лишь оправдывала либеральные экономические порядки. Политэкономия должна лечить общество, а не оправдывать болезнь.

Маркс обвиняет Прудона в непонимании природы стоимости труда и рабочей силы, в стремлении своим конституированием увековечить нынешнюю нищету работника, потому что “естественная цена труда есть ни что иное, как минимум заработной платы”[269]. Позднее Энгельсу пришлось признать ошибку Маркса в этом вопросе. Дело в том, что в ходе соперничества с Лассалем за влияние на немецкое рабочее движение Маркс и Энгельс нашли у своего бывшего союзника важную ошибку – “железный закон заработной платы”, по которому стоимость рабочей силы при капитализме определяется минимумом издержек на ее производство. Это исключает необходимость борьбы рабочего класса за свои социальные права в рамках капиталистических отношений. История XX века замечательно опровергла идею, разделявшуюся Лассалем и ранним Марксом. Лассаль некритически заимствовал эту

идею у Маркса и Энгельса. Маркс исправил ошибку в “Капитале”, но не признал, из этого вытекает и правота Прудона в старом споре: нормальная оплата труда рабочего (стоимость рабочей силы) выше, чем реальная. Прудон стремится не увековечить капиталистические отношения, а существенно изменить их. Характерно, что, признавая ошибку, Энгельс не упоминает при этом о правоте Прудона[270].

Впрочем, Прудон отчасти был согласен с ошибочным мнением Лассаля: он тоже считал, что стачечная борьба за рост зарплаты приведет к росту цен — предприниматели просто переложат издержки на покупателя. Прудон считает, что решить проблему можно путем реформы всего общества (конституирования стоимостей, в том числе оплаты труда) либо путем создания в рамках капиталистического общества альтернативных экономических структур — беспроцентных банков, организаций взаимопомощи.

Анархисты XX века, оторвавшиеся от классических корней своего учения, также пытаются критиковать Прудона за попытки определить, какое вознаграждение за труд является справедливым и потому приемлемым для социалиста. Д. Герен протестует: «Мы должны положить конец примату бухгалтерских книг, философии «дебета и кредита». Этот метод вознаграждения за труд, происходящий от видоизмененного индивидуализма, вступает в противоречие с коллективным владением средствами производства, и не может привести к глубоким революционным переменам в человеке. Он несовместим с анархизмом; новая форма собственности требует новой формы вознаграждения»[271]. Все же Прудон как основатель анархизма имеет больше оснований, чем Герен, определять, что совместимо с этим учением, а что нет. Но и чисто логически Прудон убедительнее Герена. Коллективное владение требует равноправия членов коллектива – совладельцев. Если одному дозволено работать час, а другой должен пахать десять часов, то при прочих равных условиях они и должны получать один к десяти. Равноправие предполагает «дебет и кредит», учитывающий и интенсивность труда, и квалификацию, и риск. Равноправие, в отличие от уравниловки, предполагает ответственность за то, что ты делаешь. Ответственность связывает функции работника и совладельца, что и требуется при социализме. Уравниловка и капитализм предполагают безответственность работника – вынь да положь зарплату.

Герен предпочел бы альтруистичный труд, который не считается с мерой вознаграждения. Но, как мы видели уже на примере эксперимента Оуэна, ничто так не убивает альтруизм, как ощущение, что ты работаешь на бездельника, который отдыхает за твой счет.

Осторожный Герен все же признает почасовую оплату как временную меру. Большинство анархо-коммунистов оказались менее благоразумны, признавая право бездельника эксплуатировать работягу. Прудоновский социализм делает работников сотрудниками, которые имеют равные права работать и соответственно получать больше или меньше по своему усмотрению, а не за счет друг друга.

Одним из основных положений прудонизма является мютюэлизм — взаимопомощь. Прудон так определял этот принцип: «Услуга за услугу, продукт за продукт, ссуда за ссуду, страхование за страхование, кредит за кредит, обеспечение за обеспечение, гарантия за гарантию и т.д. – таков закон»[272].

Прудон познакомился с обществами взаимопомощи — мютюэлистскими ассоциациями — еще в молодости. Эти рабочие организации существовали во Франции с начала века и приняли участие в восстаниях в Лионе в 30-е гг. В этом отношении прудонизм вырос из практики рабочего движения. «Во всех этих институтах взаимодействия: взаимная уверенность, взаимный кредит, взаимная помощь, взаимное обучение, гарантии, обоюдные рынки сбыта, обмена, работы, хорошего качества и справедливой цены торговцев и т.д.»[273].

Объединения рабочих по Прудону должны стать основой новых отношений (в этом смысле он является основоположником французского синдикализма). Идея множественных ассоциаций (о не одной ассоциации) роднит Прудона с Оуэном. Но Прудон выступает не только за создание параллельного общества, но и за преобразование существующих социальных структур, без чего альтернативный сектор будет просто смят государством и капиталом.

Реформы по Прудону должны проводиться без прямой конфронтации между трудом и капиталом. Он предпочитает постепенно преобразовать обе противоположности в средний класс.

Люди, вовлеченные в сообщества, должны сочетать функции как хозяина, так и работника, избирая совет ассоциации, который будет руководить их работой. Прудон стремится к тому, чтобы рабочие организовали себя без участия капиталиста[274]. В своих тетрадях 1845 г. Прудон выступает за создание сети ассоциаций взаимопомощи, которые занимаются производством и обменом. Это — предприятия, которые находятся в коллективном владении и управляются самими рабочими. По словам Д. Герена, «входя в детали рабочего самоуправления, Прудон перечисляет, с замечательной точностью, основные условия:

Все ассоциированные индивидуумы имеют право участвовать сообща в активе общества.

Каждый рабочий должен нести свою часть наряда на отвратительную и тяжелую работу».[275] Мютюэлистские ассоциации характеризуются Прудоном как демократия рабочих[276]. Это — начало многочисленных теорий рабочей демократии, распространенных также и в марксизме.

Чтобы рабочие могли правильно организовать производство и обмен, необходимо наладить соответствующее «просвещение участников ассоциации»[277].

Маркс смотрит на задачи рабочих организаций совершенно иначе, категорически выступая за стачечную борьбу. Не все его аргументы убедительны: он утверждает, что не может быть всеобщего повышения цен, забывая об инфляции. Но в главном правота Маркса здесь очевидна — давление рабочих на предпринимателей способно менять соотношение заработной платы и прибыли. Последователи Прудона пересмотрят критическое отношение своего учителя к стачкам, и почти сразу после его кончины включатся в стачечную борьбу. Но это не уменьшит противоречия между двумя направлениями социализма. Для прудонистов объединение рабочих — организация взаимопомощи, солидарности, самоуправляющиеся элементы нового общества. Для Маркса — это организация рабочего

класса в его подготовке к физическому столкновению людей. Не случайно свою работу против Прудона Маркс заканчивает цитатой из Жорж Санд: «Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса»[278].

Прудон, напротив, признает, что даже капиталист выполняет некоторые полезные функции: координация, выбор направления развития производства и др.[279] Эти функции могут сохраняться и в обществе, где преодолена собственность (как мы увидим, к этой мысли придет и Маркс). Но «капитал давит труд и превращает промышленность в обширную коалицию монополий»[280]. Он сам решает, как их оплачивать, опираясь на свою монополию, а не на свободную договоренность между всеми участниками производственного процесса. Критикуя эксплуатацию, Прудон обращает внимание на механизм вложения капитала, когда собственник получает прибыль уже совсем независимо от полезных управленческих и координирующих функций[281]. Собственность превращается в бумажные знаки, которые нарастают в спекулятивный ком, в грандиозный финансовый пузырь, способный лопнуть и тем самым парализовать обмен между производителями — ведь другой механизм не предусмотрен.

Прудон считает, что производственное самоуправлению необходимо обеспечить реформой денежного обращения — иначе монополизированная и неравновесная рыночная среда погубит свободных тружеников.

Смысл «конституирования» заключается в регулировании цен в соответствии с трудовыми издержками на производство продукции. Раз реальная, «общественно-необходимая» стоимость продукции, используя более поздний термин Маркса, прямо пропорциональна затраченному на нее рабочему времени (то же среднему, общественно-необходимому), то именно таковы и должны быть реальные цены, чтобы предотвратить хаос и неэквивалентный обмен, паразитизм на рынке. Если будет найден способ вычислять истинную цену, гарантирующую равноправие работников, то обмен станет основой солидарности, а не разделения[282].

Производители по мысли Прудона будут получать «талоны работы» и покупать продукты в прилавках обмена или магазинах социальной торговли, где цена оценивается рабочим часом. Крупные акты обмена будут совершаться с помощью Народного Банка, который принимает как плату «талоны работы». Этот же Банк по плану Прудона должен ссужать беспроцентными ссудами ассоциации рабочих производителей[283].

Банк Прудона должен стать центром системы регулирования рынка. Но государство, которое возьмет на себя эту функцию в XX веке – худший из регуляторов в силу своей бюрократичности. Идея антиавторитарного социализма, включая анархизм – добровольное (индикативное, выражаясь современным языком) планирование. Его правила – статистический учет заказов и производственных возможностей, ссуды под залог и поручительство, но без процентов, страхование, кооперативный рынок.

Маркс справедливо указал Прудону, что он идет за английскими социалистами школы Оуэна, а их эксперимент с регулированием цен не был удачен[284].

Однако Прудон прекрасно понимает, что необходимо «заняться законом истинной организации труда, а не вовсе не организацией распределения»[285]. Но и без правильного организованного обмена нормальное производство невозможно.

Корни оуэновского и прудоновского утопизма Маркс видит в наследии доиндустриального прошлого. «Что удерживало производство в правильных, или почти правильных, пропорциях? Спрос, который управлял предложением, предшествовал ему; производство следовало шаг за шагом за потреблением. Крупная индустрия, будучи уже самым характером употребляемых ею орудий вынуждена производить постоянно все в больших и больших размерах, не может ждать спроса. Производство идет впереди спроса, предложение силой берет спрос.

В современном обществе, в промышленности, основанной на индивидуальном обмене, анархия производства, будучи источником стольких бедствий, есть в то же время причина прогресса.

Поэтому одно из двух:

либо ждать правильных пропорций прошлых веков при средствах производства нашего времени, — и это значит быть реакционером и утопистом вместе в одно и то же время;

либо желать прогресса без анархии, — и тогда необходимо отказаться от индивидуального обмена для того, чтобы сохранить производительные силы»[286].

Но как будет определяться соотношение затрат труда и доходов без индивидуального обмена? Маркс считает, что в будущем обществе ценообразования не будет вовсе, и «количество времени, которое будут посвящать производству того или другого предмета, будет определяться степенью общественной полезности этого предмета»[287]. Но если для производства крайне необходимого продукта можно будет затратить меньше времени, чем для менее необходимого? Заставлять работников трудиться медленнее? Или так организовать производственный процесс, чтобы технологии развивались в соответствии с указаниями Маркса о времени? Такие парадоксы получаются от уверенности марксистов, что в будущем обществе все будет организовано совершенно планомерно и рационально, а рациональность определяется представлениями Маркса об «общественно необходимом рабочем времени». Это предельно близко понимаю проблемы Прудоном, но он предлагает всего лишь регулирование цен, в то время как Маркс предлагает с помощью того же принципа (весьма абстрактного и догматического у обоих теоретиков) управлять работой каждого труженика.

При том, что «перегибы» Маркса с определением времени труда не прижились в марксистской теории, сам подход закрепился. Марксист Туган-Барановский комментирует предложения Оуэна и Прудона: «Не организация сбыта, а организация общественного производства, замена анархичного единоличного хозяйства общественным планомерным хозяйством – вот, что требуется для того, чтобы продукты всегда находили сбыт»[288]. Производство господствует над потребителем. Это – общая черта индустриализма как в капиталистической, так и в марксистской модели. Уже в начале XX века либеральный

марксизм наметил эту линию интеграции марксистского социализма в капиталистическую систему.

По мнению марксистов, социальный вопрос решается в сфере производства, а не обращения. Опыт государственного регулирования рыночной экономики XX в. показал, что это не вполне так. Макроэкономическое регулирование охватывает предприятия с разной организацией производства и разными формами собственности. Регулирование осуществляется и через спрос (в этом отношении Оуэн и Прудон предвосхитили кейнсианство). Не объявить ли Прудона предвестником социал-либерализма («неолиберализма», как назвал учение Прудона критик марксизма Б. Вышеславцев). Нет, Прудон выступает против государственного вмешательства в экономику. Он – антиэтатист и анархист[289]. Общественное регулирование — это не право бюрократов принимать решения о движении ресурсов и производственных процессах, а ясные правовые нормы, обязательные для всех и равные для всех.

Оппоненты Маркса, пытавшиеся найти качественную альтернативу капиталистической цивилизации, считали, что сверхцентрализованное общество не снимает, а усугубляет недостатки капитализма. Капиталистическое общество основано на двойном стандарте – свобода для элиты и рабство для работника. Из этого вытекала нищета большинства населения. Но даже если преодолеть ее, то и в этом случае деспотизм на производстве и несправедливость в повседневной жизни будут вызывать страдание человека, который в силу развития своей культуры, духа уже не может довольствоваться положением человеко-инструмента и человеко-животного. Сущность человеческой личности предполагает участие в творчестве, в размышлении, в принятии решений. И в этом — приговор как капитализму, так и глобальному централизму. Да и нынешнему синтезу этих двух тенденций — тоже. Человек тянется к автономии, к самоуправлению, но не может при этом жить один, как Робинзон. И в этом – вечный шанс самоуправленческого, антиавторитарного социализма, основанного на сочетании свободы и солидарности. Достичь этого синтеза можно не в едином и однородном обществе, а в многообразном социуме самостоятельных самоуправляемых социальных организмов, состоящих из работников-владельцев. Современные культурно-технологические сдвиги создают возможность для этого.

Прудон считает, что дело революционеров – создавать условия для народного творчества, которое приведет к выращиванию новых отношений в самом обществе. «Возбудите общественное творчество, без которого народ будет вечно в бедственном состоянии, и усилия его бесплодны; научите народ создавать для себя, без помощи властей, благосостояние и порядок»[290].

Бакунин и Маркс думают, что народ (либо пролетариат) уже готов творить новую социальную реальность, а Прудон убеждает – надо еще научить, для нового общества необходима низовая практика самоуправления и рост уровня культуры (эта идея продолжает линию Годвина).

Прудон считает, что коммунизм — противоположная капитализму крайность, которая не может решить его проблем. Стать коммунистом — это тоже самое, что «из страха Лойолы

обнять Калиостро»[291]. Альтернатива обеим крайностям — общество без собственности, без жестких границ между “своим” и “чужим”, где каждый распоряжается тем, с помощью чего работает и что сам создает вместе с другими.

Отношения производителя и потребителя конфликтны, но это – не классовый конфликт. Производитель стремится реализовать продукт, который отражает его понимание массовых потребностей. Потребитель предпочитает получить то, что больше соответствует его представлениям и вкусам – его личности. Полное удовлетворение требований молодого Маркса к процессу производства, совершеннейшее утверждение работника в труде и его продукте, может стать трагедией для потребителя, который не найдет того продукта, который удовлетворяет его. «Графоман» не найдет читателя, но и читатель не найдет хороших стихов, о которых тоскует его душа.

В условиях разделения труда продукт – это компромисс между производителем и потребителем. Оба должны чем-то поступиться. Вопрос в том, как организуется этот компромисс – ко благу обоих, или в интересах кого-то третьего?

Ликвидация рынка и денег, которые Маркс принял за квинтэссенцию отчуждения, делу не поможет. Рынок ориентирован на массовое потребление, и значит неизбежна стандартизация. Волю производителю диктуют не столько обладатели денежных мешков, сколько массовые вкусы. Средний потребитель, мещанские вкусы и большинства производителей (кто бы не принимал решение), и большинства потребителей подминают под себя вкусы меньшинств. Пока существует серийное производство, выгоднее производить продукцию для середнячка – и на рынок, и по плану. Рынок и план – это порождение той стадии общественного развития, когда уже есть массовое производство, но еще нет непосредственного общения производителей и потребителей через развитую систему коммуникаций.

Преодоление отчуждения человека от продукта (при чем не только производителя, но и потребителя, личность которого то и дело вступает в конфликт с тем, что предлагает «общество») возможно только по мере развития малосерийности, эксклюзивности, индивидуализации производства, которое в индустриальном обществе доступно лишь элите. Но технологическая основа для возрождения общения производителя и потребителя формируется на наших глазах. Технологический барьер специализации уменьшается, но новое положение требует адекватной социальной организации.

Возвращение качественного производства к ремеслу, к малым формам – технологически обусловленный процесс, в общей форме соответствующий мысли Маркса о возвращении от отчуждения «тем же путем». Но для обеспечения «того же пути» необходимо обеспечение социальных предпосылок, связанных с преодолением господства – вытеснение крупных машинных производств более гибкими и компактными, падение роли буржуазии и пролетариата в пользу средних слоев «информационных ремесленников», «умственного пролетариата» – нового класса, сочетающего в себе функции творчества, труда и руководства, который условно можно именовать «информалиат». Только преодоление индустриализма подводит нас к решению проблемы конфликта производителя и

потребителя. Как показал опыт XX века, попытка заменить рынок плановым распределением подменяет диктат массовых вкусов диктатом чиновников. Ключ к решению проблемы «отчуждения от продукта» – не в товарно-денежных отношениях, а в социальном господстве.

Анархия и власть В XX веке левые марксисты, ссылаясь на упоминание самоуправления в работах Маркса, на его политический федерализм (заимствованный у последователей Прудона) станут утверждать, что Маркс стремился подчинить производство свободным самоуправляющимся работникам. Но тексты Маркса не оставляют сомнений: он последовательный централист, сторонник подчинения производства (а значит и работников) центру, который управляет всем обществом по рациональному (то есть разработанному группой рационально мыслящих управленцев) плану: «Национальная централизация средств производства станет национальной основой общества, состоящего из объединения свободных и равных производителей, занимающихся общественным трудом по общему и рациональному плану»[292]. Здесь предельно обострено противоречие между свободой работника и его готовностью всегда подчиняться единому рациональному плану. Эта система может существовать только при одном условии – что работник всегда будет добровольно и свободно выбирать именно то поведение, которое запланировано центром. Если нет – в жертву должен быть принесен или обязательный план, или свобода.

Общественный идеал Маркса и Энгельса, как и большинства современных им социалистов, формально является безгосударственным. Вслед за А. де Сен-Симоном и немецким социалистом В. Вейтлингом Энгельс выступает за «упразднение всякой формы правления, основанной на насилии и большинстве, и замене его простым управлением, организующим различные отрасли труда и распределяющим его продукты»[293]. Но Энгельс никак не разъясняет, каким образом возможно такое управление, и почему все должны добровольно подчиниться решениям управленцев. Это еще благое пожелание, типичное для либеральных и социалистических программ того времени.

Управление — это власть. Но не для Энгельса и не для Маркса, который в этом отношении пошел за своим другом и соратником. Социалистическое управление в марксистской традиции — принятие рациональных решений, которое сознательно выполняется без всякого насилия. Просто потому, что эти решения заведомо разумны.

Рациональность становится одной из главных добродетелей, которые помогают марксистам обосновывать необходимость общности имущества. Подводя итог описанию оуэновской общины в Великобритании, Энгельс писал: «Итак, мы видим, что общность имущества не представляет ничего невозможного и что, наоборот, все эти попытки вполне удались. Мы видим также, что люди, живущие общиной, живут лучше, затрачивая меньше труда, имеют больше свободного времени для своего духовного развития, и что они лучше и нравственнее, чем их соседи, сохранившие частную собственность».[294]

Эрбельфельдские речи Энгельса проникнуты духом рационализации, учета всех потребностей и рабочих сил, подчинения всех сторон жизни общества единому управлению. Энгельс утверждал, что в коммунистическом обществе «управлению придется вестись не только отдельными сторонами общественной жизни, но всей этой жизнью во всех ее

отдельных проявлениях, во всех направлениях... Мы и требуем пока того, чтобы государство объявило себя всеобщим собственником и как таковое управляло бы общественной собственностью на благо всего общества...»[295] Это достаточно ясная формулировка идеала тоталитарного общества, в котором государство вмешивается во все сферы жизни человека, располагает всем имуществом и согласует потребности людей с возможностями общества. И в то же время Энгельс восхищается экспериментами Оуэна, чуждыми какому-либо принуждению и основанными на самоуправлении. Это ли не парадокс. Так же хорошо Энгельс относится и к Фурье с его идеей добровольного труда, который возникает потому, что коммунизм позволяет каждому найти именно ту работу, которая ему по сердцу. Выше мы приводили слова Энгельса, из которых следует, что он вовсе не собирался принуждать миллионные массы трудящихся к работе на деспотическое государство. Напротив, он противник государственного насилия. Государство должно заменить власть управлением, основанным на добровольном подчинении. Как же это может быть?

Как и Оуэн, Энгельс – профессиональный предприниматель, управленец. Он верит в рациональное управление сильнее самих отцов просвещения, поставивших рацию над верой и духом. Энгельс страдает от хаотичности и нерациональности современного ему капиталистического хозяйства, которое обрекает рабочих на голод и унижения. Как гуманист, Энгельс протестует против этого и верит, что если организовать все силы общества рационально, то труд станет радостным, а нищета исчезнет. Ради осуществления этого великого идеала годится болезненное, но быстро лечащее средство – революция.

Революция кардинальным образом изменит всю систему отношений человека и производства: «...масса орудий производства должна быть подчинена каждому индивиду, а собственность – всем индивидам. Современное универсальное общение не может быть подчинено индивидам никаким иным путем, как только тем, что оно будет подчинено всем им вместе»[296]. Другими словами – все принадлежит всем не только на словах, а на деле. Возникает единый хозяйственно-информационный организм («универсальное общение»), который как единое целое подчинен каждому, потому что этот каждый может моментально согласовывать свои интересы с интересами другого каждого. Основоположники марксизма смотрят на выполнение этого идеала как на социально-управленческую задачу, не задумываясь об отсутствии организационно-технических предпосылок и достаточного культурного уровня каждого для того, чтобы он пользовался всем хозяйством не в ущерб остальным. Да и хозяйство здесь видится каким-то единым автоматизированным блоком, который обслуживает нужды каждого. В XIX-XX вв. эта философская абстракция могла воплотиться только в индустриально-бюрократическую диктатуру, действующую от имени всех. В середине XX в., по мере успехов НТР, предпосылки осуществления мечты об «универсальном общении» стали более заметны. Современные информационные технологии теоретически позволяют подчинить «универсальное общение» каждому. И управление хозяйством через универсальное информационное поле – тоже вполне представимая перспектива. Но не реальность. Потому что информационные потоки принадлежат не каждому, а контролирующей информационное пространство монополистической элите. Проблема снова переходит из технической сферы в социальную.

Мысли Прудона о власти выглядят парадоксально: «хотя я большой приверженец порядка, тем не менее я в полном смысле слова анархист»[297]. Отсюда знаменитая формула: «Анархия – мать порядка».

Прудон показывает, что ныне принятые взгляды прежде тоже звучали странно: «подобно тому как человек ищет справедливости в равенстве, так общество ищет порядка в анархии. Анархия, отсутствие господина, суверена – такова форма правительства (имеется в виду политическое устройство – А.Ш), к которой мы с каждым днем все более приближаемся, и на которую мы, вследствие укоренившейся в нас привычки считать человека правилом, а волю его – законом, смотрим как на верх беспорядка и яркое выражение хаоса. Рассказывают, что некий парижанин 17-го столетия, услышав, что в Венеции совсем нет короля, не мог опомниться от изумления и умирал со смеху, когда ему рассказывали об этом смешном обстоятельстве. Такова сила предрассудка: все мы без исключения хотим иметь вождей или вождя... Скоро кто-нибудь... скажет: все короли. Но когда он это скажет, я возражу: никто не король; все мы волей-неволей члены общества»[298].

Анархия Прудона не противостоит общественному порядку, но этот порядок должен обеспечивать свободу и народовластие. Он бросил еще одну «парадоксальную» фразу: «Республика есть положительная анархия»[299], иными словами – конструктивная анархия, а не хаос и разрушение, как иногда понимается это слово. История знает множество республик, которые не имеют ничего общего с идеалами Прудона. Но являются ли «президентская республика» или «парламентская республика» республиками в полном смысле слова, то есть, с латыни, *res publica*, народовластием? Или все-таки властью президента, парламента, элит?

Слово «анархия» способно шокировать даже искушенных исследователей. Биограф Прудона К. Винсент пишет: «Он принимает лейбл «анархизм»; но он настаивает на том, что общество должно быть пропитано социальной моралью, которая вела бы людей к признанию личного достоинства их соседей и которые осуществляли бы преобладание общих интересов общества над эгоистическими интересами отдельных личностей»[300]. Здесь характерно слово «но», которое создает впечатление непоследовательности Прудона, проводящего под лейблом «анархизм» чуждые анархизму взгляды. В действительности Прудон формулирует идеологию классического анархизма по праву основателя учения. И не стоит удивляться, что эти взгляды противоречат мифу об анархизме.

Анархия – отсутствие власти. Не хаос ли это, противоположность порядка? Но в социальном хаосе власти ничуть не меньше, чем в тоталитарном государстве. Какая разница, кто решает расстрелять человека – главарь банды или глава тройки. Анархия – вытеснение власти свободой, самоуправлением, моралью, сложной системой человеческих отношений, исключая организованное насилие человека над человеком.

«Довольно партий; довольно власти; безусловная свобода личности и гражданина! В трех словах я изложил мои общественно-политические идеалы»[301]. Но к идеалам следует идти постепенно. Готовность общества к анархии зависит от уровня культуры: «во всяком данном обществе власть человека над человеком обратно пропорциональна интеллектуальному развитию, достигнутому обществом...»[302] Это верно и в том смысле, что

интеллектуальное освобождение невозможно без социального.

Противоречие подходов Прудона и Маркса выясняются и во время обсуждения исторических вопросов. Прудон пишет: «Отличительная черта золота и серебра заключается, повторяю, в том, что благодаря своим металлическим свойствам, трудности добывания, а главное — вмешательству государственной власти они в качестве товаров рано приобрели устойчивость и аутентичность»[303]. Этот взгляд вполне соответствует историческим знаниям того времени, да и сегодня со сказанным трудно спорить. Но эти простые истины не укладываются в марксову философию истории. Для начала он сообщает «г-ну Прудону, что прежде всего стало известно время, необходимое для производства предметов первой необходимости, каковыми являются железо и т.д.»[304] Ну хорошо, Маркс мог еще не знать о существовании медного и бронзового века. В отношении роли государства его аргумент ничего не меняет. Марксу важно показать, что государство не формирует экономическую структуру: «Итак, произвол государей является, по мнению г-на Прудона, верховной причиной в политической экономии!

Поистине нужно не иметь никаких исторических познаний, чтобы не знать того факта, что во все времена государи вынуждены были подчиняться экономическим условиям и никогда не могли предписывать им законы. Как политическое, так и гражданское законодательство всего только выражает, протоколирует требования экономических отношений»[305]. «Факт» Маркса изобличает как раз недостаток его исторических познаний. От решений государей, от государственного законодательства и во времена ветхозаветных царей, и Германии XIX века и, забегая вперед скажем, при марксистских правителях «социалистических стран» зависели и формы собственности, и состояние платежных средств, и состояние рынка. Государственная собственность исторически предшествует частной и часто порождает ее. Решение государя может играть определяющую роль при выборе материального носителя денег — золотого эквивалента, серебра, изрядно разбавленного медью, или денежной банкноты. На этой почве происходили бунты и финансовые катастрофы, политические решения вызывали экономический упадок или подъем.

Упрощенный взгляд Макса на государство был обусловлен его грубым экономическим детерминизмом: «Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталистом»[306].

Разумеется, было бы неверно считать, что государственные лидеры действуют произвольно в безвоздушном пространстве. Они оказывают значительное влияние на экономические процессы, но и процессы влияют на них. Это двустороннее явление, и Прудон выражается достаточно осторожно, указывая на «вмешательство государственной власти» (а не выдуманный Марксом «произвол государей»).

Прудон считает, что «всякая администрация, налоги, полиция — вечная сделка, всегда нарушаемая и возобновляемая, между патрициатом и пролетариатом»[307]. Таким образом, Прудон осознает исторически обусловленный характер государства, исчезновение которого произойдет не сразу.

Раскрывая роль государства как фактора экономического развития, Прудон оказывается более глубоким знатоком экономической истории, чем Маркс. И это не случайно. Прудон более внимательно, чем Маркс, присматривается к государству. Маркс считает государство вечно вторичным, вспомогательным фактором, который может служить и капиталистам, и пролетариату — в зависимости от задач, которые будут поставлены этому пассивному «орудию» господствующим классом. Прудон видит, что государство может направить социально-экономический поток по руслу, выгодному самой бюрократии. В этом различии понимания истории также видно противостояние бюрократического и антиавторитарного социализмов.

Прудон стремится заменить власть чиновников властью понятных, научно обоснованных и всеми признанных законов. «Свобода есть анархия, безвластие, потому что она не признает власти воли, а только власть закона, то есть необходимости»[308]. У. Таккер, развивая идеи Прудона, пришел к парадоксальному, но логичному выводу: «Государство есть олицетворение идеи правонарушения»[309]. Оно постоянно нарушает права простых людей в пользу касты. Ниже мы увидим, что Прудон затем стал именовать договорное право не законами, а договорами и обещаниями. Договорное право – важнейший элемент как его экономической, так и политической системы. Противопоставляя Прудона Марксу, Б. Вышеставцев пишет: «Прудон прежде всего был по характеру своего мышления выдающимся юристом»[310].

Если правила игры понятны, научны и однозначно трактуемы, они исключают произвол. Прудон хочет передать власть науке. Как дитя просвещения, он преувеличивает объективность науки: «Политика есть наука о свободе: власть человека над человеком, какую бы форму она не принимала, есть угнетение. Высшая степень совершенства общества заключается в соединении порядка с анархией, то есть в безвластии»[311]. «Наука о правительстве или о власти должна быть представлена одной из секций Академии наук, и постоянный ее секретарь неизбежно должен быть первым министром»[312]. Но это – не платоновская диктатура ученых. Здесь диктатуры нет вовсе. Во главе властных органов должны стоять ученые (читай – научно мыслящие компетентные люди), но самих органов множество, и власть распылена по уровням и направлениям: «Так как исполнительная власть, по существу, принадлежит воле, то чем больше будет у нее носителей, тем лучше: в этом именно заключается истинная суверенность народа. Если подобным идеям суждено когда-нибудь проникнуть в человеческие умы, то дни представительного образа правления и тирании ораторов будут сочтены»[313]. Как видим, и парламент для Прудона – лишь временное зло.

Но с самого своего возникновения анархизм и антиавторитарный социализм не выступали против политической борьбы как таковой. Просто участие в политической борьбе должно быть основано на ясных принципах. Прудон формулирует политические задачи социального движения: «В политике идея взаимности, то есть экономическая программа рабочих классов, нуждается в таком политическом порядке, при котором все вещи, все идеи, все интересы сводились бы к равенству, общественному праву, справедливости, равновесию, свободной игре способностей, свободе активности индивидуумов и групп, одним словом — к автономии»[314].

Прудон – реформист, повторим здесь цитированное выше высказывание в ответе Марксу: «Я предпочитаю сжечь институт собственности на медленном огне, чем придать ему новую силу, устроив варфоломеевскую ночь для собственников»[315]. То же он мог бы сказать и о власти. Прудон понимал: «Анархия же, в чистом ее виде, – это идеал, который никогда не будет осуществлен во всей полноте»[316].

Так зачем выдвигать столь удаленные цели? Маркс тоже предлагает максималистские решения, но рассчитывает, что они будут реализованы уже на современной ему технологической и культурной базе. Однако он тоже не исключает, что коммунистический идеал будет достигнут после прохождения переходной стадии социализма. Но она по Марксу – уже начало коммунизма, который после достижения социализма становится необратимым. Прудон выдвигает идеал как направление движения, не смешивая его с началом пути. Это — принципиально разные подходы. Если разрыв с капитализмом уже объявляется несовершенной формой социального идеала, теория теряет свой творческий потенциал. На место стремления к преобразованию общества в качественно новое состояние приходит защита достигнутого «несовершенного коммунизма» — в сущности иной формы старого общества.

Прудон выдвигает критерий действительно социальной революции: «Главная, решающая, идея этой Революции, чтобы в результате не стало БОЛЬШЕ ВЛАСТИ ни в церкви, ни в государстве, ни в земле, ни в деньгах. Таким образом мы хотим сказать тем, кто ничего не видит, тем кто ничего не понимает, о согласии интересов каждого с интересами всех, тождестве суверенитета коллективного и суверенитета индивидуального»[317]. Опыт перерождения революционных процессов подтвердил принципиальность критерия Прудона: если революция укрепляет авторитарную систему, она приобретает черты реакции.

Идеал коммунизма также предусматривает исчезновение государства и власти. Это создает трудности различения двух учений. Так, исследователь В.В. Кривенький определяет анархистов как «сторонников общественно-политического течения, провозглашающего своей целью уничтожение государства, всякой политической власти, рассматриваемых исключительно как органы насилия»[318]. Но под такое определение попадают и марксисты. Ведь в коммунистическом обществе политическая власть должна исчезнуть. К тому же многие анархисты от Прудона до сторонников «переходного периода» к анархии, формулировавших свои взгляды в XX веке, считали возможным использование политических структур не только в качестве «органов насилия», но и для организации новых социальных отношений. Суть различия не в безгосударственном идеале анархизма.

При всем своем «антиэтатизме», не-анархические коммунистические учения, прежде всего марксизм, не отказывается от идеи руководящего центра. Иначе их негативное отношение к модели Прудона было бы трудно объяснить. Прудон выступает против экономической и политической централизации, Маркс – за. Прудон считает, что нельзя устранить деспотизм, усиливая полномочия центральной власти. Задача – вытеснение власти свободой и самоуправлением и с государственного, и с производственного уровня, замена централизма федерализмом. Прудон провозглашает: «В политической сфере... мютюэлизм... берет себе имя федерализм»[319].

Сравнивая федерализм и анархические лозунги Прудона, исследователи, не искушенные в теме анархизма, начинают путаться: кто же такой Прудон – анархист или федералист? На эту ошибку указывает Эльбахер: «Диль и Ценкер думают, что до 1852 года учение Прудона было Анархией, потом стало федерализмом; это ошибка: прудоновская анархия была с самого начала федерализмом; только позже она была окрещена им этим именем»[320].

Дело не только в даровании имен. Не мудрено противопоставлять эти два понятия, если воспринимаешь анархию как хаос. Модель федерализма вполне организована. Анархия Прудона – это общество, которое в политической сфере устроено на началах федерализма. Анархия относится к федерализму как общее к частному, и то же самое мы встретим у классического анархиста Бакунина. Федерализм Прудона никак не противоречит его анархизму. Федерализм также – это путь к анархии.

Исследователь В.П. Сапон пытается провести разделительную линию между анархизмом и другими направлениями либертарного социализма так: сторонники последнего (non-anarchists libertarians), «имея в виду анархию как отдаленный идеал – признают необходимость сохранения на переходный период политико-организационных структур, не стесняющих общественную свободу: «минимального государства» (либералы) или федерации самоуправляющихся территориальных и производственных объединений (сторонники либертарно-социалистических учений)»[321]. Либералы здесь упомянуты не к месту, так как не стремятся к анархии – с ней несовместима частная собственность. Что касается анархистов, то, начиная с Прудона, как мы видим, они в значительной своей части тоже «признают необходимость сохранения на переходный период» этих структур. В.П. Сапон конкретизирует: анархизм выступает против власти, а либертарный социализм – только против государства[322]. Такое различие еще более запутывает ситуацию. Мы увидим, что даже Бакунин (не говоря о Прудоне) признает возможность сохранения на первое время негосударственных властных институтов. Исследователь С.Ф. Ударцев констатирует: «все теории анархизма признают общественные формы власти и многие формы права при условии отсутствия их связи с государством»[323].

Так что получается, что эти «non-anarchists» libertarians – вполне anarchists.

Чтобы как-то решить эту проблему, В.П. Сапон находит другое различие: анархизм шире либертарного социализма, так как радикальней, а либертарный социализм шире, так как в нем участвуют не только анархисты[324]. А кто еще? Насколько надо быть «радикальным», чтобы получить право гордо именоваться анархистом? В.П. Сапон не разъясняет этого достаточно, чтобы читатель понял, чем анархист Прудон отличается от этих non-anarchists libertarians или, по В.П. Сапону, «либертаристов».

Прудоновский федерализм вызывает особое неприятие у нынешних марксистов, которые пытаются найти истоки распада своих государств где угодно, только не в теории и практике государственного социализма. Так, С. Брайович ищет истоки трагедии Югославии в прудонизме: «Идеи Прудона нашли свое отражение и в югославском проекте самоуправления. Так, федерализация собственности, из которой следует плюрализм самоуправленческих интересов, привела к разрушению единого югославского рынка и

формированию республиканских экономик”[325].

Марксисту неизвестно, что Прудон никогда не выступал за «федерализацию собственности», он был противником собственности, противопоставляя ей владение, причем не «федерализованное», а непосредственное — самих трудящихся. Регионализация югославского рынка была вызвана тем, что реальная экономическая власть находилась не у трудовых коллективов, а у региональных бюрократических кланов. Модель, очень далекая от взглядов Прудона. Любопытно, что в СССР существовала другая экономическая авторитарно-социалистическая модель, нежели в Югославии, но это государство тоже распалось. И здесь Прудон виноват?

Апелляция к Прудону не случайна. Потерпев крах, практический марксизм пытается «тянуть за собой» и атиавторитарный социализм, возложив на него хотя бы часть ответственности за свои провалы и одновременно скомпрометировав именно те положения оппонентов, которые действительно отличают их от марксизма: “Подмена марксизма прудонизмом видна и в устранении демократического централизма, и в универсализации консенсуса, — продолжает С. Брайович. — Консенсус считается великим достижением демократии. Универсализация консенсуса означает легализацию права меньшинства, его привилегированное право за счет большинства. В многонациональном государстве это приводит к усилению национализма и сепаратизма, что наглядно показал пример распада Югославии”[326]. Однако национализм возникает и в централизованных государствах. А вот кровавый характер кризиса на Балканах связан как раз с отсутствием консенсуса и отрицанием федерализма в государствах, возникших на месте Югославии. Боснийское и хорватское правительства не признавали прав сербов, сербское правительство ограничивало права албанцев, албанский национализм в Косово игнорирует права сербов. Это — прямая противоположность принципам общественного устройства, которые предлагал Прудон и его последователи.

В работе «Принцип федерализма» Прудон выдвинул его в качестве переходной модели, ведущей общество в сторону анархии.

«До сегодняшнего дня Федерализм вызывает в сознании только идеи распада: он не понят нашей эпохой как политическая система.

А) Группы, которые составляют конфедерацию, то, что называют в другом случае государством, суть сами по себе государства, самоуправляющиеся, самосудные, и самоадминистрирующиеся, во всех суверенитетах в соответствии со своими собственными законами.

Б) Для объединения в конфедерацию предполагается договор с взаимными гарантиями.

В) В каждом государстве, вступающем в конфедерацию, правительство организовано по принципу разделения властей: равенство перед законом и всеобщее голосование лежат в его основе.

Вот вся система. В конфедерации политическое тело формируют не индивиды, граждане или предметы; это группы, данные априори природой, и следовательно величина большинства не превышает население, проживающее на территории в несколько квадратных лье. Эти группы сами по себе — маленькие государства, демократично организованные под защитой федерации, единицы которых — главы семей или граждане»[327]. Очевидно, что слово «государство» употребляется здесь в переносном смысле, речь идет о небольших общинах, полисах. Закон – это договорное право, которое граждане и их объединения устанавливают между собой. «Единство отмечается не законами, а лишь обещаниями, которые взаимно дают различные автономные группы»[328].

В основе этой системы лежит личность. Она является первичным субъектом нового, договорного права. «Выполняя взятое на себя обязательство, я сам себе правительство... Порядок договорный, сменив собой порядок законодательный, создаст истинное управление человека и гражданина, истинное народовластие, республику»[329]. Это – сетевая республика горизонтальных связей, которые сменяют собой вертикальные управленческие отношения. Но сразу перейти на полностью равноправные связи вряд ли получится. Должны существовать группы людей, которые по поручению граждан будут решать общие вопросы. Как сделать такую систему максимально демократичной, не дать новой элите замкнуться в правящую касту?

Демократическое общественное устройство основано на широкой автономии нижестоящих общественных структур от вышестоящих, на сети договорного права, избрании чиновников гражданами и союзе союзов. Дело в том, что небольшие общины не могут сразу объединиться в федерацию страны — в стране слишком много таких общин. Поэтому Прудон выступает за «федерацию федераций»[330]. Низовые объединения граждан объединяются в региональные союзы, которые в свою очередь объединяются в более широкие федерации регионов. Союз регионов, составляющих страну, уполномочен заниматься только теми вопросами, которые ему поручили нижестоящие субъекты. Руководящий совет каждого уровня состоит из делегатов нижестоящих уровней. Делегаты реально зависят от тех, кого представляют (что нельзя сказать о депутатах, избираемых массой неорганизованных граждан). Избиратели не могут отозвать депутата, а община или региональный совет — может. Делегирование, таким образом, представляет собой реальную демократию, которая передает в центр волю самоуправляющихся общин, а не наоборот.

Система власти выстраивается снизу, а не путем назначения сверху. Система делегирования имеет важные преимущества перед парламентаризмом: избирающие хорошо знают избираемых, могут легко отозвать их в случае необходимости, сформулировать императивный мандат и проконтролировать его исполнение. В результате “низы” получают реальные рычаги определения политики “верхов”, что и составляет сущность демократии[331].

Марксисты признали благотворность делегирования сначала после Парижской коммуны, а затем в ходе Российской революции, когда идея делегирования воплотилась в Советах. Но для марксистов делегированная демократия позволительна только, если за политическим фасадом сохраняется хозяйственный управленческий центр.

Прудон предлагает разные принципы построения федераций — и территориальный (от самоуправления соседей, общины до федерации регионов), и производственный (от самоуправляющегося предприятия до палаты организованных по отраслям трудящихся, которая координирует производство и социальное обеспечение). В своих программных выступлениях периода революции 1848-1849 гг. Прудон выступает скорее как синдикалист, поддерживая отраслевую организацию трудящихся и переход к их объединениям функций, которые ранее принадлежали бюрократии. Прудон опасается, что групповые интересы могут прийти в конфликт между собой, «поэтому независимый арбитр необходим»[332] Парламент существует как арбитр и законодатель, но не может формировать исполнительную власть[333]. Власть, назначаемая сверху (пусть и избранным президентом либо императором) должна смениться союзом союзов, федерацией самоуправляющихся тружеников, вырастающей снизу. В 50-60-е гг. Прудон дополняет свою синдикалистскую отраслевую модель идеей территориальной федерации. В результате возникает идея более устойчивой структуры, где возможные конфликты между отраслями будут сглаживаться территориальной координацией, и наоборот.

В основе этой системы, в «узлах» ее основания лежат естественно сформировавшиеся группы: семья, местная община, коллектив работников — «естественные группы», как называл их Прудон. Их связи переплетаются не по какому-то плану, а спонтанно, как корни травы. Это корневое пространство объединяет на основе единых принципов и политическую, и экономическую стороны общества.

Прудон останавливается перед соблазном свободы без солидарности, свободы для тех, кто готов освободить себя. Свобода возможна только тогда, когда все имеют одинаковые права на свободу. Анархо-индивидуализм легко находит форму осуществления свободы в виде свободной стаи (только насколько она свободна на практике?) или клуба вольномыслящих (которые в мирской жизни встроены в Систему и собираются вместе только пофилософствовать). Прудона интересует, можно ли жить иначе, и при том жить без постоянной конфронтации между людьми.

Федерализм и договорное право должны привести отдельные интересы в гармонию. Правда в прудоновской схеме есть один заведомо утопичный для того времени пункт — свобода договора предусматривает право его не заключать или из него выйти. Право не только юридическое, но и фактическое. Население поселка вряд ли может покинуть территорию окружающего его региона. Но уже в конце XX в., в эпоху Интернета и глобальных экономических процессов, территориальная привязка человека и человеческих общностей играет все меньшую роль.

Итак, «свободная ассоциация, свобода, довольствующаяся охраной равенства средств производства и равноценности обмениваемых продуктов, есть единственная справедливая, истинная и возможная форма общества»[334]. Каждый работник — он же и со-хозяин, участник производственной демократии. Это исключает восстановление эксплуатации внутри ассоциации — новые работники, даже пришедшие с не процветающих предприятий, все равно обладают равными правами. Производственные ассоциации обмениваются продуктами своего труда на основе взаимности. По сути это рынок, но регулируемый не

правом собственности, а типовым договорным правом, которое фиксирует стоимость, основанную на производственных издержках. Накопление капитала не происходит, потому что другие ассоциации не платят больше принятого. Национальный банк дает ссуды ассоциациям на беспроцентной основе. Ассоциации и территориальные общины объединяются в отраслевые союзы и федерации, органы которых формируются по принципу союза союзов, делегирования. В качестве арбитра возможен парламент. Мир покрывают корневые связи, которые постепенно вытесняют товарно-денежные отношения (даже конституированные) альтруистической взаимопомощью. Но такая перспектива возможна только тогда, когда к этому придут сами работники — безо всякого насилия и принуждения.

Итак, анархизм – это социальное учение и идейное течение, которое выступает за создание общества, основанного на началах свободы личности и самоуправления сообществ, без государственности, понимаемой как центральная, отчужденная от населения власть. Анархизм отличается от других направлений освободительного (либертарного) социализма и от не-анархистских коммунистических учений не безгосударственным идеалом (даже марксисты считают, что при коммунизме не будет государства), а отрицанием экономического властного централизма и возможности использовать авторитарные государственные институты для создания нового общества. Большинство анархистских учений не считают, что может быть немедленно достигнуто полное безвластие, они выступают за минимизацию власти и других форм угнетения (в чем отличаются от либерализма, выступающего против государства в пользу власти частного собственника). В соответствии с идеями анархизма сообщества работников (общины, коллективы) должны были быть самостоятельными в своих внутренних делах, а для решения общих вопросов создавать союзы, которые в свою очередь объединяются в федерации. Решения, таким образом, вырабатываются снизу и согласовываются в масштабе региона, страны или международного союза.

Для всякого сторонника преобразований очень важно предъявить людям хотя бы несовершенную, но работающую модель будущего. «Интересно, что под конец жизни он нашел, наконец, свой идеал не в чем ином, как в русской общине, – писал о Прудоне М. Туган-Барановский. – В своем посмертном сочинении «Теория собственности» Прудон говорит, что истинное решение проблемы собственности дано славянской расой, создавшей общинную собственность, при которой земля принадлежит всей общине, а право пользования отдельными земельными участками – каждому члену общины»[335]. Здесь вызывает удивление слово «наконец», ибо общественный идеал Прудона, как мы видели, и ранее был достаточно ясен. Для марксиста Туган-Барановского, привыкшего бороться с теорией общинного социализма в лице народничества, непонятно, что финальный вывод Прудона вытекает из всех его базовых принципов и основных построений. Прудон предвосхитил русское народничество, предельно близкое к конструктивному анархизму Запада. И не удивительно, что по мере развертывания народнической агитации Прудон увидел в ней близкие идеи.

В конфликте Прудона и Маркса симпатии основателя народничества А.И. Герцена были на стороне Прудона. Энгельс писал Вейдемейеру о намерении Герцена создать “демократически-социально-коммунистически-прудонистскую русскую республику”[336]. В

этой смеси ключевым является слово «прудонистская», которая и определяет отношение Маркса и Энгельса к зарождающемуся народничеству.

Предложенный Прудонем путь перехода к общественной собственности и безвластию через вытеснение власти самоуправлением и через размывание собственности владением, стал основой взглядов его многочисленных сторонников, среди которых наиболее важную роль сыграли прудонистские фракции Интернационала и Парижской Коммуны, лидер Испанской республики Пи-и-Маргаль, русские народники.

<...>

Широта идейного пространства: Прудон и Маркс

Прудон и Маркс сформулировали основы двух течений социализма настолько полно, что целый век дальнейшего идейного развития был посвящен преимущественно конкретизации деталей, приложению теории к практике. Это не умаляет значения других теоретиков и практиков, как величие Циолковского не умаляет величия Королева или Гагарина. Фундаментальность работ Прудона и Маркса (при всех недостатках) позволяет принять их за точку отсчета, определяя через них положение остальных социалистов в теоретическом спектре, избегая подробного рассмотрения повторяющихся идей и концентрируясь на новизне, углубляющей учение социализма по сравнению с фундаментальным уровнем.

Оба теоретика относятся к существующему обществу с откровенной неприязнью. Но при этом Прудон ищет сочетания эволюционных и революционных путей к новому обществу, а Маркс – сторонник революционного разрыва с прошлым. Прудон – реформист, готовый участвовать в революции, Маркс – радикал и революционер, но к концу жизни и он предпочитает «мирные пути» и реформы, если возможно избежать крови.

По Марксу эволюционную работу для социалистов проделает капитализм. Марксисты должны сосредоточиться на идейном и организационном воспитании рабочего класса, способного совершить революцию. Прудон считает необходимым уже в недрах существующего общества создавать структуру будущего. Когда она станет достаточно сильной и работоспособной, то разрушит оболочку капитализма, сохранив по мере возможности его достижения.

Прудон подверг уничтожающей критике «священное» право собственности, нанеся удар по видимым основаниям капиталистической системы. При этом Прудон не ограничился критикой только частной собственности (что делалось и до него, и на чем концентрируется Маркс), а критиковал собственность как таковую. Собственность (и частная, и государственная) – это ничем не оправданная монополия и привилегия.

Отрицая собственность и отстаивая владение, Прудон требует распространить демократию на социально-экономическую сферу, а через нее – достичь действительного народовластия. Маркс тоже демократ, но он не противопоставляет демократию и диктатуру. Капитализм будет разрушен диктатурой пролетариата, то есть организацией рабочего класса, не ограниченной законами и правами меньшинства. Прудон – категорический противник

авторитарных принципов как в политической (государство и тем более диктатура), так и в социально-экономической (собственность) сферах.

Прудон концентрирует свое внимание на отношениях власти, господства, а Маркс – производства и распределения. Прудон стремится вытеснить власть и собственность структурами самоуправления и их федерацией, а Маркс – частную собственность и рыночную стихию – «общественной» собственностью и производством по единому плану.

Прудон определяет свой идеал как анархию (безвластие, максимально возможная свобода, ликвидация бюрократического государства). Анархия – не хаос, а другая форма организации. Она выстраивается не из центра, а снизу, от периферии к центру. Политическим выражением такой системы является федерализм, система делегированных советов, формируемых из представителей нижестоящих организаций как союз союзов.

Демократическое общественное устройство основано на широкой автономии нижестоящих общественных структур от вышестоящих, на сети договорного права, избрании чиновников гражданами. Этот порядок основан на согласовании разнообразных интересов. Общество сохраняет многообразие, но ни одна из его групп не получает возможности для господства.

Маркс стремится к коммунизму (общности, целостности, преодолению социальных разделений). Марксистский проект предполагает возникновение единого хозяйственно-информационного организма («универсального общения»), который как единое целое подчинен каждому. Хозяйство здесь видится единым автоматизированным блоком, который обслуживает нужды каждого. В XIX-XX вв. эта философская абстракция могла воплотиться только в индустриально-бюрократическую диктатуру, действующую от имени всех. В середине XX в., по мере успехов информатизации, предпосылки осуществления мечты об «универсальном общении» стали более заметны. Современные информационные технологии теоретически позволяют подчинить «универсальное общение» каждому. И управление хозяйством через универсальное информационное поле – тоже вполне представляемая перспектива. Но не реальность. Потому что информационные потоки принадлежат не каждому, а контролирующей информационное пространство монополистической элите. Проблема снова переходит из технической сферы в социальную.

Вся последующая история социализма может рассматриваться как противостояние и взаимовлияние последователей Маркса и Прудона (к ним в значительной степени относятся и народники). При этом сторонники модели социализма, близкой Прудону, могли быть радикальнее Маркса (анархисты начиная с Бакунина), а марксисты приходили к умеренности, превышающей прудоновскую (Бернштейн и его последователи в социал-демократии). Оба отступления от «чистой» модели чреваты поражениями. Радикальные анархисты не учитывали, что состояние максимальной свободы может быть достигнуто только постепенно, по мере культурной эволюции. Эволюционное достижение идеала Маркса также сомнительно. Уже по мере продвижения к идеалу коммунистический уклад будет разлагаться под влиянием противостоящих социальных интересов, еще не растворившихся в социальной однородности. Целостность общества будет нарушаться, эгоисты станут паразитировать на труде альтруистов. Неудача Оуэна повторится в

масштабах всего мира. Отсюда надежда Маркса на очищающий социальный взрыв, в ходе которого все организуется по единому социальному плану.

И тем не менее, только в отклонениях от чистой модели крылась возможность для синтеза идей двух основных направлений социализма.

Модель Прудона является согласовательной. Территориальные, производственные и иные самоуправляемые группы согласуют свои интересы с помощью договорного права, федеративных советов, куда направляют своих делегатов, а также взаимодействуют путем свободного обмена продуктами, услугами и информацией.

Прудон враждебен не только частной собственности, но и власти государственного или иного экономического центра, так как он порождает монополию. Владение растворяет монополию, делает ее невозможной, так как экономическая власть не закрепляется принуждением.

Прудон выступает за рыночную систему, в которой проигравшие затем возвращаются в игру или не проигрывают до конца, за рынок, в котором ассоциация владельцев противостоит монополизации.

Ни Прудон, ни Бакунин не опасаются, что «богатые» коллективы подчинят себе «бедных». В социалистическом обществе любой новый работник предприятия получает все права самоуправления. Расширяя производство и привлекая новую рабочую силу с неудачливых предприятий, «богатый» коллектив не сможет обзавестись наемными работниками, а только – новыми товарищами. Ведь государство уже не гарантирует особых прав старых работников, их собственность на предприятие.

Прудон выступает за рынок, основанный не на прибыли, а на гарантиях. Он должен регулироваться договорным правом и статистикой, которая, по мысли прудонистов, должна помочь избежать перепроизводства и дефицита. Свобода рынка не означает его хаотичности – рынок может быть организован кооперацией, устраняя спекуляцию.

Прудон считает, что производственное самоуправление необходимо обеспечить реформой денежного обращения — иначе монополизированная и неравновесная рыночная среда погубит свободных тружеников. Предложенное им «конституирование стоимости» заключается в регулировании цен в соответствии с трудовыми издержками на производство продукции. Банк Прудона должен был стать центром системы регулирования рынка. Государство, которое возьмет на себя эту функцию в XX веке – худший из регуляторов в силу своей бюрократичности. Идея антиавторитарного социализма, включая анархизм – добровольное (индикативное, выражаясь современным языком) планирование. Его правила – статистический учет заказов и производственных возможностей, ссуды под залог и поручительство, но без процентов, страхование, кооперативный рынок, развитие структур взаимопомощи. Такой рынок должен обеспечить плавное изменение конъюнктуры, равновесие интересов и возможностей работников.

Равенство свободных работников по мысли Прудона не ликвидирует противоречий между ними, но конфликты теряют свою разрушительность.

Свободное соревнование (без монополии, закрепленной собственности и бюрократического лоббирования) необходимо по Прудону еще и потому, что он выступает против специальной элиты, которая будет решать, в какой пропорции будут распределяться вознаграждения за различные виды труда. Все богатство должно распределяться между всеми занятыми в той степени, в какой они затратили на его создание свое время и силы.

При равновесном рынке, который моделирует Прудон, различие в доходах на разных предприятиях должно быть невелико – иначе работники просто уйдут с неуспешных предприятий. Поэтому на преуспевающих предприятиях прибавки к средневзвешенной зарплате по Прудону не должны значительно превышать доходы менее удачливых коллег и могут играть лишь полезную роль стимула к более успешной работе. Но для предприятий, продукция которых пользуется успехом у потребителей, базовые показатели доходов работников всех профессий должны быть одинаковы.

Насколько в обществе разнятся доходы людей разных профессий, но одинаковой квалификации в своей профессии, настолько социальная система экономически несправедлива. Социализм требует не привилегии для управленцев и более образованных людей, а вовлечения большинства населения в творческую деятельность и вытеснение грубого монотонного труда автоматизацией.

Прудон выступает не только за создание параллельного общества, но и за преобразование существующих социальных структур, без чего альтернативный сектор будет просто смят государством и капиталом.

Маркс опасается распада целого общественного поля, но стремится сделать само поле безопасным для человека, уничтожив в обществе саму почву для отчуждения и обмана. Эту почву он видит в частности: в деньгах, рынке, частной собственности.

Прудон не боится многообразия, предлагая лишь обеспечить каждому элементу социума (предприятию, территории, субкультуре) одинаковую устойчивость к ударам внешнего мира (нации, государства, рынка).

Герцен Александр. Былое и думы. Ч.5, Глава ХІ. П. Ж. Прудон. – Издание «La Voix du Peuple». – Переписка. – Значение Прудона. – Прибавление

Вслед за июньскими баррикадами пали и типографские станки. Испуганные публицисты приумолкли. Один старец Ламенне приподнялся мрачной тенью судьи, проклял герцога Альбу Июньских дней – Каваньяка и его товарищей и мрачно сказал народу: «А ты молчи, ты слишком беден, чтоб иметь право на слово!»

Когда первый страх осадного положения миновал и журналы снова стали оживать, они взамен насилия встретили готовый арсенал юридических кляуз и судебных уловок. Началась старая травля, *par force*[239], редакторов, – травля, в которой отличались министры Людвига-Филиппа. Уловка ее состоит в уничтожении залога рядом процессов, оканчивающихся всякий раз тюрьмой и денежной пеней. Пень берется из залога; пока залог не дополнен, нельзя издавать журнал, как он пополнится – новый процесс. Игра эта всегда успешна, потому что судебная власть во всех политических преследованиях действует заодно с правительством.

Ледрю-Роллен сначала, потом полковник Фрапполи как представитель мацциниевской партии заплатили большие деньги, но не спасли «Реформу». Все резкие органы социализма и республики были убиты этим средством. В том числе, и в самом начале, Прудонов «Le Représentant du Peuple», потом его же «Le Peuple». Прежде чем оканчивался один процесс, начинался другой. Одного из редакторов, помнится, Дюшена, приводили раза три из тюрьмы в ассизы[240] по новым обвинениям и всякий раз снова осуждали на тюрьму и штраф. Когда ему в последний раз, перед гибелью журнала, было объявлено решение, он, обращаясь к прокурору, сказал: «L'addition, s'il vous plaît!»[241] – ему в самом деле накопилось лет десять тюрьмы и тысяч пятьдесят штрафу.

Прудон был под судом, когда журнал его остановился после 13 июня. Национальная гвардия ворвалось в этот день в его типографию, сломала станки, разбросала буквы, как бы подтверждая именем вооруженных мещан, что во Франции настает период высшего насилия и полицейского самовластия.

Неукротимый гладиатор, упрямый безансонский мужик не хотел положить оружия и тотчас затеял издавать новый журнал: «La Voix du Peuple». Надобно было достать двадцать четыре тысячи франков для залога. Э. Жирарден был не прочь их дать, но Прудону не хотелось быть в зависимости от него, и Сазонов предложил мне внести залог.

Я был многим обязан Прудону в моем развитии и, подумавши несколько, согласился, хотя и знал, что залога ненадолго станет.

Чтение Прудона, как чтение Гегеля, дает особый прием, оттачивает оружие, дает не результаты, а средства. Прудон по преимуществу диалектик, контроверзист социальных вопросов. Французы в нем ищут эксперимента листа и, не находя ни сметы фаланстера, ни икарыйской управы благочиния, пожимают плечами и кладут книгу в сторону.

Прудон, конечно, виноват, поставив в своих «Противоречиях» эпиграфом: «destruo et aedificabo»[242], сила его не в создании, а в критике существующего. Но эту ошибку делали спокон века все ломавшие старое: человеку одно разрушение противно: когда он принимается ломать, какой-нибудь идеал будущей постройки невольно бродит в его голове, хотя иной раз это песня каменщика, разбирающего стену. В большей части социальных сочинений важны не идеалы, которые почти всегда или недостижимы в настоящем, или сводятся на какое-нибудь одностороннее решение, а то, что, постигая до них, становится вопросом. Социализм касается не только того, что было решено прежним эмпирически-религиозным бытом, но и того, что прошло через сознание односторонней науки; не только до юридических выводов, основанных на традиционном законодательстве, но и до выводов политической экономии. Он встречается с рациональным бытом эпохи гарантий и мещанского экономического устройства как с своей непосредственностью, точно так, как политическая экономия относилась к теократически-феодальному государству.

В этом отрицании, в этом улетучивании старого общественного быта – страшная сила Прудона; он такой же поэт диалектики, как Гегель, с той разницей, что один держится на покойной выси научного движения, а другой втолкнул в сумятицу народных волнений, в рукопашный бой партий.

Прудонем начинается новый ряд французских мыслителей. Его сочинения составляют переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики. В диалектической дюжести своей он сильнее и свободнее самых талантливых французов. Люди чистые и умные, как Пьер Леру и Консидеран, не понимают ни его точки отправления, ни его метода. Они привыкли играть вперед подтасованными идеями, ходить в известном наряде, по торной дороге к знакомым местам. Прудон часто ломится целиком, не боясь помять чего-нибудь по пути, не жалея ни раздавить что попадет, ни зайти слишком далеко. У него нет ни той чувствительности, ни того риторического, революционного целомудрия, которое у французов заменяет протестантский пиетизм... Оттого он и остается

одиноким между своими, более пугая, чем убеждая своей силой. Говорят, что у Прудона германский ум. Это неправда, напротив, его ум совершенно французский; в нем тот родоначальный галло-франкский гений, который является в Рабле, в Монтене, в Вольтере и Дидро... даже в Паскале. Он только усвоил себе диалектический метод Гегеля, как усвоил себе и все приемы католической контроверзы; но ни Гегелева философия, ни католическое богословие не дали ему ни содержания, ни характера – для него это орудия, которыми он пытается свой предмет, и орудия эти он так приладил и обтесал по-своему, как приладил французский язык к своей сильной и энергической мысли. Такие люди слишком твердо стоят на своих ногах, чтоб чему-нибудь покориться, чтоб дать себя заарканить.

– Мне очень нравится ваша система, – сказал Прудону один английский турист.

– Да у меня нет никакой системы, – отвечал с неудовольствием Прудон, и был прав.

Это-то именно и сбивает его соотечественников, привыкших к нравоучениям на конце басни, к систематическим формулам, оглавлениям, к отвлеченным обязательным рецептам.

Прудон сидит у кровати больного и говорит, что он очень плох потому и потому. Умиравшему не можешь, строя идеальную теорию о том, как он мог бы быть здоров, не будь он болен, или предлагая ему лекарства, превосходные сами по себе, но которых он принять не может или которых совсем нет налицо.

Наружные признаки и явления финансового мира служат для него, так, как зубы животных служили для Кювье, лестницей, по которой он спускается в тайники общественной жизни, – он по ним изучает силы, влекущие больное тело к разложению. Если он после каждого наблюдения провозглашает новую победу смерти, разве это его вина? Тут нет родных, которых страшно испугать, – мы сами умираем этой смертью. Толпа с негодованием кричит: «Лекарства! лекарства! Или молчи о болезни!» Да зачем же молчать? Только в самовластных правлениях запрещают говорить о неурожаях, заразах и о числе побитых на войне. Лекарство, видно, не легко находится; мало ли какие опыты делали во Франции со времени неумеренных кровопусканий 1793: ее лечили победами и усиленными моциями, заставляя ходить в Египет, в Россию, ее лечили парламентаризмом и ажиотажем, маленькой республикой и маленьким Наполеоном – что же, лучше, что ли, стало. Сам Прудон попробовал было раз свою патологию и срезался на Народном банке несмотря на то, что, сама по себе взятая, идея его верна. По несчастию, он в заговаривание не верит, а то и он причитывал бы ко всему: «Союз народов! Союз народов! Всеобщая республика! Всемирное братство! Grande armée de la démocratie!»[243] Он не употребляет этих фраз, не щадит революционных староверов, и за то французы его считают эгоистом, индивидуалистом, чуть не ренегатом и изменником.

Я помню сочинения Прудона, от его рассуждения «О собственности» до «Биржевого руководства»; многое изменилось в его мыслях – еще бы, прожить такую эпоху, как наша, и свистать тот же дуэт а moll-ный, как Платон Михайлович в «Горе от ума». В этих переменах именно и бросается в глаза внутреннее единство, связующее их от диссертации, написанной на школьную задачу безансонской академии, до недавно вышедшего *carmen horrendum*[244] биржевого распутства; тот же порядок мыслей, развиваясь, видоизменяясь,

отражая события, идет и через «Противоречия» политической экономики, и через его «Исповедь», и через его «журнал».

Косность мысли принадлежит религии и доктринаризму; они предполагают упорную ограниченность, оконченную замкнутость, живущую особняком или в своем тесном круге, отвергающем все, что жизнь вносит нового... или по крайней мере не заботясь о том. Реальная истина должна находиться под влиянием событий, отражать их, оставаясь верной себе, иначе она не была бы живой истиной, а истиной вечной, успокоившейся от тревожений мира сего – в мертвой тишине святого застоя[245].

Где и в каком случае, случалось мне спрашивать, Прудон изменил органическим основам своего воззрения? Мне всякий раз отвечали его политическими ошибками, его промахами в революционной дипломатии. За политические ошибки он как журналист, конечно, повинен ответом, но и тут он виноват не перед собой; напротив, часть его ошибок происходила от того, что он верил своим началам больше, чем партии, к которой он поневоле принадлежал и с которой он не имел ничего общего, а был, собственно, соединен только ненавистью к общему врагу.

Политическая деятельность не составляла ни его силы, ни основы той мысли, которую он облакал во все доспехи своей диалектики. Совсем напротив, везде ясно видно, что политика в смысле старого либерализма и конституционной республики стоит у него на втором плане, как что-то полупрошедшее уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому что не приписывает особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны. В подобном отношении к религиозному вопросу стоят все, оставившие христианскую точку зрения. Я могу признавать, что конституционная религия протестантизма несколько посвободнее католического самодержавия, но принимать к сердцу вопрос об исповедании и церкви не могу; я вследствие этого наделаю, вероятно, ошибок и уступок, которых избежит всякий самый пошлый бакалавр богословия или приходский поп.

Без сомнения, не место было Прудона в Народном собрании, так, как оно было составлено, и личность его терялась в этом мещанском вертепе. Прудон в своей «Исповеди революционера» говорит, что он не умел найтись в Собрании. Да что же мог там делать человек, который Маррастовой конституции, этому кислому плоду семимесячной работы семисот голов, сказал: «Я подаю голос против вашей конституции не только потому, что она дурна, но и потому, что она конституция».

Парламентская чернь отвечала на одну из его речей: «Речь – в „Монитер“, оратора – в сумасшедший дом!» Я не думаю, чтоб в людской памяти было много подобных парламентских анекдотов, с тех пор как александрийский архиерей возил с собой на вселенские соборы каких-то послушников, вооруженных во имя богородицы дубинами, и до вашингтонских сенаторов, доказывающих друг другу палкой пользу рабства.

Но даже и тут Прудону удавалось становиться во весь рост и оставлять середь перебранок яркий след.

Тьер, отвергая финансовый проект Прудона, сделал какой-то намек о нравственном растлении людей, распространяющих такие учения. Прудон взошел на трибуну и, с своим грозным сутуловатым видом коренастого жителя полей, сказал улыбающемуся старичишке:

– Говорите о финансах, но не говорите о нравственности, я могу принять это за личность, я вам уже сказал это в комитете. Если же вы будете продолжать, я – я не вызову вас на дуэль (Тьер улыбнулся). Нет, мне мало вашей смерти, этим ничего не докажешь. Я предложу вам другой бой. Здесь, с этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, факт за фактом; каждый может мне напомнить, если я что-нибудь забуду или пропущу. И потом пусть расскажет свою жизнь мой противник!

Глаза всех обратились на Тьера: он сидел нахмуренный, и улыбки совсем не было, да и ответа тоже.

Враждебная камера смолкнула, и Прудон, глядя с презрением на защитников религии и семьи, сошел с трибуны. Вот где его сила – в этих словах резко слышится язык нового мира, идущего с своим судом и со своими казнями.

С февральской революции Прудон предсказывал то, к чему Франция пришла; на тысячу ладов повторял он: берегитесь, не шутите, «это не Каталина у ворот ваших, а смерть». Французы пожимали плечами. Обнаженных челюстей, косы, клепсидры – всего мундира смерти не было видно, какая же это смерть, это «минутное затмение, послеобеденный сон великого народа!» Наконец разглядели многие, что дело плохо. Прудон унывал менее других, пугался менее, потому что предвидел; тогда его обвинили не только в бесчувственности, но и в том, что он накликал беду. Говорят, что китайский император таскает ежегодно за хохол придворного звездочета, когда тот ему докладывает, что дни начинают убывать.

Гений Прудона действительно антипатичен французским риторам, его язык оскорбляет их. Революция развила свой пуританизм, узкий, лишенный всякой терпимости, свои обязательные обороты, и патриоты отвергают написанное не по форме точно так, как русские судьи. Их критика останавливается перед их символическими книгами вроде «Contrat social», «Объявления нрав человека». Люди веры, они ненавидят анализ и сомнения; люди заговоров, они все делают сообща и из всего делают интерес партии. Независимый ум им ненавистен, как мятежник; они даже в прошедшем не любят самобытных мыслей. Луи Блан почти досадует на эксцентрический гений Монтеня[246]. На этом галльском чувстве, стремящемся снять личность стадом, основано их пристрастие к приравниванию, к единству военного строя, к централизации, т. е. к деспотизму.

Кошунство француза и резкость суждений – больше шалость, баловство, удовольствие подразнить, чем потребность разбора, чем сосущий душу скептицизм. У него бездна маленьких предрассудков, крошечных религий – за них он стоит с запальчивостью Дон-Кихота, с упрямством раскольника. Оттого-то они и не могут простить ни Монтеню, ни Прудону их вольнодумство и непочтительность к общепринятым кумирам. Они, как петербургская цензура, позволяют шутить над титулярным советником, но тайного – не тронь. В 1850 году Э. Жирарден напечатал в «Прессе» смелую и новую мысль, что основы

права не вечны, а идут, изменяясь с историческим развитием. Что за шум возбудила эта статья! Брань, крик, обвинения в безнравственности продолжались, с легкой руки «Gazette de France», месяцы.

Участвовать в восстановлении такого органа, как «Peuple», стоило жертвований, – я написал Сазонову и Хоецкому, что готов внести залог.

До того времени мои сношения с Прудоном были ничтожны; я встречал его раза два у Бакунина, с которым он был очень близок. Бакунин жил тогда с А. Рейхелем в чрезвычайно скромной квартире за Сеной, в rue de Bourgogne. Прудон часто приходил туда слушать Рейхелева Бетховена и бакунинского Гегеля – философские споры длились дольше симфоний. Они напоминали знаменитые всеобщие бдения Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елагиной о том же Гегеле. В 1847 году Карл Фогт, живший тоже в rue de Bourgogne и тоже часто посещавший Рейхеля и Бакунина, наскучив как-то вечером слушать бесконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утром он зашел за Рейхелем: им обоим надобно было идти к Jardin des Plantes[247]; его удивил, несмотря на ранний час, разговор в кабинете Бакунина; он приотворил дверь – Прудон и Бакунин сидели на тех же местах, перед потухшим камином, и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор.

Боясь сначала смиренной роли наших соотечественников и патронажа великих людей, я не старался сближаться даже с самим Прудоном и, кажется, был не совершенно неправ. Письмо Прудона ко мне, в ответ на мое, было учтиво, но холодно и с некоторой сдержанностью.

Мне хотелось с самого начала показать ему, что он не имеет дела ни с сумасшедшим prince russe, который из революционного дилетантизма, а вдвое того из хвастовства дает деньги, ни с правоверным поклонником французских публицистов, глубоко благодарным за то, что у него берут двадцать четыре тысячи франков, ни, наконец, с каким-нибудь тупоумным bailleur de fonds[248], который соображает, что внести залог за такой журнал, как «Voix du Peuple», – серьезное помещение денег. Мне хотелось показать ему, что я очень знаю, что делаю, что имею свою положительную цель, а потому хочу иметь положительное влияние на журнал; принявши безусловно все то, что он писал о деньгах, я требовал, во-первых, права помещать статьи свои и не свои, во-вторых, права заведовать всюю иностранною частью, рекомендовать редакторов для нее, корреспондентов и пр., требовать для последних плату за помещенные статьи. Это может показаться странным, но я могу уверить, что «National» и «Реформа» открыли бы огромные глаза, если б кто-нибудь из иностранцев смел спросить денег за статью. Они приняли бы это за дерзость или за помешательство, как будто иностранцу видеть себя в печати в парижском журнале не есть:

Lohn, der reichlich lohnet[249]. Прудон согласился на мои требования, но все же они покоробили его. Вот что он писал мне 29 августа 1849 года в Женеву: «Итак, дело решено: под моей общей дирекцией вы имеете участие в издании журнала, ваши статьи должны быть принимаемы без всякого контроля, кроме того, к которому редакцию обязывает уважение к своим мнениям и страх судебной ответственности. Согласные в идеях, мы можем только расходиться в выводах, что же касается до обсуживания заграничных

событий, мы их совсем предоставляем вам. Вы и мы миссионеры одной мысли. Вы увидите наш путь по общей полемике, и вам надобно будет держаться его; я уверен, что мне никогда не придется поправлять ваши мнения; я это счел бы величайшим несчастьем; скажу откровенно – весь успех журнала зависит от нашего согласия. Надобно вопрос демократический и социальный поднять на высоту предприятия европейской лиги. Предположить, что мы не будем согласны друг с другом, значит предположить, что у нас недостает необходимых условий для издания журнала и что нам было бы лучше молчать.

На эту строгую депешу я отвечал высылкою 24 000 фр. и длинным письмом, совершенно дружеским, но твердым; я говорил, насколько я теоретически согласен с ним, прибавив, что я, как настоящий скиф, с радостью вижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание – возвещать ему его близкую кончину. «Ваши соотечественники далеки от того, чтобы разделять эти идеи. Я знаю одного свободного француза – это вас. Ваши революционеры – консерваторы. Они христиане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопрос негации[250] и переворота на высоту науки, и вы первые сказали Франции, что нет спасения внутри разваливающегося здания, что и спасти из него нечего, что самые его понятия о свободе и революции проникнуты консерватизмом и реакцией. Действительно политические республиканцы составляют не больше как одну из вариаций на ту же конституционную тему, на которую играют свои вариации Гизо, Одилон Барро и другие. Вот этот взгляд следовало бы проводить в разборе последних европейских событий, преследовать реакцию, католицизм, монархизм не в ряду наших врагов – это чрезвычайно легко, – но в собственном нашем стане. Надобно обличить круговую поруку демократов и власти. Если мы не боимся затрогивать победителей, то не будем бояться из ложной сентиментальности затрогивать и побежденных.

Я глубоко убежден, что, если инквизиция республики не убьет наш журнал, это будет лучший журнал в Европе».

Я и теперь в этом убежден. Но как же мы с Прудоном могли думать, что вовсе не церемонное правительство Бонапарта допустит такой журнал? Это трудно объяснить.

Прудон был доволен моим письмом и 15 сентября писал мне из Консьержри:

«Я очень рад, что встретился с вами на одном или на одинаковом труде, я тоже написал нечто вроде философии революции[251] под заглавием «Исповедь революционера». Вы в ней, может, не найдете вашего варварского задора (*verve barbare*), к которому вас приучила немецкая философия. Не забывайте, что я пишу для французов, которые со всем своим революционным пылом, надо признаться, гораздо ниже своей роли. Как бы ограничен ни был мой взгляд, все же он на сто тысяч туазов выше самых высоких вершин нашего журнального, академического и литературного мира; меня еще станет на десять лет, чтобы быть великаном между ними.

Я совершенно разделяю ваше мнение насчет так называемых республиканцев; разумеется, это один вид общей породы доктринеров. Что касается этих вопросов, нам не в чем убеждать друг друга. Во мне и в моих сотрудниках вы найдете людей, которые пойдут с вами рука в руку...

Я также думаю, что методический, мирный шаг незаметными переходами, как того хотят экономические науки и философия истории, невозможен больше для революции; нам надобно делать страшные скачки. Но, в качестве публицистов, возвещая грядущую катастрофу, нам не должно представлять ее необходимой и справедливой, а то нас возненавидят и будут гнать, а нам надобно жить»...

Журнал пошел удивительно. Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром. Его статьи были полны оригинальности, огня и того раздражения, которое тюрьма раздувает.

«Кто вы такой, г. президент? – пишет он в одной статье говоря о Наполеоне, – скажите: мужчина, женщина, гермафродит, зверь или рыба?» И мы все еще думали, что такой журнал может держаться!

Подписчиков было не много, но уличная продажа была велика: в день продавалось от тридцати пяти тысяч до сорока тысяч экземпляров. Расход особенно замечательных номеров например, тех, в которых помещались статьи Прудона, был еще больше; редакция печатала их от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч, и часто на другой день экземпляры продавались по франку вместо одного су[252].

Но со всем этим к 1 марта, т. е. через полгода, не только в кассе не было ничего, но уже доля залога пошла на уплату штрафов. Гибель была неминуема. Прудон значительно ускорил ее. Это случилось так. Раз я застал у него в С. -Пелажи д'Альтон-Ше и двух из редакторов. Д'Альтон-Ше – тот пэр Франции, который скандализировал Пакье и испугал всех пэров, отвечая с трибуны на вопрос:

– Да разве вы не католик?

– Нет, но еще больше: я вовсе не христианин, да и не знаю, деист ли.

Он говорил Прудону, что последние номера «Voix du Peuple» слабы; Прудон рассматривал их и становился все угрюмее, потом, совершенно рассерженный, обратился к редакторам:

– Что же это значит? Пользуясь тем, что я в тюрьме, вы спите там в редакции. Нет, господа, эдак я откажусь от всякого участия и напечатаю мой отказ; я не хочу, чтоб мое имя таскали в грязи; у вас надобно стоять за спиной, смотреть за каждой строкой. Публика принимает это за мой журнал. Нет, этому надобно положить конец. Завтра я пришлю статью, чтоб загладить дурное действие вашего маранья, и покажу, как я разумею дух, в котором должен быть наш орган.

Видя его раздражение, можно было ожидать, что статья будет не из самых умеренных, но он превзошел наши ожидания: его «Vive l'Empereur!» был дифирамб иронии, – иронии ядовитой, страшной.

Сверх нового процесса, правительство отомстило по-своему Прудону. Его перевели в скверную комнату, т. е. дали гораздо худшую, в ней забрали окно до половины досками, чтоб нельзя было ничего видеть, кроме неба, не велели к нему пускать никого, к дверям

поставили особого часового. И эти средства, неприличные для исправления шестнадцатилетнего шалуна, употребляли семь лет тому назад с одним из величайших мыслителей нашего века! Не поумнели люди со времени Сократа, не поумнели со времени Галилея, только стали мельче. Это неуважение к гению, впрочем, явление новое, возобновленное в последнее десятилетие. Со времени Возрождения талант становится до некоторой степени охраной: ни Спинозу, ни Лессинга не сажали в темную комнату, не ставили в угол; таких людей иногда преследуют и убивают, но не унижают мелочами; их посылают на эшафот, но не в рабочий дом.

Буржуазно-императорская Франция любит равенство.

Гонимый Прудон еще рванулся в своих цепях, еще сделал усилие издавать «Voix du Peuple» в 1850; но этот опыт был тотчас задушен. Мой залог был схвачен до копейки. Пришлось замолчать единственному человеку во Франции, которому было еще что сказать.

Последний раз я виделся с Прудоном в С. -Пелажи; меня высылали из Франции, ему оставались еще два года тюрьмы. Печально простились мы с ним, не было ни тени близкой надежды. Прудон сосредоточенно молчал, досада кипела во мне; у обоих было много дум в голове, но говорить не хотелось.

Я много слышал о его жесткости, rudesse[253], нетерпимости – на себе я ничего подобного не испытал. То, что мягкие люди называют его жесткостью, были упругие мышцы бойца; нахмуренное чело показывало только сильную работу мысли; в гневе он напоминал сердящегося Лютера или Кромвеля, смеющегося над Крупионом. Он знал, что я его понимаю, Знал и то, как немногие его понимают, и ценил это. Он знал, что его считали за человека мало экспансивного, и, услышав от Мишле о несчастье, постигшем мою мать и Колю, он написал мне из С. -Пелажи между прочим: «Неужели судьба еще и с этой стороны должна добивать нас? Я не могу прийти себя от этого ужасного происшествия. Я вас люблю и глубоко ношу вас здесь, в этой груди, которую так многие считают каменной».

С тех пор я не видал его[254]; в 1851 году, когда я, по милости Леона Фоше, приезжал в Париж на несколько дней, он был отослан в какую-то центральную тюрьму. Через год я был проездом и тайком в Париже, Прудон тогда лечился в Безансоне.

У Прудона есть отшибленный угол, и тут он неисправим тут предел его личности, и, как всегда бывает, за ним он консерватор и человек предания. Я говорю о его воззрении на семейную жизнь и на значение женщины вообще.

– Как счастлив наш N., – говаривал Прудон шутя, – у него жена не настолько глупа, чтоб не умела приготовить хорошего pot-au-feu[255], и не настолько умна, чтоб толковать о его статьях. Это все, что надобно для домашнего счастья.

В этой шутке Прудон, смеясь, выразил серьезную основу своего воззрения на женщину. Понятия его о семейных отношениях грубы и реакционны, но и в них выражается не мещанский элемент горожанина, а скорее упорное чувство сельского pater familias'a[256], гордо считающего женщину за подвластную работницу, а себя за самодержавную главу дома.

Года полтора после того, как это было написано, Прудон издал свое большое сочинение «О справедливости в церкви и в революции».

Книгу эту, за которую одичалая Франция снова осудила его на три года тюрьмы, прочитал я внимательно и закрыл третий том, задавленный мрачными мыслями.

Тяжкое... тяжкое время!.. Разлагающий воздух его одуряет сильнейших... И этот «ярый боец» не выдержал, надломился; в его последнем труде я вижу ту же мощную диалектику, тот же размах, но она приводит уже его к прежде задуманным результатам; она уже не свободна в последнем слове. Я под конец книги следил за Прудоном, как Кент следил за королем Лиром, ожидая когда он образумится, но он заговаривался больше и больше, – такие же припадки нетерпимости, необузданной речи, как у Лира, и так же «Every inch»[257] обличает талант, но... талант «тронутый». И он бежит с трупом – только не дочери, а матери, которую считает живой!..[258]

Романская мысль, религиозная в самом отрицании, суеверная в сомнении, отвергающая одни авторитеты во имя других, редко погружалась далее, глубже in médias res[259] действительности, редко так диалектически смело и верно снимала с себя все путы, как в этой книге. Она отрешилась в ней не только от грубого дуализма религии, но и от ухищренного дуализма философии; она освободилась не только от небесных привидений, но и от земных; она перешагнула через сентиментальную апотеозу человечества, через фатализм прогресса, у ней нет тех неизменяемых литий о братстве, демократии и прогрессе, которые так жалко утомляют среди раздора и насилия. Прудон пожертвовал пониманию революции ее идолами, ее языком и перенес нравственность на единственную реальную почву – грудь человеческую, признающую один разум и никаких кумиров, «разве его».

И после всего этого великий иконоборец испугался освобожденной личности человека, потому что, освободив ее отвлеченно, он впал снова в метафизику, придал ей небывалую волю, не сладил с нею и повел на заклатие богу бесчеловечному, холодному богу справедливости, богу равновесия, тишины, покоя, богу браминов, ищущих потерять все личное и распуститься, опочить в бесконечном мире ничтожества.

На пустом алтаре поставлены весы. Это будут новые каудинские фурукулы для человечества.

«Справедливость», к которой он стремится, даже не художественная гармония Платоновой республики, не изящное уравнивание страстей и жертв. Галльский трибун ничего не берет из «анархической и легкомысленной Греции», он стоически попирает ногами личные чувства, а не ищет согласовать их с требой семьи и общины. «Свободная» личность у него часовой и работник без выслуги, она несет службу и должна стоять на карауле до смены смертью, она должна морить в себе все лично-страстное, все внешнее долгу, потому что она – не она, ее смысл, ее сущность вне ее; она – орган справедливости она предназначена, как дева Мария, носить в мучениях идею и водворить ее на свет для спасения государства.

Семья, первая ячейка общества, первые ясли справедливости, осуждена на вечную, безвыходную работу; она должна служить жертвенником очищения от личного, в ней

должны быть вытравлены страсти. Суровая римская семья в современной мастерской – идеал Прудона. Христианство слишком изнежило семейную жизнь, оно предпочло Марию – Марфе, мечтательницу – хозяйке, оно простило согрешившей и протянуло руку раскаявшейся за то, что она много любила, а в Прудоновой семье именно надобно мало любить. И это не все; христианство гораздо выше ставит личность, чем семейные отношения ее. Оно сказала сыну: «Брось отца и мать и иди за мной», – сыну, которого следует, во имя воплощения справедливости, снова заковать в колодки безусловной отцовской власти, – сыну, который не может иметь воли при отце, пуще всего в выборе жены. Он должен закалиться в рабстве, чтоб в свою очередь сделаться тираном детей, рожденных без любви, по долгу, для продолжения семьи. В этой семье брак будет нерасторгаем, но зато холодный, как лед; брак, собственно, победа над любовью: чем меньше любви между женой-кухаркой и мужем-работником, тем лучше. И эти старые, изношенные пугала из гегелизма правой стороны пришлось-то мне еще раз увидеть под пером Прудона!

Чувство изгнано, все замерло, цвета исчезли, остался утомительный, тупой, безвыходный труд современного пролетария, – труд, от которого по крайней мере была свободна аристократическая семья древнего Рима, основанная на рабстве; нет больше ни поэзии церкви, ни бреда веры, ни упования рая, даже и стихов к тем порам «не будут больше писать», по уверению Прудона, зато работа будет «увеличиваться». За свободу личности, за самобытность действия, за независимость можно пожертвовать религиозным ублаживанием, но пожертвовать всем для воплощения идеи справедливости – что это за вздор! Человек осужден на работу, он должен работать до тех пор, пока опустится рука; сын вынет из холодных пальцев отца струг или молот и будет продолжать вечную работу. Ну, а как в ряду сыновей найдется один поумнее, который положит долото и спросит:

– Да из чего же мы это выбиваемся из сил?

– Для торжества справедливости, – скажет ему Прудон.

А новый Каин ответит ему:

– Да кто же мне поручил торжество справедливости?

– Как кто? Разве все призвание твое, вся твоя жизнь не есть воплощение справедливости?

– Кто же поставил эту цель? – скажет на это Каин. – Это слишком старо, бога нет, а заповеди остались. Справедливость не есть мое призвание, работать – не долг, а необходимость, для меня семья совсем не пожизненные колодки, а среда для моей жизни, для моего развития. Вы хотите держать меня в рабстве, а я бунтую против вас, против вашего безмена, так, как вы всю вашу жизнь бунтовали против капитала, штыков, церкви, так, как все французские революционеры бунтовали против феодальной и католической традиции. Или вы думаете, что после взятия Бастилии, после террора, после войны и голода, после короля-мещанина и мещанской республики, я поверю вам, что Ромео не имел прав любить Джульетту за то, что старые дураки Монтекки и Капулетти длили вековую ссору, и что я ни в тридцать, ни в сорок лет не могу выбрать себе подруги без позволения отца, что изменившую женщину нужно казнить, позорить? Да за кого же вы меня считаете с вашей юстицией?

А мы, с своей диалектической стороны, на подмогу Каину прибавили бы, что все понятие о цели у Прудона совершенно последовательно. Телеология – это тоже теология, это Февральская республика, т. е. та же Июльская монархия, но без Людовика-Филиппа. Какая же разница между предопределенной целесообразностью и промыслом?[260]

Прудон, через край освободивши личность, испугался, взглянув на своих современников, и, чтоб эти каторжные ticket of leave[261], не наделали бед, он ловит их в капкан римской семьи.

В растворенные двери реставрированного атриума, без лар и пенат, видится уже не анархия, не уничтожение власти, государства, а строгий чин, с централизацией, с вмешательством в семейные дела, с наследством и с лишением его за наказание; все старые римские грехи выглядывают с ними из щелей своими мертвыми глазами статуи.

Античная семья ведет естественно за собой античное отечество с своим ревнивым патриотизмом, этой свирепой добродетелью, которая пролила вдесятеро больше крови, чем все пороки вместе.

Человек, прикрепленный к семье, делается снова крепок земле. Его движения очерчены, он пустил корни в свое поле, он только на нем то, что он есть; «француз, живущий в России, – говорит Прудон, – русский, а не француз». Нет больше ни колоний, ни заграничных факторий, живи каждый у себя...

«Голландия не погибнет, – сказал Вильгельм Оранский в страшную годину, – она сядет на корабли и уедет куда-нибудь в Азию, а здесь мы спустим плотины». Вот какие народы бывают свободны.

Так и англичане: как только их начинают теснить, они плывут за океан и там заводят юную и более свободную Англию. А уже, конечно, нельзя сказать об англичанах, чтоб они или не любили своего отечества, или чтоб они были не национальны. Расплывающаяся во все стороны Англия заселила полмира, в то время как скудная соками Франция одни колонии потеряла, а с другими не знает, что делать. Они ей и не нужны: Франция довольна собой и лепится все больше и больше к своему средоточию, а средоточие – к своему господину. Какая же независимость может быть в такой стране?

А с другой стороны, как же бросить Францию, la belle France?[262] «Разве она и теперь не самая свободная страна в мире, разве ее язык – не лучший язык, ее литература – не лучшая литература, разве ее силлабический стих не звучнее греческого гексаметра?» К тому же ее всемирный гений усваивает себе и мысль и творение всех времен и стран: «Шекспир и Кант, Гёте и Гегель разве не сделались своими во Франции?» И еще больше: Прудон забыл, что она их исправила и одела, как помещики одевают мужиков, когда их берут во двор.

Прудон заключает свою книгу католической молитвой, положенной на социализм; ему стоило только расстричь несколько церковных фраз и прикрыть их, вместо клобука, фригийской шапкой, чтоб молитва «бизантинских»[263] архиереев как раз пришлась архиерею социализма!

Что за хаос! Прудон, освобождаясь от всего, кроме разума, хотел остаться не только мужем вроде Сине́й Бороды, но и французским националистом с литературным шовинизмом и безграничной родительской властью, а потому вслед за крепкой, полной сил мыслию свободного человека слышится голос свирепого старика, диктующего свое завещание и хотящего теперь сохранить своим детям ветхую храмину, которую он подкапывал всю жизнь.

Не любит романский мир свободы, он любит только домогаться ее; силы на освобождение он иногда находит, на свободу – никогда. Не печально ли видеть таких людей, как Огюст Конт, как Прудон, которые последним словом ставят: один – какую-то мандаринскую иерархию, другой – свою каторжную семью и апотеозу бесчеловечного «Pereat mundus – fiat justitia!»[264]

Примечания

Глава XLI

Впервые опубликована в ПЗ на 1859 г. (стр. 132-151) как глава III. Перепечатана в Бид IV (стр. 261-286).

Один старец Ламенне ~ мрачно сказал народу: «А ты молчи ~ право на слово!» – После подавления июньского восстания парижского пролетариата Учредительное собрание приняло ряд законов, направленных на удушение демократической и социалистической прессы. Для издания газет восстанавливалось требование о внесении в казну денежного залога – 25 тысяч франков. Это привело к закрытию многих демократических газет, для которых такой залог был непосильным. Ламенне, закрывая свою газету «Le Peuple Constituant», писал в последнем ее номере, 11 июля 1848 г.: «Ныне нужно иметь золото, много золота, чтобы иметь право говорить. Мы же недостаточно богаты. Бедняки должны молчать!»

Прудон был под судом, когда журнал его остановился, после 13 июня. – В марте 1849 г. Прудон был привлечен к судебной ответственности за статьи против президента Луи-Наполеона, резкие по форме и обличительные по содержанию. Приговоренный 28 марта судом к трехгодичному тюремному заключению, Прудон уехал в Бельгию, но в начале июня 1849 г. тайком вернулся в Париж. 6 июня 1849 г. он был арестован и заключен в тюрьму. После провала организованного мелкобуржуазными Демократами выступления 13 июня 1849 г. газета Прудона «Le Peuple», как и ряд других демократических газет, была закрыта.

Э. Жирарден был не прочь их дать ~ Сазонов предложил мне внести залог. – Сведения Герцена о готовности Жирардена дать Прудону деньги для залога за «La Voix du Peuple» были недостоверными. Герцен узнал об этом от Хоецкого (Шарль Эдмон) и Сазонова, подсказавших Прудону мысль об обращении к Герцену за денежной помощью для издания новой газеты. Особенно активную роль в налаживании этого сотрудничества сыграл Сазонов, использовавший версию о якобы полученное Прудонем согласия Жирардена для того, чтобы убедить Герцена согласиться на просьбу Прудона (см. письмо Сазонова к Герцену от 4 июля 1849 г., ЛН, т. 62 стр. 537). Прудон действительно обратился сперва за

денежной помощью к Жирардену. Обращение это не было случайным, поскольку пост февральской революции 1848 г. идейно-политические позиции Прудона и Жирардена нередко сближались. Рассчитанные на завоевание популярности среди мелкой буржуазии, проекты социальных реформ («отмена налогов», «упрощение правительства» и т. д.), опубликованные Жирарденом в 1849–1850 гг., – образец, самого шарлатанского по словам К. Маркса, «буржуазного социализма» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, 1930, стр. 315 и 317), – заслужили сочувствие Прудона. Однако Жирарден вовсе не выразил согласия финансировать затеваемую Прудоном газету. Около двух недель он хранил, несмотря на повторные заискивающие просьбы Прудона, молчание. Обращение Прудона и к Герцену объяснялось, повидимому, тем, что в поисках залога для своей новой газеты Прудон действовал сразу в нескольких направлениях. Ответ Жирардена последовал в виде резко враждебных Прудону статей, опубликованных газетой «La Presse» 9 – 11 июля 1849 г., в которых Прудон обвинялся в заигрывании с реакционно-монархическим лагерем, с Луи-Наполеоном и легитимистами.

...не находя ни сметы фаланстера, ни икарыйской управы благочиния... – Насмешливые слова Герцена имеют в виду, во-первых, реформаторские проекты фурьеристов о создании гармонического общества в виде трудовых ассоциаций, устройство которых разрабатывалось фурьеристами во всех деталях, и, во-вторых, проекты создания коммунистических поселений, образ жизни в которых соответствовал бы тому идеальному коммунистическому строю, который был изображен в утопическом романе Кабэ «Путешествие в Икарию».

...поставив в своих «Противоречиях» эпиграфом: «destruo et aedificabo»... – Герцен приводит эпиграф к сочинению Прудона «Система экономических противоречий, или Философия нищеты» («Contradictions économiques ou Philosophie de la misère»), взятый из Евангелия от Марка (гл. XIV, 58).

...Пьер Леру и Консидеран, не понимают ни его точки отправления, ни его метода. – На протяжении 1848–1851 гг. между Прудоном и представителями других направлений и сект мелкобуржуазного утопического социализма неоднократно вспыхивали острые споры по различным идеологическим и политическим вопросам. Фурьеристы подвергали критике «диалектическую» софистику Прудона и его частнособственнические реформаторские проекты, П. Леру – его антигосударственные идеи и критику религиозной сентиментальности. В свою очередь Прудон обрушивался на фурьеризм и мистический социализм Леру язвительной критикой.

...маленькой республикой... – Намек на буржуазную республику 1848–1851 гг. Называя ее «маленькой», Герцен иронически подчеркивал ее буржуазно-консервативный характер, враждебность трудящимся массам, ее слабость и поражение в отличие от якобинской республики времен буржуазной революции конца XVIII в.

...маленьким Наполеоном... – Имеется в виду Наполеон III. Эпитет «маленький» взят Герценом из направленного против Наполеона III памфлета В. Гюго «Наполеон маленький» («Napoléon le Petit»).

Сам Прудон ~ срезался на Народном банке... – В качестве средства для осуществления своих реформаторских идей в области кредита и обращении, Прудон предложил в ноябре 1848 г. проект создания «Народного банка», построенного на принципах «дарового кредита» и «безденежного обмена» продуктов труда ремесленников и рабочих производительных ассоциаций. Пропаганда этого проекта в обстановке депрессии рабочего движения, когда часть пролетариата, по выражению Маркса, «бросается на доктринерские эксперименты» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, М. –Л., 1930, стр. 330), нашла некоторый отклик у ремесленных рабочих, особенно же среди лавочников, владельцев ремесленных мастерских и мелких промышленников, задыхавшихся под бременем долгов и ростовщического кредита. К началу апреля 1849 г. на «акции» прудоновского «банка» подписалось около 20 тысяч человек. Тем не менее «Народный банк» практически так и не был создан. Начавшиеся между учредителями «банка» разногласия в толковании его целей и задач обострили не покидавшие Прудона опасения за судьбу своего проекта, особенно в обстановке наступления монархической «партии порядка» на демократические и республиканские силы и остатки завоеваний революции. По всем этим причинам Прудон в начале апреля 1849 г. неожиданно объявил о ликвидации «Народного банка». Предлогом для своего решения Прудон избрал приговор, осудивший его на 3 года тюремного заключения, что сделало якобы невозможным личное руководство Прудона «реформой кредита». В ходе последовавшей после этого полемики между Прудоном и другими учредителями «банка» из числа фурьеристов и луиблановцев Прудон старался скрыть истинные причины своего отказа от проекта и выдвигал на первый план непонимание сущности своей реформы руководителями «производительных ассоциаций», невозможность доверить им руководство «банком» и т. д. Замечание Герцена свидетельствует о том, что он никогда не давал себя обмануть этими объяснениями Прудона и, критически относясь к его реформаторской деятельности, отчетливо видел ее провал. Когда Прудон попытался обосновать свой проект и опубликовал в феврале – марте 1849 г. серию статей под общим заглавием: «*Demonstration du socialisme, théorique et pratique ou révolution par le crédit...*» («Le Peuple», 19 февраля, 25–26 февраля, 1, 5, 12 и 19 марта 1849 г.), Герцен высмеивал мудрствования Прудона (см. письмо Герцена к Г. Гервегу, относящееся к началу апреля 1849 г.). Говоря далее о том, что идея Прудона сама по себе верна, Герцен скорее имел в виду то, что он называл «органическими основами» (стр. 187) мировоззрения Прудона – его протест против экономического, политического и идейного гнета личности, критику государства, буржуазного парламентаризма и бюрократического государственного механизма, идею «социальной ликвидации» буржуазного общества и государства.

Я помню сочинения Прудона, от его рассуждения «О собственности» до «биржевого руководства»... – Имеются в виду сочинения Прудона, начиная от «Что такое собственность, или Изыскания о принципе права и государства» («*Qu'est-ce que la propriété ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement*»). См. отзыв Герцена об этой книге в дневнике, запись от 3 декабря 1844 г., т. II наст. изд., стр. 391) До «Руководство биржевого игрока» («*Manuel du spéculateur a la bourse*»).

...свистать тот же дует а moll-ный, как Платон Михайлович в «Горе от ума». – А. С. Грибоедов. «Горе от ума», (действие III, явление 6).

У Грибоедова:

«Нет, есть-таки занятя, На флейте я твержу дуэт А-мольный...» ...от диссертации, написанной на школьную задачу безансонской академии – В 1838 г. Прудон был зачислен на одну из стипендий безансонской академии, что дало ему возможность в течение трех лет продолжать самообразование. В качестве стипендиата этой академии Прудон принял в следующем году участие в объявленном ею конкурсе сочинений на тему: «О пользе празднования воскресенья». Он написал на эту тему довольно ученический трактат («De l'utilité de la célébration du dimanche»), в котором обозначилась тенденция к критическому рассмотрению проблемы собственности. В этом трактате Прудон говорил о «равном для всех праве на жизнь и развитие» и называл собственность «последним из ложных богов».

...до недавно вышедшего *carmen horrendum* биржевого распутства...- Герцен, повидимому, имеет в виду вышедшее в 1857 г. шестое издание сочинения Прудона «Руководство биржевого игрока». Первые два издания этой книги (1853 и 1854) вышли анонимно и только начиная с 3-го издания (1855) цензура разрешила поставить фамилию ее автора.

...тот же порядок мыслей ~ идет и через «Противоречия» политической экономии, и через его «Исповедь», и через его «журнал». – Кроме «Системы экономических противоречий, или Философии нищеты» Герцен имеет здесь в виду сочинение Прудона «Исповедь революционера» («Les Confessions d'un révolutionnaire, pour servir à l'histoire de la révolution de Février») и серию газет, которые редактировал Прудон в период революции 1848-1851 гг., – «Представитель народа» («Le Représantant du Peuple»), 1848; «Народ» («Le Peuple»), 1848-1849; «Голос народа» («La Voix du Peuple»), 1849-1850; «Народ 1850» («LePeuple de 1850»).

...«the deep slumber of a decided opinion». – Цитата из главы II («Of the liberty of thought and discussion») сочинения Стюарта Милля «On liberty».

...не место было Прудона в Народном собрании ~ в этом мещанском вертепе. – На парижских дополнительных выборах в Учредительное собрание в июне 1848 г. Прудон был избран депутатом. Учредительное собрание в своей подавляющей части состояло из буржуазных республиканцев и перекрасившихся вчерашних монархистов.

...Маррастовой конституции, этому кислому плоду семимесячной работы семисот голов... – Подразумевается конституция французской республики, принятая Учредительным собранием в ноябре 1848 г. В разработке проекта этой конституции активнейшую роль играл председатель Учредительного собрания Марраст. Конституция 1848 г. была отмечена многими реакционными чертами, одной из которых было учреждение поста независимого от парламента главы государства и правительства – президента республики, избираемого голосованием всех избирателей. Прудон голосовал в Учредительном собрании против проекта конституции.

Парламентская чернь отвечала ~ в сумасшедший дом!» – Герцен имеет в виду обсуждение в Учредительном собрании 31 июля 1848 г. внесенного Прудоном утопического законопроекта, предусматривавшего обложение движимого и недвижимого имущества единовременным налогом в размере одной трети доходов от него. Предложение Прудона привело в бешенство буржуазное большинство Собрания и буржуазную печать. Его

выступление сопровождалось обструкцией депутатов, криками об отправке оратора в сумасшедший дом и т. п. Маркс отмечал, что выступление Прудона в защиту своего проекта было «актом высокого мужества» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIII, ч. 1, 1936, стр. 28), хотя оно и обнаружило, «как мало он понимал все происходящее». Основным оппонентом Прудона выступил Тьер. Учредительное собрание отвергло проект Прудона (за него было подано лишь 2 голоса, из них один – самого Прудона) как подстрекательство против собственности и «гнусное покушение на принципы общественной нравственности».

...на тысячу ладов повторял он ~ «это не Катилина у ворот ваших, а смерть». – Эти слова Прудона неоднократно приводились Герценом в его работах, посвященных судьбам революции 1848 г. В торжестве бонапартистской контрреволюционной диктатуры Герцен видел полное подтверждение пророческих слов Прудона. Однако смысл этих слов у Прудона был совсем не тот, что вкладывал в них Герцен. Прудон написал их в заключении своей статьи «Философия 10 марта», опубликованной в «La Voix du Peuple» 29 марта 1850 г. Статья Прудона, печатавшаяся в виде передовой в двух номерах его газеты (25 и 29 марта), была посвящена оценке значения победы кандидатов демократическо-социалистического блока «Горы» на дополнительных выборах в Законодательное собрание, состоявшихся 10 марта 1850 г. Встревоженный тем, что успех на этих выборах может толкнуть демократические силы на путь революционной борьбы за власть и на новое выдвижение требований «организации труда», Прудон заклинал демократов и социалистов отказаться от этой борьбы, пойти на компромисс с правящим монархическим лагерем и удовлетвориться ролью легальной оппозиции. Прудон доказывал, будто своим избирательным успехом «Гора» обязана торжеству идеи сотрудничества классов и отказа демократии от всякого государственного вмешательства во взаимоотношения труда и капитала и посягательства на собственность буржуазии. Социальный вопрос теперь – утверждал Прудон – охватывает не только проблему пролетариата, но и проблему буржуазии, проблему предотвращения ее банкротства и разорения со стороны крупного капитала, и решение этого вопроса должно отвечать задаче примирения и единения пролетариата и буржуазии. Доказывая, что таково мнение и воля избирателей, голосовавших 10 марта за кандидатов «Горы», Прудон изменил на этот раз свой прежний взгляд на демократию как на фактор обострения классовых противоречий; теперь он превозносил ее как фактор умиротворения и примирения классов, требуя от «Горы» проникнуться этой идеей и сообразовать с ней свое поведение. Отсюда вытекала и концовка статьи Прудона, обращенная к «Горе»: «При режиме всеобщего избирательного права больше не может быть революций, могут быть лишь мятежи. Вы являетесь конституционной оппозицией, вы, кроме того, большинство... Возвратите буржуазии безопасность, а народу – спокойствие и терпение, доказав всем, что вы готовы к этому. Вам для этого необходимо лишь сблизиться с правительством либо посредством официальных представлений, либо посредством адреса, либо петиции или же каким-либо другим способом... Действуйте же, говорю вам это: у ваших ворот стоит не Катилина, не банкротство, а смерть». Таким образом, фраза Прудона о «Катилине» и «смерти» отнюдь не звучала пророчеством о неизбежности гибели республики во Франции. Наоборот, заключительные слова статьи Прудона выражали надежду на то, что гибели республики можно избежать и что предотвратить ее катастрофу может именно демократия, причем по сути дела – формальная демократия всеобщего избирательного права, демократия классового мира и классового сотрудничества буржуазии и пролетариата.

«Объявления прав человека». – Подразумевается программный документ французской буржуазной революции конца XVIII в. – «Декларация прав человека и гражданина».

Lohn, der reichlich lohnet. – Строка из баллады Гёте «Der Sänger».

...писал мне 29 августа 1849 года в Женеву... – Герцен цитирует далее в своем переводе французского письма П.-Ж. Прудона от 23 августа 1849 г. Дата уточняется письмом Герцена от 27 августа 1849 г. В оригинале письмо опубликовано Р. Лабри (см. Raoul Labry. «Herzen et Proudhon», Paris, 1928, p. 91-92).

...отвечал высылкою 24000 фр. и длинным письмом, совершенно дружеским, но твердым... – Герцен имеет в виду свое письмо от 27 августа 1849 г., которое цитирует далее в своем переводе с французского.

...15 сентября писал мне из Консьержри... – Французский текст и перевод цитируемого далее письма Прудона см. в ЛН, т. 62 стр. 497-500.

Туаз – старинная французская мера длины, равная приблизительно двум метрам.

Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром. – Прудон руководил газетой «La Voix du Peuple», находясь в тюрьме, где он отбывал трехгодичное тюремное заключение по приговору от 28 марта 1849 г. Почти все это время (с 28 сентября 1849 г. до 20 апреля 1850 г.) Прудон содержался в тюрьме Сен-Пелажи в Париже. Он имел возможность принимать у себя в камере посетителей, читать газеты, писать и т. д. По его указаниям газету редактировали Даримон, Ш. Эдмон, Дюшен, Фор, Лагран и другие прудонисты.

Мой ответ на речь Донозо Кортеса... – Герцен имеет в виду свою статью «Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас», опубликованную в газете «La Voix du Peuple» 18 марта 1850 г. (см. т. VI наст. изд., стр. 351-359). Статья Герцена была ответом на речь испанского политического деятеля в Законодательном собрании в Мадриде 30 января 1850 г., в которой он представлял католицизм как единственное спасение от социализма и подвергал специальной критике учение Прудона, видя в нем крайнее воплощение всех отрицательных черт современной цивилизации.

Раз я застал у него в С. -Пелажи д'Альтон-Ше и двух из редакторов. – Поскольку данное свидание запечатлелось в памяти Герцена по критическим замечаниям, которые высказал в его присутствии д'Альтон-Ше в адрес «La Voix du Peuple», и по реакции Прудона на эту критику в виде решения написать статью, «чтоб загладить дурное действие» слабых последних номеров газеты, – встреча эта могла происходить либо в конце января, либо в самом начале февраля 1850 г., так как указанная статья Прудона «Vive L'Empereur!» была опубликована в «La Voix du Peuple» 5 февраля 1850 г.

...его «Vive L'Empereur!» был дифирамб иронии ~ страшной. – Рассматривая в этой статье призывы ряда реакционных газет к государственному перевороту во имя стабильной диктаторской власти, Прудон иронически приглашал бонапартистов совершить такой переворот, заявляя, что он ничего не имеет против переворота, поскольку пролетариату от

него нечего терять, а почти разоренная буржуазия не надеется сохранить даже то, что у нее осталось. Но – язвительно предупреждал Прудон бонапартистов – как только переворот свершится, народ потребует от Луи Наполеона отмены налогов, ликвидации долгов и ростовщичества, уничтожения засилья попов и иезуитов, революционной войны против европейских тиранов и т. д. Восприятие Герценом этой статьи только как «дифирамба иронии» было односторонним. В данном случае, как и в других, сказалось то, что Герцен не увидел в рассуждениях Прудона о последствиях бонапартистского переворота тех опасных иллюзии, какие в дальнейшем привели Прудона к заигрыванию с бонапартистами. Впечатление Герцена, что появление статьи Прудона связано с критикой газеты «La Voix du Peuple» со стороны д'Альтон-Ше, было обманчивым. Мысли этой статьи и даже ее формулировки Прудон вынашивал залого до описываемого разговора. Уже 15 января 1850 г. он писал Даримону: «Ваша вчерашняя передовая хороша, только вместо того, чтобы страшиться государственного переворота, надо провоцировать его. <...> хотят кавардака, ну что ж: преобразование общества происходит либо нормальным путем, либо посредством хаоса – вам это безразлично. Пролетариату терять нечего, он может лишь все выиграть; буржуазия находит, что она недостаточно разорена, – вперед же, делайте государственный переворот» (P. -J. Proudhon. Correspondance, t. III, p. 86).

Сверх нового процесса, правительство отомстило по-своему Прудону. – Память Герцена не совсем точно сохранила относящиеся к этому эпизоду факты. По поводу статьи «Да здравствует император!» власти действительно начали следствие и подвергли Прудона строгому режиму заключения. Но до нового судебного процесса над Прудоном дело не дошло, поскольку Прудон дал указание вести газету «пиано» и выступать против империи под лозунгом «ни красной, ни белой реакции». Кроме того, он обратился к парижскому префекту Карлье с просьбой не предпринимать против него нового судебного процесса, обещая впредь воздержаться от всякой критики правительства и посвятить себя всецело «научным проблемам». Но 19 апреля 1850 г., в разгар избирательной кампании по дополнительным выборам в Законодательное собрание, Прудон опубликовал в «La Voix du Peuple» статью под заглавием: «Выборы 28 апреля. К парижской буржуазии», в которой призвал парижскую буржуазию голосовать на предстоящих выборах за кандидата демократическо-социалистического блока, писателя Э. Сю. Прудон доказывал, что, голосуя за кандидатов реакции, буржуазия подорвет сотрудничество классов и вызовет опасность гражданской войны в стране, как в июньские дни 1848 г., но с той разницей, что на этот раз ее никто не поддержит. Власти использовали то, что в своей статье Прудон, между прочим, возложил на правительство ответственность за несчастный случай, произошедший накануне с одним пехотным батальоном, солдаты которого погибли во время перехода через реку Мэн в департаменте Анжер. Номер газеты со статьей Прудона был конфискован, против него были выдвинуты новые обвинения. На следующий день, 20 апреля. Прудон был переведен из Парижа в крепостную тюрьму Дулланс, в департаменте Соммы. Судебный процесс Прудона в связи со статьей «Выборы 28 апреля» состоялся 13 июня 1850 г., уже после закрытия властями газеты «La Voix du Peuple». Присяжные вынесли ему оправдательный приговор.

Гонимый Прудон ~ сделал усилие издавать «Voix du Peuple» в 1850; но этот опыт был тотчас задушен. – Речь идет о газете «Le Peuple de 1850», которую Прудон и его единомышленники издавали после закрытия газеты «La Voix du Peuple». Издание «Le Peuple de

1850»продолжалось недолго. № 1 газеты вышел 15 июня 1850 г., а 13 октября того же года газета прекратила существование.

Последний раз я виделся с Прудонем в С. -Пелажи; меня выслали из Франции ~ два года тюрьмы. – Описываемая Герценом встреча с Прудонем могла произойти лишь в июне 1850 г., точнее – в течение первых двух декад июня. До конца мая 1850 г. Прудон еще содержался в провинциальной тюрьме Дулланс и был отправлен оттуда в Париж не ранее 27 мая. Герцен, получивший 24 апреля 1850 г. распоряжение полиции о высылке из Франции, выехал около 20 июня из Парижа в Ниццу. В июне 1850 г. Прудону оставалось как раз 2 года из срока его заключения. Место данной встречи Герцен явно запомнил и, вероятно, смешал с местом предшествующей своей встречи с Прудонем. Переписка Прудона дает возможность твердо установить, что с 20 апреля 1850 г. Прудон не находился в Сен-Пелажи; из Дулланс он был доставлен в тюрьму Консьержери, где содержался до 18 сентября 1851 г. (см. P. -J. Proudhon. Correspondance, t. III, p. p. 276, 277, 375, и t. IV, p. p. 55, 66, 77 и след.).

...Кромвеля, смеющегося над Крупионом. – Имеется в виду отношение Кромвеля к Долгому парламенту, созванному королем Карлом I Стюартом в начале буржуазной революции XVII в. и ставшему затем ее законодательным органом. После казни короля и провозглашения республики остатки Долгого парламента, прозванного в народе «огузком» (по фр. *groupion*), утратили всякое политическое значение и были с позором разогнаны в 1653 г. Кромвелем.

...о несчастьи, постигшем мою мать и Колю...– См. об этом в настоящем томе, стр. 272–278.

...«Неужели судьба ~ многие считают каменной». – Герцен цитирует письмо П. -Ж. Прудона от 27 ноября 1851 г., полный текст которого в переводе Герцена был опубликован в ПЗ, 1859, кн. V стр. 222–224 (см. также Л VI, 536–538).

...в 1851 году ~ он был отослан в какую-то центральную тюрьму. – Здесь воспоминания Герцена делаются совсем неточными. В 1851 г. Герцен был в Париже в период с 8 по 25 июня. Прудон в это время попрежнему содержался в Консьержери и никуда оттуда не переводился до 18 сентября 1851 г., когда, по его просьбе, он снова был водворен в Сен-Пелажи (см. P. -J. Proudhon. Correspondance, t. IV, p. 101). Режим заключения Прудона в Консьержери был тогда довольно либеральным: как и ряд других заключенных по делам печати, он пользовался правом свиданий с посетителями, и даже имел возможность выходить 2 раза в месяц в город «по домашним делам». Но во второй половине июня последняя льгота была временно отменена не только для Прудона, но и для других заключенных той же категории, и запрет этот оставался в силе до конца июля 1851 г. (см. Correspondance, t. IV, p. p. 77–78, письмо Прудона к министру внутренних дел Л. Фоше от 25 июля 1851 г. с просьбой возобновить разрешение на выход в город). Возможно, это обстоятельство и помешало новой встрече Герцена с Прудонем, поскольку добиваться свидания с ним в тюрьме Герцен тогда не мог.

Через год я был проездом и тайком в Париже, Прудон тогда лечился в Безансоне. – Герцен был в Париже проездом, направляясь в Англию, и его пребывание во французской столице ограничилось 5 днями – с 20 по 25 августа 1852 г. Прудон, незадолго до того освобожденный из тюрьмы (5 июня 1852) после отбытия срока заключения, находился с

семьей на родине, где отдыхал и лечился. О том, что Герцен должен был проехать через Париж, Прудон знал и имел свои виды на встречу с Герценом. В этот период Прудон настойчиво уговаривал Герцена вернуться во Францию, поселиться в Париже и участвовать в литературных предприятиях, которые Прудон затевал после своего освобождения, в том числе в журнале философско-экономического характера, который он намеревался издавать. Прудон видел тогда в бонапартистском перевороте осуществление «социальной революции» и, используя связи с бонапартистской верхушкой, брался добиться негласным образом для Герцена (и Ш. Эдмона) разрешения возвратиться во Францию. Еще не зная о твердом решении Герцена поселиться в Англии и рассчитывая, что вскоре он вернется оттуда обратно на континент и проедет через Париж, Прудон давал поручение своему наперснику Даримону повидаться с Герценом и постараться убедить его согласиться на предложение Прудона. «Если Герцен снова проедет через Париж по возвращении из Англии, – писал он Даримону в письме от 19 августа 1852 г., – постарайтесь удержать его там, убедив его в возможности отмены <высылки>» (P. -J. Proudhon. Correspondance, t. IV, p. 320). Повидимому, поручение Прудона пришло с запозданием, и разговор Даримона с Герценом не состоялся.

Года полтора после того, как это было написано, Прудон издал свое большое сочинение «О справедливости в церкви и революции». – Это надо понимать в том смысле, что предыдущие строки «Былого и дум» о Прудоне писались Герценом года за полтора до появления книги Прудона «О справедливости и т. д.», т. е. в конце 1856 или в начале 1857 г.

...одичалая Франция снова осудила его на три года тюрьмы... – Книга Прудона «О справедливости в революции и в церкви» была по выходе в свет в 1858 г. конфискована, а он был привлечен к ответственности за «оскорбление духовенства и осквернение религии». Суд приговорил Прудона к 3 годам тюремного заключения. Прудон эмигрировал в Бельгию, где проживал до 1862 г.

...in medias res действительности... – Гораций. «Ars poetica» (стих 149).

Это будут новые каудинские фурукулы... – В Кавдинском ущелье 321 г. до н. э. римские войска были окружены самнитами и капитулировали.

...после короля-мещанина и мещанской республики... – Подразумевается буржуазная монархия во Франции 1830–1848 гг. (Июльская монархия во главе с Луи Филиппом Орлеанским) и буржуазная республика 1848–1851 г.

«Голландия не погибнет, – сказал Вильгельм Оранский ~ спустим плотины – Эпизод из истории Нидерландской буржуазной революции XVI в., когда Нидерланды вели освободительную борьбу против испанского владычества.

...какую-то мандариновую иерархию... – Огюст Конт создал в 1848 г. «общество позитивистов», основавшее «позитивистскую церковь», проповедовавшую социально-политическую «реорганизацию человечества». Создание новой «позитивистской религии» обставлено было введением нового катехизиса, духовенства и церковной иерархии, подчинявшейся «первосвященнику» – О. Конту.

- !39. травля с собаками (франц.). – Ред.
- !40. суд присяжных (франц. assises). – Ред.
- !41. «Счет, пожалуйста!» (франц.). – Ред.
- !42. разрушу и воздвигну (лат.). – Ред.
- !43. Великая армия демократии! (франц.). – Ред.
- !44. ужасающей песни (лат.). – Ред.
- !45. В новом сочинении Стюарта Милля «On Liberty» он приводит превосходное выражение об этих раз навсегда решенных истинах: «the deep slumber of a decided opinion» <«глубокий, сон бесспорно мнения» (англ.)>.
- !46. «Histoire de la Révolution française».
- !47. Ботаническому саду (франц.). – Ред.
- !48. негласным пайщиком (франц.). – Ред.
- !49. Плата, богато вознаграждающая (нем.). – Ред.
- !50. отрицания (франц. négation). – Ред.
- !51. Я тогда печатал «Vom andern Ufer».
- !52. Мой ответ на речь Донозо Кортеса, отпечатанный тысяч в 50 экземпляров, вышел весь, и, когда я попросил через два-три дня себе несколько экземпляров, редакция принуждена была скупить их по книжным лавкам.
- !53. крутом нраве (франц.). – Ред.
- !54. После писанного я виделся с ним в Брюсселе.
- !55. супа (франц.). – Ред.
- !56. отца семейства (лат.). – Ред.
- !57. Каждый дюйм (англ.). – Ред.
- !58. Я долею изменил мое мнение об этом сочинении Прудона (1866)
- !59. в самую сущность (лат.). – Ред.
- !60. Сам Прудон сказал: «Rien ne ressemble plus à la préméditation, que la logique des faits». <«Ничто такие похоже на преднамеренность, как логика фактов» (франц.)>.
- !61. Здесь: досрочно освобожденные (англ.). – Ред.
- !62. прекрасную Францию (франц.). – Ред.
- !63. византийских (франц. byzantin). – Ред.
- !64. «Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие!» (лат.). – Ред.

Источник: <http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/proza/byloe-i-dumy/5-glava-xli.htm>

Герцен Александр. Некролог Прудона

Прудон умер 19 января в Пасси. Ему было едва 56 лет.

Быстро сходят со сцены мощные бойцы борьбы — неоконченной, но приостановившейся за туманом, в котором трудно стало узнавать своих и чужих, — борьбы, ослабнувшей от неопределенных целей и неясного понимания всхода.

Прудон принадлежал к сильнейшим двигателям общественного самосознания именно в то время, в которое по Франции пробегала социальная дрожь и она, чтоб выйти из старых пут, пробовала все: фаланстеры и проповеди сен-симонистов, июньские баррикады и американские Икарии. Прудон не разрешил великих вопросов, не снял страшных сомнений, он не основал школы, но оставил диалектический таран. Может, он ж думал, что умеет лечить, но сила его была не в лечении, а в рассечении трупов. Прудон не создавал, он ломал, он воевал, л главное — он двигал, он все двигал, все покачивал, все затрогивал, отбрасывая условные уважения, освященные навыком понятия и принятый без критики церемониал. Надобно вспомнить внутреннюю робость романской мысли — дерзкой снаружи, волнующейся на поверхности, быстро несущейся в известном слое и упорно хранящей в глубине своей заветные начала, занесенные вековой тиной, — туда-то проникал Прудон и, несмотря на крик негодования и скрежет зубов, своей крепкой, плебейской, крестьянской рукой толкал эти мнимые клады в общий поток. Это была своего рода ликвидация нравственно недвижимых имуществ.

Когда-нибудь мы поговорим о его подвиге, теперь нам хотелось бросить и нашу горсть земли на гроб учителя.

... Serrez les rangs, serrez les rangs![124] Да, старое меньшинство юных стариков тает не по дням, а по часам во Франции. Не долго последним ветеранам простоять на часах... угрюмо смотрят они в даль дороги, не идет ли смена. Много идет... все мимо, все чужое, все мелкое, все без помазания. Иногда кажется — вот закипает мысль, вот является энергия, завязывается узел, выступают новые силы.

... Сестра Анна, сестра Анна, что, идут ли? — Пылит дорога, раздается топот, это они, это наши... Нет, это идет какое-то стадо...

Тяжелая перемичка для всей Европы!

Montpellier, 20 января 1865.

Примечания

Печатается по тексту К, л. 194 от 1 февраля 1865 г., стр. 1596, где опубликовано впервые, с подписью: И — р. Автограф неизвестен.

Некролог Прудона в «Колоколе» явился, вместе с ХLI главой пятой части «Былого и дум» (см. т. X наст. изд., стр. 183 — 212, 451 и 479 — 487), итоговой оценкой Герценом литературной и общественной деятельности выдающегося французского мыслителя и публициста.

Интерес к сочинениям П. Ж. Прудона возник у Герцена еще в начале сороковых годов. В произведениях Прудона Герцена привлекала прежде всего едкая и остроумная критика капиталистической Европы. 18 февраля 1843 г., отмечая в дневнике случаи самоубийства французских рабочих, вызванные ужасающей нищетой, Герцен записал: «Подобные анекдоты оправдывают злобный характер Прудоновых брошюр» (т. II наст. изд., стр. 267).

В 1848 г. в Париже у М. А. Бакунина Герцен лично познакомился с Прудоном. Вскоре между ними установились дружеские отношения. В газете Прудона «La Voix du Peuple», основанной при материальной поддержке Герцена (см. т. X наст. изд., стр. 183 — 196), были опубликованы в 1849 — 1850 гг. его статьи: «La Russie», «Lettre d'un Russe à Mazzini», «Donoso Cortès».

После поражения революции 1848 г. Герцену и Прудону казалось (хотя и совершенно ошибочно), что их взгляды очень близки. В 1850 г. в Брюсселе вышла книга Прудона «Les confessions d'un révolutionnaire» где высказывался скептически-отрицательный взгляд на революцию 1848 г. и ее участников. Прудон доказывал, что главное — социальный переворот, вопрос же о политических формах не имеет значения. В письме к Герцену от 15 сентября 1850 г. Прудон полностью соглашался с тезисами книги «С того берега»: «Я очень рад, что встретился с рами на одном или на одинаковом труде, я тоже написал нечто вроде философии революции под заглавием „Исповедь революционера”» (т. X наст. изд., стр. 193).

Герцен, разочаровавшийся в революции 1848 г., сочувственно отнесся ко многим из высказываний Прудона. В «Письмах из Франции и Италии», «С того берега» Герцен не раз отзывался о Прудоне с подчеркнутым уважением. Возмущаясь «окостенением мысли» многих участников революции, их рутинерством, Герцен делал исключение для Прудона. «Вы одни являетесь автономным мыслителем революции, — писал Герцен Прудону в июле 1855 г., — у большинства остальных готовая, законченная, безусловная система идей. Они — что протестантские священники, которым позволено рассуждать до некоторого таможенного шлагбаума в богословии: достигнув его, они принуждены жевать жвачку в виде бесконечных вариаций на старые темы...».

После поражения революции 1848 г., стремясь осмыслить ее опыт, Герцен пришел к выводу об ошибочности многих теоретических положений, лежавших в основе стратегии и тактики лидеров буржуазной демократии. Предложение Прудона — «будем беспощадно сражаться против предрассудков, хотя бы мы их и встретили у наших единомышленников», слова «не следует ли прежде, чем нападать на деспотизм притеснителей, напасть на деспотизм (теоретический) освободителей?» (P. J. Proudhon. Correspondance, v. 6, Paris, 1875, p. 219 —

220, письмо к Герцену от 23 июля 1855 г.) встретили полное сочувствие со стороны Герцена (письмо Прудону от конца июля 1855 г.).

Импонировала Герцену и прудонская критика бонапартизма. Правда, отношение Прудона к Луи Наполеону Герцен представлял себе односторонне. Он не видел, что игнорирование различия форм государства приводило подчас Прудона к заигрыванию с правительством Второй империи. Герцен обращал внимание лишь на критику им «император французов» (см. т. X наст. изд., стр. 194 — 195). Особенно понравилась Герцену статья «Vive l'Empereur!», опубликованная в «La Voix du Peuple» 5 февраля 1850 г. и содержащая резкую и саркастическую критику Луи Наполеона.

Во время Крымской войны Прудон высказал пожелание поражения Франции, что могло бы, по его мнению, привести к падению Второй империи («Correspondance», v. 6, p. 105 — 108, письмо Морису от 3 января 1855 г.). Он утверждал, что «военный деспотизм представляет собою вовсе не царь, а император французов <...> Пускай погибнет родина, а человечество будет спасено» (там же, p. 155, письмо Ш. Эдмону от 5 апреля 1855 г.). Прудон возмущался бонапартистскими иллюзиями, разговорами о «демократическом бонапартизме». Наполеон III — «изменник и выродок» (там же). Со всем этим Герцен был солидарен. К тому же ему казалось, что произведения Прудона подтверждают его собственную мысль о загнивании цивилизации Западной Европы.

Наконец, в истории несостоявшейся дуэли Герцена с Гервегом Прудон решительно встал на сторону Герцена, и это еще больше сблизило их (см. письмо Прудону от 6 сентября 1852 г.).

В 1855 г. Прудон выступил с утверждением, что свобода придет в Европу с Востока, из России. Герцен, в ответ на письмо об этом Прудона, счел нужным изложить вкратце свою теорию «русского социализма» (письмо к Прудону от конца июля 1855 г.). В статье «Западные книги» Герцен отнес Прудона к числу «передовых мыслителей» (т. XIII наст. изд., стр. 94). 23 марта 1860 г. Герцен писал Прудону: «Вас любят и почитают в России. Вашими врагами в России являются экономисты <...>, либералы оттенка Ламартина — Одиллона Барро, но быть предметом ненависти этих кретинов — большое удовольствие». Прудон отвечал тем же. В письме от 15 марта 1860 г. он высоко оценивал деятельность Герцена «Что значит царствование такого медведя, как Николай, в сравнении с вашей пропагандой?» («Correspondance», v. 9, p. 347).

Начиная издание «Полярной звезды», Герцен предложил Прудону сотрудничать в ней. Прудон в принципе согласился, о чем Герцен сообщил в заметке «К нашим» (т. XII наст. изд., стр. 297). 15 марта 1860 г. Прудон предложил Герцену обмениваться произведениями для публикации в «Колоколе» и «Набате». В письме от 23 марта 1860 г. Герцен положительно откликнулся на это предложение. В 71-м листе «Колокола» сообщалось о выходе в свет книги Прудона «De la Justice dans la révolution et dans l'église» (Bruxelles, 1860), хотя Герцен и не был согласен с основным направлением этой книги.

Некоторое охлаждение между Герценом и Прудоном произошло в 1861 — 1864 гг. в связи с отрицательным отношением Прудона к польскому восстанию, объединению Италии и пренебрежительным отношением к национальному вопросу вообще. В своих письмах

Прудон резко отзывался о Гарибальди, Маццини, Кошуте, деятелях польской эмиграции. В 1863 г. вышла брошюра Прудона «Si les traités de 1815 ont cessé d'exister? Actes du futur congrès» (Paris), в которой проводилась мысль о том, что принцип национальностей в XIX веке — реакционен, отвлекает от решения актуальных социальных проблем.

Герцен не мог согласиться с подобными взглядами. В 1861 г. между ним и Прудоном разгорелась полемика в письмах. От выступления в печати Герцен долго воздерживался. Однако после выхода в свет «Si les traités...» «Колокол» счел нужным отвечать. В 185-м листе появилось «Письмо к Прудону», автором которого был гарибальдиец Л. И. Мечников. Полемизируя с Прудоном, Мечников всячески подчеркивал свое уважение к нему: «Вы для меня не просто гениальный публицист, — вы мой учитель». Мечников писал, что ведет полемику с Прудоном, используя его собственные аргументы, но приходит к совершенно иным выводам по национальному вопросу (см. К, л. 185 от 15 мая 1864 г., стр. 1520 — 1524).

Прудон предполагал ответить Мечникову, как сам он заявил об этом в номере 47 «La Cloche». 13 июля 1864 г. Герцен сообщил сыну: «Напиши ему (Мечникову), что Прудон будет ему отвечать». Однако ответа не последовало, а вскоре Прудон скончался.

В своей последней статье о Прудоне Герцен обошел молчанием все свои расхождения с ним, подчеркивая только то, что русские демократы в прошлом многим обязаны Прудону и его разрушительному «диалектическому тарану».

... американские Икарии. — Имеется в виду попытка Кабе, автора «Путешествия в Икарию», организовать в Америке, в Техасе, в 1847 г. коммунистическую колонию.

... Сестра Анна, сестра Анна, что, идут ли? — Строки из сказки Ш. Перро «Синяя борода».

[124] Сомкните ряды, сомкните ряды! (франц.). — Ред.

Маркс Карл. О Прудоне (Письмо И.Б. Швейцеру от 24 января 1865 г.)

Лондон, 24 января 1865г

Милостивый государь!

Я получил вчера письмо, в котором Вы требуете от меня подробной оценки Прудона. Недостаток времени не позволяет мне удовлетворить Ваше желание. К тому же здесь у меня нет под рукой ни одного из его произведений. Однако в доказательство своей готовности пойти Вам навстречу, я наскоро сделал краткий набросок. Вы его можете потом пополнить, сделать к нему добавления, сократить его, — словом, делать с ним, что Вам заблагорассудится {Мы сочли за лучшее поместить письмо без всяких изменений. (Примечание редакции газеты «Social-Demokrat»)}.}

Первых опытов Прудона я уже не помню. Его ученическая работа о «Всемирном языке» показывает, с какою бесцеремонностью брался он за проблемы, для решения которых ему недоставало даже самых элементарных знаний.

Его первое произведение «Что такое собственность?» является безусловно самым лучшим его произведением. Оно составило эпоху, если не новизной своего содержания, то хотя бы повой и дерзкой манерой говорить старое. В произведениях известных ему французских социалистов и коммунистов «propriété» {«собственность»}, разумеется, не только была подвергнута разносторонней критике, но и утопически «упразднена». Этой книгой Прудон стал приблизительно в такое же отношение к Сен-Симону и Фурье, в каком стоял Фейербах к Гегелю. По сравнению с Гегелем Фейербах крайне беден. Однако после Гегеля он сделал эпоху, так как выдвинул на первый план некоторые неприятные христианскому сознанию и важные для успехов критики пункты, которые Гегель оставил в мистическом *clair-obscur* {полумраке}.

Если можно так выразиться, в этом произведении Прудона преобладает еще сильная мускулатура стиля. И стиль этого произведения я считаю главным его достоинством. Видно, что даже там, где Прудон только воспроизводит старое, для него это самостоятельное открытие; то, что он говорит, для него самого было ново и расценивается им как новое. Вызывающая дерзость, с которой он посягает на «святыя святых» политической экономии, остроумные парадоксы, с помощью которых он высмеивает пошлый буржуазный рассудок, уничтожающая критика, едкая ирония, проглядывающее тут и там глубокое и искреннее

чувство возмущения мерзостью существующего, революционная убежденность — всеми этими качествами книга «Что такое собственность?» электризовала читателей и при первом своем появлении на свет произвела сильное впечатление. В строго научной истории политической экономии книга эта едва ли заслуживала бы упоминания. Но подобного рода сенсационные произведения играют свою роль в науке, так же как и в изящной литературе. Возьмите, например, книгу Мальтуса «О народонаселении». В первом издании это было не что иное, как «sensational pamphlet» {«сенсационный памфлет»} и вдобавок — плагиат с начала до конца. И все-таки какое сильное впечатление произвел этот пасквиль на человеческий род!

Будь книга Прудона у меня под рукой, легко было бы показать на нескольких примерах его первоначальную манеру писать. В тех параграфах, которые он сам считал наиболее важными, он подражает в трактовке антиномий Канту, — это единственный немецкий философ, с которым он был тогда знаком по переводам, — и создается определенное впечатление, что для него, как и для Канта, разрешение антиномий является чем-то таким, что лежит «по ту сторону» человеческого рассудка, то есть что для его собственного рассудка остается неясным.

Несмотря на всю кажущуюся архиреволюционность, уже в «Что такое собственность?» наталкиваешься на противоречие: с одной стороны, Прудон критикует общество с точки зрения и сквозь призму взглядов французского парцелльного крестьянина (позже — *petit bourgeois* {мелкого буржуа}), а с другой стороны, прилагает к нему масштаб, заимствованный им у социалистов.

Уже само заглавие указывало на недостатки книги. Вопрос был до такой степени неправильно поставлен, что на него невозможно было дать правильный ответ. Античные «отношения собственности» были уничтожены феодальными, а феодальные — «буржуазными». Сама история подвергла таким образом критике отношения собственности прошлого. То, о чем в сущности шла речь у Прудона, была существующая, современная буржуазная собственность. На вопрос: что она такое? — можно было ответить только критическим анализом «политической экономии», охватывающей, совокупность этих отношений собственности не в их юридическом выражении как волевых отношений, а в их реальной форме, то есть как производственных отношений. Но так как Прудон спутал всю совокупность этих экономических отношений с общим юридическим понятием «собственность», «*la propriété*», то он и не мог выйти за пределы того ответа, который дал Бриссо еще до 1789г в тех же словах и в подобном же сочинении: «*La propriété c'est le vol*» {«Собственность — это кража»}.

В лучшем случае из этого вытекает только то, что буржуазно-юридические понятия о «краже» применимы также к «честному» доходу самого буржуа. С другой стороны, ввиду того, что «кража», как насильственное нарушение собственности, сама предполагает собственность, Прудон запутался во всевозможных, для него самого неясных, умствованиях относительно истинной буржуазной собственности.

Во время моего пребывания в Париже в 1844г у меня завязались личные отношения с Прудоном. Я потому упоминаю здесь об этом, что и на мне до известной степени лежит доля

вины в его «sophistication», как называют англичане фальсификацию товара. Во время долгих споров, часто продолжавшихся всю ночь напролет, я заразил его, к большому вреду для него, гегельянством, которого он, однако, при незнании немецкого языка не мог как следует изучить. То, что я начал, продолжал после моей высылки из Парижа г-н Карл Грюн. В качестве преподавателя немецкой философии он имел передо мною еще то преимущество, что сам ничего в ней не понимал.

Незадолго до появления своего второго крупного произведения — «Философия нищеты и т. д.», — Прудон сам известил меня о нем в очень подробном письме, в котором, между прочим, имеются следующие слова: «J'attends votre férule critique» {«Жду вашей строгой критики»}. Действительно, эта критика вскоре обрушилась на него (в моей книге «Нищета философии и т. д.», Париж, 1847) в такой форме, что навсегда положила конец нашей дружбе.

Из того, что здесь сказано, Вы видите, что в книге Прудона «Философия нищеты, или Система экономических противоречий» в сущности впервые он давал ответ на вопрос: «Что такое собственность?». В самом деле, только после появления своей первой книги Прудон начал свои экономические занятия; он открыл, что на поставленный им вопрос можно ответить не бранью, а лишь анализом современной «политической экономии». В то же время он сделал попытку диалектически изложить систему экономических категорий. Вместо неразрешимых «антиномий» Канта теперь в качестве средства развития должно было выступить гегелевское «противоречие».

Критику его двухтомного пухлого произведения Вы найдете в моем ответном сочинении. Я показал там, между прочим, как мало проник Прудон в тайну научной диалектики и до какой степени, с другой стороны, он разделяет иллюзии спекулятивной философии, когда, вместо того чтобы видеть в экономических категориях теоретические выражения исторических, соответствующих определенной ступени развития материального производства, производственных отношений, он нелепо превращает их в искони существующие, вечные идеи, и как таким окольным путем он снова приходит к точке зрения буржуазной экономии {«Говоря, что существующие отношения — отношения буржуазного производства — являются естественными, экономисты хотят этим сказать, что это именно те отношения, при которых производство богатства и развитие производительных сил совершаются сообразно законам природы. Следовательно, сами эти отношения являются не зависящими от влияния времени естественными законами. Это — вечные законы, которые должны всегда управлять обществом. Таким образом, до сих пор была история, а теперь ее более нет» (см. стр. 113 моей работы)}.

Далее я еще показываю, сколь недостаточным, порой просто ученическим, является его знакомство с «политической экономией», критику которой он предпринял, и как вместе с утопистами он гоняется за так называемой «наукой», с помощью которой можно было бы a priori {заранее, до опыта, исходя лишь из отвлеченных соображений} изобрести формулу для «решения социального вопроса», вместо того, чтобы источником науки делать критическое познание исторического движения, движения, которое само создает материальные условия освобождения. Особенно же там показано, насколько неясными, неверными и половинчатыми остаются понятия Прудона об основе всего — меновой

стоимости; вот почему он видит в утопическом истолковании теории стоимости Рикардо основу новой науки. Свое суждение о его общей точке зрения я резюмирую в следующих словах:

«Каждое экономическое отношение имеет свою хорошую и свою дурную сторону — это единственный пункт, в котором г-н Прудон не изменяет самому себе. Хорошая сторона выставляется, по его мнению, экономистами; дурная — изобличается социалистами. У экономистов он заимствует убеждение в необходимости вечных экономических отношений; у социалистов — ту иллюзию, в силу которой они видят в нищете только нищету (вместо того, чтобы видеть в ней революционную, разрушительную сторону, которая ниспровергнет старое общество {Фраза, заключенная в скобки, добавлена Марксом в данной статье}). Он соглашается и с теми и с другими, пытаюсь сослаться при этом на авторитет науки. Наука же сводится в его представлении к тощим размерам некоторой научной формулы; он находится в вечной погоне за формулами. Вот почему г-н Прудон воображает, что он дал критику как политической экономии, так и коммунизма; на самом деле он стоит ниже их обоих. Ниже экономистов — потому, что он как философ, обладающий магической формулой, считает себя избавленным от необходимости вдаваться в чисто экономические детали; ниже социалистов — потому, что у него не хватает ни мужества, ни проницательности для того, чтобы подняться — хотя бы только умозрительно — выше буржуазного кругозора ...

Он хочет парить над буржуа и пролетариями, как муж науки, но оказывается лишь мелким буржуа, постоянно колеблющимся между капиталом и трудом, между политической экономией и коммунизмом» {Там же, стр. 119, 120}.

Как ни сурово звучит этот приговор, я и теперь подписываюсь под каждым его словом. При этом, однако, не следует забывать, что в то время, когда я объявил книгу Прудона кодексом социализма *petit bourgeois* и теоретически это доказал, экономисты, а вместе с ними и социалисты все еще предавали Прудона анафеме как завзятого ультрареволюционера. Вот почему я и позднее никогда не присоединял своего голоса к тем, кто кричал о его «измене» революции. Не его вина, если, с самого начала ложно понятый как другими, так и самим собой, он не оправдал необоснованных надежд.

В противоположность к «Что такое собственность?» в «Философии нищеты» все недостатки прудоновской манеры изложения очень невыгодно бросаются в глаза. Стиль сплошь и рядом *am roulé* {напыщенный}, как говорят французы. Высокопарная спекулятивная тарабарщина, выдаваемая за немецкую философскую манеру, выступает повсюду, где ему изменяет галльская острота ума. Так и режет ухо самохвальство, базарно-крикливый, рекламный тон, в особенности чванство мнимой «наукой», бесплодная болтовня о ней. Искренняя теплота, которой проникнута его первая работа, здесь, в определенных местах, систематически подменяется лихорадочно возбужденной декламацией. К тому же это беспомощное и отвратительное старание самоучки щегольнуть своей ученостью, самоучки, у которого естественная гордость оригинальностью и самостоятельностью своего мышления уже сломлена и который, вследствие этого, как *parvenu* {выскачка} в науке, воображает, что должен чваниться тем, что ему не присуще и чего у него совсем нет. И вдобавок эта психология мелкого буржуа, который до непристойности грубо, неостроумно,

неглубоко и прямо-таки неправильно обрушивается на такого человека, как Кабе, заслуживающего уважения за его практическую роль в движении французского пролетариата; зато он весьма учтив, например, по отношению к Дюнуайе (как-никак «государственный советник»), хотя все значение этого Дюнуайе заключается в комичной серьезности, с какой он на протяжении трех толстых и невыносимо скучных томов проповедует ригоризм, так охарактеризованный Гельвецием: «On veut que les malheureux soient parfaits». (От несчастных требуют совершенства.)

Февральская революция произошла для Прудона действительно совсем некстати, ведь он всего лишь за несколько недель до нее неопровержимо доказал, что «эра революций» навсегда миновала. Его выступление в Национальном собрании, хотя оно и обнаружило, как мало понимал он все происходящее, заслуживает всяческой похвалы. После июньского восстания это было актом высокого мужества. Кроме того, его выступление имело тот положительный результат, что г-н Тьер в произнесенной против предложений Прудона речи, которая потом была издана в виде отдельной брошюры, доказал всей Европе, какой жалкий детский катехизис служил пьедесталом этому духовному столпу французской буржуазии. В сравнении с г-ном Тьером Прудон и в самом деле вырастал до размеров допотопного колосса.

Изобретение «*crédit gratuit*» {«дарового кредита»} и основанного на нем «народного банка» («*banque du peuple*») принадлежит к последним экономическим «подвигам» Прудона. В моей книге «К критике политической экономии», вып. 1, Берлин, 1859 (стр. 59—64) доказывается, что теоретическая основа его взглядов имеет своим источником незнание основных элементов буржуазной «политической экономии», а именно — отношения товаров к деньгам, тогда как практическая надстройка была простым воспроизведением гораздо более старых и значительно лучше разработанных проектов. Что кредит — подобно тому, как он, например, в Англии в начале XVIII века, а затем снова в начале XIX века способствовал переходу имущества из рук одного класса в руки другого, — при определенных экономических и политических условиях может содействовать ускорению освобождения рабочего класса, это не подлежит ни малейшему сомнению и разумеется само собой. Но считать капитал, приносящий проценты, главной формой капитала, пытаться сделать особое применение кредита, мнимую отмену процента, основой общественного преобразования — это насквозь мещанская фантазия. И действительно, мы видим, что эта фантазия подробно развивалась уже экономическими идеологами английской мелкой буржуазии семнадцатого века. Poleмика Прудона с Бастиа (1850г) о капитале, приносящем проценты, стоит значительно ниже «Философии нищеты». Он доходит до того, что даже Бастиа удается его побить, и он комично неистовствует всякий раз, когда его противник наносит ему удар.

Несколько лет тому назад Прудон написал на конкурс, объявленный, кажется, лозаннскими властями, сочинение о «Налогах». Здесь исчезают и последние следы гениальности, и остается только *petit bourgeois tout pur* {чистейший мелкий буржуа}.

Что касается политических и философских сочинений Прудона, то во всех них обнаруживается тот же самый противоречивый, двойственный характер, что и в экономических работах. К тому же они имеют чисто местное значение — только для

Франции. Однако его нападки на религию, церковь и т. д. были большой заслугой в условиях Франции в то время, когда французские социалисты считали уместным видеть в религиозности знак своего превосходства над буржуазным вольтерьянством XVIII века и немецким безбожием XIX века. Если Петр Великий варварством победил русское варварство, то Прудон сделал все от него зависящее, чтобы фразой победить французское фразерство.

Его книгу о «Государственном перевороте» надо рассматривать не просто как плохое произведение, а как прямую подлость, которая, однако, вполне соответствует его мелкобуржуазной точке зрения; здесь он заигрывает с Луи Бонапартом и действительно старается сделать его приемлемым для французских рабочих; таково же его последнее произведение против Польши, в котором он в угоду царю обнаруживает цинизм кретина.

Прудона часто сравнивали с Руссо. Нет ничего ошибочнее такого сравнения. Он скорее похож на Ник. Ленге, книга которого «Теория гражданских законов», впрочем, очень талантливое произведение.

Прудон по натуре был склонен к диалектике. Но так как он никогда не понимал подлинно научной диалектики, то он не пошел дальше софистики. В действительности это было связано с его мелкобуржуазной точкой зрения. Мелкий буржуа, так же как и историк Раумер, составлен из «с одной стороны» и «с другой стороны». Таков он в своих экономических интересах, а потому и в своей политике, в своих религиозных, научных и художественных воззрениях. Таков он в своей морали, таков он in everything {во всем}. Он — воплощенное противоречие. А если при этом, подобно Прудону, он человек остроумный, то он быстро привыкает жонглировать своими собственными противоречиями и превращать их, смотря по обстоятельствам, в неожиданные, кричащие, подчас скандальные, подчас блестящие парадоксы. Шарлатанство в науке и политическое приспособленчество неразрывно связаны с такой точкой зрения. У подобных субъектов остается лишь один побудительный мотив — их тщеславие; подобно всем тщеславным людям, они заботятся лишь о минутном успехе, о сенсации. При этом неизбежно утрачивается тот простой моральный такт, который всегда предохранял, например, Руссо от всякого, хотя бы только кажущегося компромисса с существующей властью.

Быть может, потомство, характеризуя этот недавний период французской истории, скажет, что Луи Бонапарт был его Наполеоном, а Прудон — его Руссо-Вольтером.

А теперь я всецело возлагаю на Вас ответственность за то, что Вы так скоро после смерти этого человека навязали мне роль его посмертного судьи.

Уважающий Вас

Карл Маркс

Написано 24 января 1865г

Печатается по тексту газеты, сверенному с частично сохранившейся рукописью

Напечатано в газете «Social-Demokrat» №16, 17 и 18; 1, 3 и 5 февраля 1865г

Перевод с немецкого

Энгельс Фридрих. Прудон

Париж. Вчера мы писали о монтаньярах и социалистах, о кандидатуре Ледрю-Роллена и кандидатуре Распайля, о «Réforme» и о «Peuple» гражданина Прудона. Мы обещали вернуться к Прудону.

Кто такой гражданин Прудон?

Гражданин Прудон — бургундский крестьянин, который переменял много профессий и занимался изучением различных наук. Впервые он привлек к себе внимание публики появившимся в 1840г. памфлетом: «Что такое собственность?». Ответ гласил: «Собственность — это кража».

Этот неожиданный вывод поразил французов. Правительство Луи-Филиппа, суровый Гизо, которому чуждо чувство юмора, оказались настолько ограниченными, что посадили Прудона на скамью подсудимых. Но напрасно. Можно было предвидеть, что за такой пикантный парадокс он будет оправдан любым французским судом присяжных. Так оно и случилось. Правительство осрамилось, а Прудон стал знаменитым человеком.

Что касается самой книги, то вся она была в духе приведенного выше вывода. Каждая глава представляла собой удивительный парадокс в такой форме, какой французам еще не приходилось встречать.

В остальном книга состоит частью из морально-юридических, частью из морально-экономических рассуждений. Каждое из них имеет целью доказать, что собственность основана на противоречии. Что касается юридических доводов, то с ними можно согласиться, поскольку нет ничего более легкого, чем доказать, что вся юриспруденция вообще основана на сплошных противоречиях. Что же касается экономических рассуждений, то они содержат мало нового, а то новое, что в них есть, основано на ложных вычислениях. Тройное правило всюду злобно нарушается.

Однако французы в этой книге не разобрались. Юристы находили ее слишком экономической, экономисты — слишком юридической, и те и другие — слишком морализирующей. *Après tout,—заявили они наконец,—c'est un ouvrage remarquable* {всё же это замечательное произведение}.

Но Прудон стремился к еще большему триумфу. После ряда мелких статей, прошедших незамеченными, в 1846г. вышла, наконец, его «Философия нищеты» в двух огромных томах. В этом произведении, которое должно было увековечить его имя, Прудон применил грубо искаженный философский метод Гегеля для обоснования какой-то странной и совершенно неправильной системы политической экономии и попытался путем всевозможных трансцендентальных фокусов обосновать новую социалистическую систему свободной рабочей ассоциации. Эта система была столь нова, что под названием «Equitable Labour

Exchange Bazaars or Offices» она уже успела десяток лет тому назад десяток раз обанкротиться в десятке различных городов Англии.

Это тяжеловесное, пухлое псевдонаучное произведение, в котором были брошены самые грубые упреки не только всем предшествующим экономистам, но и всем предшествующим социалистам, не произвело на легкомысленных французов абсолютно никакого впечатления. Такой манеры изложения и рассуждения им еще не приходилось встречать, и она гораздо менее соответствовала их вкусам, чем курьезные парадоксы предыдущего произведения Прудона. Подобных парадоксов и здесь нашлось немало (так, например, Прудон совершенно серьезно объявил себя «личным врагом Иеговы»), но они погребены под спудом мнимо-диалектических рассуждений. Французы опять заявили: «c'est un ouvrage remarquable», и отложили его в сторону. В Германии это произведение было принято, разумеется, с большим почтением.

Маркс выпустил тогда свой столь же остроумный, сколь и основательный труд против Прудона (Карл Маркс. «Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона». Брюссель и Париж, 1847) — труд, в тысячу раз более французский по складу мыслей и языку, нежели претенциозная нелепость Прудона.

Что касается критики существующих общественных отношений, содержащейся в обоих произведениях Прудона, то, прочтя эти произведения, можно со спокойной совестью сказать, что она равна нулю.

Что касается проектов Прудона относительно социального преобразования, то, как уже было сказано, они имеют лишь то преимущество, что уже много лет тому назад блестяще проявили себя в Англии в виде многочисленных банкротств.

Таков был Прудон до революции. В то время как он еще пытался издавать ежедневную газету «Representant du Peuple» без капитала, но с помощью вычислений, которые не уступают вычислениям, игнорирующим тройное правило, парижские рабочие восстали, прогнали Луи-Филиппа и учредили республику.

Благодаря республике Прудон стал сперва «гражданином»; благодаря голосованию парижских рабочих, веривших в его честное имя социалиста, он стал затем народным представителем.

Таким образом, революция вытолкнула гражданина Прудона из области теории в область практики, из его берлоги на форум. Как вел себя этот упрямый, надменный самоучка, который с одинаковым презрением относился ко всем существовавшим до него авторитетам — юристам, академикам, экономистам и социалистам, который объявил всю предшествующую историю нелепостью, а себя самого, так сказать, новым мессией, — как проявил он себя, когда он сам должен был помогать творить историю?

Надо сказать к его чести, что он начал с того, что занял место на крайней левой среди тех самых социалистов и голосовал вместе с теми же самыми социалистами, которых он так глубоко презирал и на которых так резко нападал, называя невеждами и высокомерными глупцами.

Правда, говорят, что на собраниях партии Горы он с новым пылом возобновил свои старые резкие нападки на прежних противников, что он их всех вместе и каждого в отдельности объявил невеждами и фразерами, которые не знают даже азбучных основ того, о чем говорят.

Мы охотно верим этому. Мы охотно верим даже тому, что изложенные с сухой страстностью и самонадеянностью доктринера экономические парадоксы Прудона приводят в немалое замешательство господ монтаньяров. Очень немногие из них являются экономистами-теоретиками, и они в большей или меньшей степени полагаются на маленького Луи Блана; а маленький Луи Блан, хотя он и гораздо более серьезный писатель, нежели непогрешимый Прудон, все же обладает слишком интуитивным мышлением, чтобы справиться с претенциозными псевдонаучными экономическими положениями Прудона, с его причудливой трансцендентальностью и мнимо-математической логикой. К тому же Луи Блан вскоре был вынужден бежать из Франции, а его паства, беспомощная в области политической экономии, оказалась без защиты и попала в свирепые когти волка-Прудона.

Пожалуй, нет необходимости повторять, что Прудон, несмотря на все эти триумфы, все же остается в высшей степени слабым экономистом. Однако его слабые стороны относятся как раз к той области, в которой несведуще большинство французских социалистов.

Самого большого триумфа, который был им когда-либо пережит, Прудон добился на трибуне Национального собрания. Не помню уж, по какому поводу он взял слово и вызвал озлобление буржуазии в Собрании тем, что в течение полутора часов изливал непрерывный поток чисто прудоновских парадоксов, один сумасброднее другого, причем каждый был рассчитан на то, чтобы грубейшим образом оскорбить самые святые и самые заветные чувства слушателей. И все это преподносилось со свойственным ему сухим педантическим равнодушием, на невыразительном, педантическом бургундском диалекте, самым холодным и невозмутимым тоном в мире. Эффект — виттова пляска взбешенных буржуа — был действительно недурен.

Но это был апогей общественной деятельности Прудона. Тем временем он продолжал через свою газету «Representant du Peuple», которая после горьких опытов с тройным правилом была с трудом создана и вскоре превращена просто в «Peuple», а также в рабочих клубах пропагандировать свою теорию, призванную осчастливить мир. И все это не без успеха. «On ne le comprend pas», — говорили рабочие, — «mais c'est un homme remarquable» {Его не понять, но это замечательный человек}.

Написано Ф. Энгельсом в начале декабря 1848г.

Впервые опубликовано на языке оригинала в Marx — Engels Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. 7, 1935

Печатается по рукописи

Перевод с немецкого

Толстой Лев. О значении народного образования

1862, источник: Лев Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений в 90 тт. Том 8, с. 614.

В прошлом году мне случилось говорить с Г-ном Прудонем о России. Он писал тогда свое сочинение «о праве войны». Я ему рассказывал про Россию, про освобождение крестьян и про то, что в высшем классе заметно такое сильное стремление к образованию народа, что стремление это выражается иногда комично и переходит в моду. — Неужели это в самом деле правда? сказал он мне. Я отвечал, что на сколько можно судить издали в русском обществе проявилось теперь сознание того, что без образования народа никакое государственное устройство не может быть прочно. Прудон вскочил и прошелся по комнате. — Ежели это правда, — сказал он мне, как будто с завистью, — вам русским принадлежит будущность. —

Я привожу этот разговор с Прудонем, потому что это в моем опыте был единственный человек, который понимал значение народного образования и книгопечатания в наше время. Говорить о значении книгопечатания и образования кажется такой пошлостью в наше время, а между тем мне кажется, что значение это не только недостаточно, но совсем непонято. Когда просунешь рассеченную нитку в иглиные уши, то чем больше тянешь, тем меньше проходит нитка. Чтобы продеть ее, нужно выдернуть нитку и вновь ссучивши продеть ее. Так и со многими убеждениями, которые считаются общепринятыми.

<Народное образование в настоящее время для нас русских есть единственная законная сознательная деятельность для достижения наибольшего счастья всего человечества.[162] Вот положение составляющее мое убеждение, которое я попытаюсь доказать. —>

Финансовое. Труд потребности образование.[163]

Примечание

Судя по словам рукописи о беседе с Прудонем «в прошлом году», этот незаконченный отрывок написан в 1862 г.: Толстой поехал в Брюссель к Прудону, после пребывания в Лондоне, весной 1861 г., снабженный рекомендательным письмом Герцена.[500] В портфеле редакции «Литературного наследства» имеется копия письма Прудона к Герцену от 8 апреля (н. ст.) 1861 г., позволяющая точнее датировать встречу Прудона и Толстого. Прудон сообщает о получении двух писем Герцена, от 24 декабря 1860 г. и 19 января 1861 г., благодарит за присылку портрета Бакунина, называет своих русских посетителей последнего времени, в том числе Н. А. Серно-Соловьевича, видного участника оппозиционного движения в России, «превосходного молодого человека, видеть и слушать

которого было для меня огромным удовольствием»,[501] прибавляет, что «все русские лица как-то сливаются в его памяти»,[502] а затем пишет: «наконец, в самые последние дни у меня был г. Толстой, ученый, который явился для меня представителем другой стороны».[503]

Пьер Жозеф Прудон (1809—1865), автор работ: «Что такое собственность?» и «Система экономических противоречий» (1840 и 1846 гг.), крупный деятель революции 1848 г., одновременно боровшийся с мелко-буржуазными республиканцами и Бонапартом, к началу 1860-х годов так ярко обнаружил свою собственную буржуазную сущность, что был в России авторитетом и в правом, и в левом лагере.[504]

Герцен, когда-то интимно-близкий Прудону, субсидировавший его революционные издания, посвящавший его, как близкого друга, во все подробности своей семейной драмы, в 1858 году с негодованием называл его новую книгу «De la justice dans la révolution et dans l'Eglise» («О справедливости в революции и в церкви») «римско-католической клеветой против женщины».[505] По поводу же той работы Прудона, которую он заканчивал во время посещения Толстого и которая вышла в свет в мае 1861 г. под заглавием «La Guerre et la Paix» («Война и мир») он говорил, что здесь Прудон «с ужасным бесчеловечием упрекал Польшу, что она не хочет умирать».[506] Всё это, как мы видим, не мешало Герцену направлять к Прудону своих соотечественников.

Толстой интересовался Прудоном давно, но, по всей вероятности, не Прудоном-революционером или политико-экономом, а Прудоном-мыслителем. 13 (25) мая 1857 г. Толстой записывает в Дневнике: «Читал логического матерьял[ьного] Прудона, мне ясны были его ошибки, как и ему ошибки идеалистов. Сколько раз видишь свою бессильность — ума всегда выражающуюся односторонностью, еще лучше видишь эту[507] односторонность в прошедших мыслителях и деятелях, особенно когда они дополняют друг друга. От этого любовь, соединяющая [?] в одно все эти взгляды, и есть единственный непогрешительный закон человечества».[508]

Рукопись, по которой здесь воспроизводится текст отрывка, хранится в АТБ (Папка XVI). Это автограф Толстого, писанный чернилами, размером в 1 л. F° сероватой писчей бумаги, с крайне неразборчивым клеймом, без водяных знаков. Узкие поля слева. Обрат чистый. Левый угол и нижний край оборваны, отчего пострадал текст. Бесформенные карандашные штрихи на тексте вычеркнутого абзаца, на полях и на незаполненной строке.

Начало: В прошлом году мне случилось говорить...